

НАУМ КОРЖАВИН

***В СОБЛАЗНАХ
КРОВАВОЙ
ЭПОХИ***

I



**ЗАХАРОВ
МОСКВА**

УДК 882-94
ТБК 104
К 66

Полный текст в авторской редакции

Издание второе, исправленное

К 66 Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания в 2 кн. Кн. 1. — М.: «Захаров», 2007. — 864 с. — (Серия «Биографии и мемуары»).

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов.

Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная...

В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...

ISBN 978-5-8159-0656-3
ISBN 978-5-8159-0654-9 (кн. 1)

УДК 882-94
ТБК 104

© Наум Коржавин, автор, 2007
© Ирина Богат, издатель, 2007

Вступление

Прежде всего о названии этой книги, которое может показаться слишком банальным и лубочным из-за слова «кровавой». Хотелось бы назвать как-то более скромно — «жестокой». Но жестокость в истории при всей ее отвратительности не всегда бывает вакханалией и бессмыслицей. Сталинщина — была. И то, что к ней привело — в значительной степени — тоже. Так что соблазны, о которых будет идти речь в этой книге, были соблазнами кровавого, а не просто жестокого времени.

Часть этой работы (детство до 1937 года — календарного, а не символического) и первый вариант этого «Вступления» я написал в 1980 году, когда ни о каком Горбачеве и ни о какой перестройке и речи как будто быть не могло. «Кающийся антисталинист» (это не ругательная кличка, а самоопределение) Александр Зиновьев предрекал брежневщине чуть ли не тысячелетнее царство. Я понимал, что этого не может быть, что брежневщина — эта «сталинщина с человеческим лицом» — сама себя съест, но в том, что это окончится благополучным исходом, сомневался и я (это и теперь еще не ясно). Но не исключал я и того, что просто так же как живем — организованными, якобы стройными рядами, по-прежнему лениво изображая из себя энтузиастов (точнее, не противясь тому, что нас лениво выдают за энтузиастов), мы и забредем в пропасть. В душе, конечно, теплилась надежда, но держалась она не на логике, а на вере в витализм народа и его истории. Не мог я представить себе, что все это вдруг может взять и кончиться — все, во что вложили себя Петр Первый и Александр Второй, Сперанский и Столыпин, Пушкин и Блок, Толстой и Достоевский, — все, что за каждым и в каждом из нас. Да и наши собственные биографии — весь наш путь из прострации к реальности, от ностальгической романтики интернационализма и мировой революции (плод чьего-то беспардонного и неграмотного идеализма, привлекавший простотой и от-

влеченностью тех, кому после 1917 года все равно уже некуда было податься) к ощущению вечности и родины, все наши бессильные, но просвещающие прозрения и открытия, «все (выражение А.И.Солженицына) взрывы нашего несогласия», все старания так или иначе восстановить исторические связи — не мог я поверить, чтоб это все не имело ни смысла, ни развития. Огромный — не смотря ни на что — духовный и интеллектуальный потенциал не мог же быть дан этой стране просто так, на выброс.

Но, конечно, это было чувство, желание надежда и вера, но не знание. Вера эта теплилась во мне и в тревожные предзимние дни 1990 года, теплится и теперь, в мае 1991-го. Но ни в уверенность, ни в знание она не превратилась. Ибо и теперь, как в 1980-м, я знаю, что время упущено и выхода не видно. Принято обвинять в этом Горбачева, и он действительно часто тормозит попытки наверстать время, но в целом это последний раз произошло задолго до него — еще при Хрущеве. Горбачев только мог попытаться более или менее робко выйти из этой теоретически безвыходной ситуации, в которую не заводил, а попал вместе со всеми. Возможность такой ситуации предопределил Ленин, на бешеной скорости устремил к ней страну Сталин, упустил время сравнительно безболезненно ее предотвратить Хрущев (который к тому же усугубил безвыходность, втянув страну в абсолютно ненужную ей и непосильную глобальную политику), а утвердила ее в качестве незыблемого закона жизни, исходя из принципа: «После нас — хоть потоп!» — жовиальная брежневщина.

В сущности, брежневщина была самореализацией сталинщины, «сталинщиной на свободе». Сталинские соколы и те, кого они выбрали, без оглядки на сталинскую плетку реализовали те качества, за которые их когда-то выдвинул Сталин. Прежде всего естественный и (чаще) воспитанный аморализм. Начинаясь он хотя бы с того, что выдвинуты обязаны были играть активную политическую и идеологическую роль, хотя подбирались они из людей к этим материям безразличных. Безразличие это само по себе не аморально, но при согласии играть такую роль — а речь идет о государстве, являющемся по форме идеологической диктатурой, — положение меняется. Они становятся не только аморальны, но и опасны, ибо начинают контролировать

то, в чем другие понимают больше, чем они. На том основании, что они больше преданы товарищу Сталину и лучше понимают его волю, а это и есть критерий всего. На их глазах и при их участии мучают и убивают, но мысль, что и при великом Сталине человек все равно должен иметь принципы и отвечать за свои слова и поступки, показалась бы такому человеку кощунственной, он об этом просто не догадывается. Ему удобно не догадываться, он привык к такой системе ценностей и при ней значим. Так и получается — сначала не догадывается, а потом привыкает. А потом любой ценой защищает добытые при этой недогадливости привилегии. И саму недогадливость как их основу и высшую человеческую ценность.

Этих людей иногда воспринимают как фанатиков. Но они фанатики не какой-либо идеи, пусть античеловеческой, а только тех условий, при которых играли не совсем им до сих пор ясную роль. Они и не изверги, как Сталин, хотя участвовали в его преступлениях, одобряли и покрывали их. Даже жуликами были далеко не все из них. Но жулики профилировались. Слишком много раз, при Сталине и после него, они вопреки очевидности «побеждали», «оказывались правы» и в общем «на коне», чтобы это не оказывало «воспитательного» воздействия на окружающих — тем более на изначально деморализованный аппарат, всецело зависящий от непредвидимых поворотов. В этих условиях беспринципность и цинизм как бы обретают статус высшей государственной и даже человеческой мудрости, и если не формально, то фактически вся страна попадает во власть их морали. Тем более аппарат. Сталинскому аппаратчику надо было каждодневно проявлять эти качества, если не для того, чтоб еще больше возвыситься, то хотя бы чтоб уцелеть. Идеологией при этом, сознавая это или нет, они только манипулировали, привыкая не отдавать себе отчета в действительных мотивах собственного поведения. Так что было чему развернуться при Брежневе — во времена, справедливо теперь называемые застойными. Только на этот раз приобретенные таким образом качества и навыки эти деятели проявляли, угождая не Сталину, а самим себе, чтоб всласть пожить.

Застойность этих лет, конечно, относительна. Ничто не стояло на месте, а двигалось — правда, в пропасть. Исчеза-

ли продукты. То, что было при мне в 1973 году всем в Москве доступно, к 1980-му уже смутно помнилось, а в Поволжье часто и помнить было нечего. Народ выкручивался как мог. А на поверхности лениво изображалось кипение — поднималось Центральное Нечерноземье, возводились «ударные стройки пятилеток», входил в силу «развитой социализм». Правда, почему-то вместе с Продовольственной программой, которая бралась покрыть потребности этого «развитого социализма» в продовольствии только через несколько лет, и то частично. Все это было достаточно нелепо, но власть предержавшим это обеспечивало — официально во имя будущего, а фактически за его счет — такое положение, чтоб «на их век хватило». Впрочем, афганская война показала, что они начали дуреть от бесконтрольности и стали опасны даже для самих себя. Это в значительной степени и определило слабость их сопротивления перестройке на первых порах.

Но все-таки в 1980 году, когда я начинал эту работу, противоестественное положение в стране выглядело вполне стабильно. Ясно было, что так быть не может, — особенно после того, как Рейган принял советский вызов в гонке вооружений, — но было непредставимо, как это может прерваться. На фоне этой странной и ирреальной стабильности, на которую никак не влиял тот факт, что мне, да и не только мне, ее генезис и порочность ясны давно, я и начал писать эту книгу. Отчасти я просто уступал желанию своих друзей, считавших, что это будет интересно, отчасти же мне просто захотелось вспомнить о том, как мыслящие люди моего поколения ладили с ирреальной действительностью и вырывались из этой ирреальности. Я считал это интересным и важным. И сейчас так считаю.

Сегодня, когда люди моего поколения становятся объектом одномерной резвой критики новых поколений, важность этой задачи даже возрастает. Дело не в том, что мы не заслуживаем критики — в этой работе ее будет сколько угодно, — дело в том, что в этой резвости есть не только попытка самоутверждения за чужой счет, но и опасное забвение истории. Будет плохо, если наш опыт не будет учтен, если ехидно-наивный вопрос «Как вы (т.е. мы, — *Н.К.*) могли?» будет многим казаться убийственно простым. Это значит, что многие из них при случае, в безвыходной ситу-

ации тоже не узнают соблазна (а он на то и соблазн, чтоб его не узнавали) и предадутся ему как истине.

Задача моя все та же, но времена и условия — иные. Как бы сегодня ни вел себя Горбачев (или Ельцин, или кто другой — вычитываю после крушения Заговора), то, что он сделал в начале перестройки, — это попытка реанимации нашего убитого общества. В дни, когда я пишу это, реанимация эта захлебывается в цейтноте, преследовавшем ее с самого начала. Все надо сделать, все неотложно, все требует средств. Старая система работать не может, а новую вводить сложно и боязно. И есть чего бояться. Сравнение с НЭПом неправомерно: тогда достаточно было разрешить крестьянствовать, торговать, заняться предпринимательством — люди все это умели делать. Теперь не то — слишком уж велик был этот «Великий перелом», слишком уж долго мы жили этой переломленной жизнью, противоестественными производственными отношениями. Никому с ними не было хорошо — все страдали, все чертыхались; но... привыкли, притерпелись, приспособились, многие приворовались. Как-то живут. И ломка пугает:

Выходит, пятая нога,
Пришитая искусно,
Бывает тоже дорога.
И это очень грустно, —

писал поэт Валентин Берестов о собаке, околевавшей с тоски, когда у нее отрезали искусно пришитую ей и сильно досаждавшую ей пятую ногу. Мы не собаки, но пятую ногу пришили и нам. И многим страшно с ней расставаться. Но и оставаться с ней в нашем случае опасно — от нее гангрена идет. Систему все равно придется менять — иначе не выжить.

Но как это сделать? Обычно сменяющая система созревает в недрах сменяемой, но в недрах нашей искусственной системы не созревает ничего, кроме всесторонней коррупции. По-видимому, вернуться к естественности эта искусственная система может тоже только искусственным, т.е. детально продуманным путем. С тем только отличием, что мероприятия должны быть продуманы таким образом, чтоб они по дороге подхватывались просыпающейся стихией жизни, т.е. чтоб они шли навстречу этой стихии.

Это и само по себе трудно... Рыночная система может начать давать плоды, то есть облегчить людям жизнь быстро, но отнюдь не сразу. Поначалу она больно заденет ближайшие интересы слишком многих, отнюдь не только номенклатуры. А куда дальше задевать? Полки пусты, люди раздражены, в Москве очереди за любым товаром. И еще всякие «шоки без терапии» — куда дальше? Никто еще никогда не возвращался к реальности из такого погружения в фантастику и прострацию, у человечества просто нет такого опыта. Экономисты находят разумные выходы, но на все нужно время, а его нет.

А ведь есть влиятельные круги, которым реформа — нож вострый, которые самоубийственно стремятся и умеют затормозить любой путь к спасению. Сейчас они потерпели поражение в связи с попыткой переворота, но вряд ли исчезли. Осенью говорили, что они продукты утаивают, чтоб, создав кризис, захватить власть, а тогда выбросить их на прилавки: смотри, народ, кто твои благодетели! Что-то они вроде и впрямь «выбросили» — не помогло. Впрочем, они могли б и победить. А дальше? Военный переворот может стабилизировать политическую обстановку, но восстановить разрушенные экономические отношения он не может. Тем более с армией, допустившей «дедовщину», и при генералах, слившихся с партократией. При этих условиях военный переворот в случае успеха окажется только стимулятором хаоса.

Но, может, разгром заговора спасет нас. Ведь пахло какой-то странной перманентной гибелью великой страны. И порою мне казалось, что писать нелепо — до того ли читателю?

Не идет из головы увиденное по телевизору осенью 1990-го. Интеллигентная женщина в очереди за чем-то, растянувшейся на десятки кварталов. В ответ на вопрос корреспондента она показала ему ладонь с номером своей очереди, а потом отвернулась и заплакала. Конечно, от беспомощности и отчаяния в первую очередь: тяжело и обидно выстоять такой хвост за тем, что съестся очень быстро. Но еще и от стыда за свою страну, за то, что без войны и бедствий мы сами себя довели, дали себя довести до жизни такой. Я старше этой женщины минимум лет на двадцать, живу за границей и хвостов не выстаиваю, но мне тоже хотелось пла-

кать от стыда вместе с ней и перед ней, хотя никакой особой вины перед ней у меня нет. Разве только что я старше. Но и я уже пришел «на готовое», от меня ничего не зависело... А на постижение самых простых истин бытия мне пришлось потратить годы.

Я и теперь мало что могу изменить, но поделиться опытом этих лет считаю необходимым. Это напряженный духовный опыт. И даже если сейчас людям будет не до него, потом им будет до него. Все же надо объясниться. А откладывать это мне уже вроде не на когда.

Есть еще одна, может быть, самая существенная сторона моей жизни, связанная со всем, о чем говорилось выше, но особая. Это мои творческие поиски, то, к чему я пришел в понимании поэзии, моя борьба с культом бессмысленного самовыражения (самовыражения без откровения) и «новаторства». Она тоже будет занимать свое место в этой книге. В книгу, вероятно, войдут те мои стихи, которые имеют отношение к моей внутренней биографии, но не кажутся мне сегодня выходящими за ее пределы. В нашей жизни было и есть слишком много острой современности, и это не очень хорошо для искусства. Но еще хуже для него ложь — искусственно игнорировать эту «современность» тоже нельзя. Надо ее преодолевать. Но об этом в других моих работах и в самой этой книге.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДО ВОЙНЫ

Начало детства: среда обитания

Я родился 14 октября 1925 года в Киеве. Это значит, что я родился через восемь лет после октябрьского переворота и года за четыре до начала «великого перелома», то есть коллективизации, уничтожения кулачества как класса в деревне и «мелкой буржуазии» в городе, индустриализации и прочих прелестей, определивших жизнь страны на многие годы вперед. Родился в апогее так угнетавшего романтиков революции «угара НЭПа». Но подземная разрушительная работа «культурной революции» уже шла вовсю, хотя казалась многим просто наивным культуррегентством. Только такие зоркие люди, как И.П.Павлов, ощущали ее разрушительную потенцию.

Конечно, эти ретроспективные характеристики времени сами по себе не относятся к жанру воспоминаний, но без них не обойтись. Ими окрашены все воспоминания об этом времени, которое как-то уж очень быстро было отодвинуто в «наше славное прошлое», в разряд несомненных успехов, о которых запрещалось думать, да и сами запрещавшие, похоже, не думали, но у которых, конечно, была своя реальность, во многом определившая жизнь страны и жизнь многих, в том числе и мою. Мысли эти — не воспоминания, но для нас вспоминать — значит думать. Думать о том, какой все-таки жизнью мы жили, что нас окружало, что значили слова, которые нам внушали. Блок сказал, что «рожденные в года глухие пути не помнят своего». Не знаю, как назвать наши «года», но для нас, оглушенных ими, каждое трехлетие, максимум пятилетие — целая эпоха, по разному формировавшая сознание. Каждая небольшая возрастная группа — и это продолжалось чуть ли не до начала шестидесятых — представляла из себя как бы отдельное поко-

ление. Лишь потом все эти поколения слились в одно. В «годы застоя» произошла кардинальная настоящая смена поколений: сменились, пусть еще не до конца, все наши поколения вместе.

На первый взгляд так бывает всегда — во всяком случае в Новое Время. Поколения сначала расходятся, ибо молодое обычно сильно преувеличивает свою особость, а потом сливаются. Это естественно. Но в нашем случае ничего естественного не было. Просто при Сталине вся отечественная и мировая история рассматривалась как подчиненная инстанция: как прикажут, так и будет себя вести. Это касалось и более далеких ее периодов — они получали каждый раз новую трактовку в связи с ближайшими политическими расчетами. Но особенно это касалось времен более близких — те вообще наглухо засекались.

В декабре 1947 года со мной на Лубянке сидел очень милый и порядочный человек по фамилии Богданов, брат философа. О нем (его имя и отчество, к сожалению, выветрились из моей памяти) я еще буду говорить, когда рассказ мой дойдет до этого времени. С ним произошло следующее. После того как более серьезные обвинения, выдвинутые против него, рассыпались, для того чтобы закрыть дело, остановились на его единственном неопровержимом «преступлении», а именно — на хранении найденной у него при обыске антисоветской литературы. Так вот этой литературой был чудом уцелевший от тщательных самообысков конца тридцатых (завалился среди книг и бумаг) номер «Правды», датированный не то двадцать пятым, не то двадцать шестым годом.

В данном случае меня интересует не попрание права при Сталине (тогда прав не было), а утвердившееся при нем патологическое отношение к памяти. Думаю, что, если бы этот номер Центрального Комитета правящей партии относился к началу тридцатых, «преступление» квалифицировалось бы так же. В библиотеках, в открытом доступе (не в спецхране) нельзя было получить советские газеты более чем двухлетней давности. «Антисоветским» для этой партии стал прежде всего ее собственный славный путь.

Так что каждый мог помнить только те события, свидетелем которых был он сам. Да и то освещение этих событий (а также и событий далекого прошлого), которое давалось

при нем. Короче, всю атмосферу времени своего становления, для каждого короткого периода особую. Суть не в нормальном и трагическом забвении времен (уж слишком коротки были их «времена»), а именно в искусственном их засекречивании... Атмосфера каждого из этих «времен» всегда выдавалась за следование единственно истинной системе ценностей, но потом заталкивалась подальше и засекречивалась, и атмосферу эту можно было теперь только восстанавливать по памяти (и, как все скрываемое, она легко поддавалась романтической идеализации). Это влияло на формирование всех, в том числе и тех, кто не поддавался пропагандному облучению, кто сомневался и искал истину. Поиски каждого из них начинались с опровержения того варианта лжи, который внушался о времени, когда начал мыслить именно он. Это и окрашивало по-разному облик разных поколений интеллигенции (я имею в виду не лиц интеллигентных профессий, а людей, для которых приобщение к культуре означает приобщение к мысли).

Как видите, дата моего рождения в этой работе служит для определения не только моего возраста, а и точки обзора.

Но вернемся к моей биографии. Читатель уже знает, что я родился в 1925 году в Киеве. К этому следует еще добавить, что родился я в еврейской семье.

Факт этот — существенный для нашего времени, хоть он — хорошо это или нет — не оказал серьезного влияния на мою взрослую жизнь. Однако первые годы жизни я провел в кондовом еврейском окружении.

Правда, говоря о кондовости, следует сделать поправку на время. Ни отец, ни мать, ни семьи сестры отца и одной из сестер матери не были религиозными людьми и не придерживались связанных с этим традиций, что никак не соответствует представлению о еврейской кондовости. В старинном понимании этого слова они вообще не были евреями. Тем не менее — таковы были времена — принадлежность всех моих родных к еврейству была для них и всех, кто имел с ними дело, фактом несомненным, само собой разумеющимся и не нуждающимся в подтверждении. Они ушли от религии, но не ушли от сформированного ею уклада и психологии. Да и вообще практически они до самой войны и эвакуации в своей жизни и связях за пределы еврейского круга не выходили. Нечто подобное я встречал в СССР и среди секуляризованных мусульман.

Впрочем, вокруг меня было много и несекуляризованных евреев. С бородами. Один из них, муж старшей из материнских сестер — она была старше матери больше, чем на двадцать лет — Хаи-Иты (на мой слух — Хаиты) Аарон-Мойша (на мой слух — Армейша), жил с нами в одной квартире. До середины тридцатых он был владельцем того двухэтажного четырехквартирного дома (в нем была еще и пятая, но с выходом только во двор, видимо, дворницкая), в котором мы жили. Это последнее, что оставалось от его дореволюционного, видимо, значительного состояния. Году в 1936-м он вынужден был «добровольно» сдать этот дом в «жилкоп» — «жилищный кооператив», как говорили в Киеве (в Москве это называлось бы ЖАКТОм) — фактически государству.

После войны все эти жакты и жилкопы, укрупнив, открыто превратили в жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭК), прямо подчиненные горсовету, и квартиры стали считаться государственными. Граждане не восприняли это как узурпацию — они не заметили разницы. Да ее и не было. Это было изменение в административной структуре, а не в их положении.

Поначалу эту пятикомнатную квартиру с кухней и большой террасой, называемой коридором, но без ванной, занимали только мы и дядя с тетей. Потом квартира стала населяться и другими людьми, большей частью тоже бородачами.

Первым поселился брат отца, Иосиф, раввин — с женой и двумя сыновьями (он был не только с бородой, а почти и по-русски не говорил). Потом одну из этих двух комнат разделили пополам, и в одной из ее половин поселился старик со взрослыми дочерью и сыном, тоже бородач и тоже наш родственник, правда, дальний. Был у меня еще один дядя, брат матери, тоже Иосиф, тоже верующий, но он жил не с нами, а на Демиевке (тогда уже Сталинке, а сейчас опять Демиевке). Так что бородачат вокруг меня вполне хватало.

Но были и впечатления совсем другого рода. Некоторое время, правда, недолго, жила в нашей квартире (не знаю, на каких правах, может, тоже были родственниками) еще одна семья, муж и жена. Сравнительно молодые. Видимо, он был нэпманом. Помню, что был он какой-то большой,

веселый и добрый. Но однажды за ним пришла девушка-милиционер и весело (именно весело — я это помню) увела его с собой. Вернулся он то ли в тот же день, то ли на следующее утро. Рассказывал взрослым, как объяснял следователю, что у него больше нет ничего. Не знаю, доказал ли, но скоро они с женой куда-то исчезли. Наверно, уехали, чтоб раствориться, как многие тогда, где-то в России.

Интересно мое восприятие этого события. Помню, что он был мне симпатичен — детям нравятся большие, добрые, надежные люди, — но, будучи уже захваченным революционно-романтическим конформизмом, я ему не сочувствовал. Мне больше нравилась девушка-милиционер. Теперь я знаю, что тогда многие так метались по стране, запутывали следы, стремились откуда-то добраться куда-то, где будут менее заметны, старались выглядеть имеющими гораздо меньше, чем имели (даже если имели мало), и т.д. Знаю, что мы все виноваты перед этими людьми. Но тогда я только удивился: был человек и вдруг исчез. Потом я этому уже не удивлялся, а настало время — и сам так исчезал. В такое время мы жили. Но повод говорить о подобных исчезновениях у нас еще возникнет не раз. А сейчас речь о другом.

Все это происходило отнюдь не только в еврейской среде, но я рассказываю о том, что было на моих глазах. И если эти бытовые подробности опровергают распространенное в части эмиграции, а последнее время отчасти и в СССР, представление о неразрывной связи евреев с большевизмом, то только потому, что такой связи не существует. Несмотря на несомненность активного участия многих евреев в революции и в отстраивании советской власти, совершенно очевидно, что во всем этом участвовали не одни евреи, и главное, не все евреи и даже отнюдь не большинство евреев. Но попытке разобраться в этой непростой теме посвящена у меня отдельная статья «Безысходные умыслы», которую я не теряю надежды увидеть напечатанной на родине. Здесь же главным образом я рассказываю о том, что запечатлелось в моей памяти.

Жил я тогда в самой толще еврейской массы, но никакой особой приверженности к революционной власти в ней (потом, когда подрос, к величайшему моему огорчению) не замечал. То, что вокруг не было никаких деятелей рево-

люции, меня не удивляло — небожители и должны обитать в иных сферах. Но получалось, что почти все вокруг, кроме меня, относились и к советской власти, и к ее романтике весьма прохладно, были, говоря моим тогдашним языком, «мещанами», обывателями, проявляли обычную законопослушность и только. Слова «коммунист» и «милиционер» произносились в этой среде — конечно, представителями старших поколений — с откровенной неприязнью и опаской. Дошло до того, что мой упоминавшийся уже здесь дядя, хозяин дома, в 1941 году наотрез отказался эвакуироваться и погиб в Бабьем Яру. Не веря советской пропаганде ни в чем, он не поверил и тому, что она говорила о нацистах — тем более что немцев в 1918 году он видел сам и знал, что они в отличие от большевиков — «культурные люди». Он не предполагал, что «прогресс» уже коснулся не только нашей страны. Это не делает чести его осведомленности и пониманию обстановки, но уж никак не свидетельствует об органической связи всего еврейства с большевизмом.

Но это не отменяет и того факта, что действительно почти все еврейство было благодарно советской власти за отмену унижительных ограничений для евреев. Тут была и некоторая аберрация, ибо отменило их окончательно (ибо они были размыты и до этого) Временное правительство, а не большевики. Но так внушалось. Следует помнить, что основная масса евреев была так же мало подготовлена к пониманию происходившего, как и основная масса населения Российской империи вообще.

А, кроме того, — что греха таить? — евреи помнили, что в хаосе Гражданской войны только красные да еще, кажется, Махно активно противодействовали еврейским погромам. К сожалению, белые с таким противодействием не ассоциировались даже в умах людей, отнюдь не захваченных коммунистической идейностью.

В нашем доме, в уже упоминавшейся пятой, дворницкой, квартире, жил с семьей некто Арл Шиглик. Одно время он, помнится, и впрямь был дворником нашего дома, а потом просто квартира осталась за ним. Человеком он был малограмотным (чернорабочий-подсобник), но, видимо, неглупым. К существующему строю относился без всяких сантиментов. «У нас, — объяснил он однажды моему отцу, — социализм. А что это значит? Это значит: все твое, но толь-

ко руками не трогай». И вот в устах этого человека не было более злого оскорбления, чем «Дыныкын!» Вряд ли Арл имел хоть какое-то представление о личности самого генерала А.И.Деникина. Это сказывались скорей всего просто не совсем приятные воспоминания о пребывании Белой армии в его местечке. Может, отчасти они были подогреты пропагандой, но вряд ли — к ней он был обычно глух, да и грамоты не хватало ее вкушать.

Могу засвидетельствовать, что, к сожалению, такие воспоминания долго оставались не только у евреев на Юго-Западе о деникинцах, а и у чисто русского населения на Урале и в Сибири о колчаковцах. Поскольку мне потом пришлось жить и там, на путях наступления и отступления колчаковских войск, я вполне могу засвидетельствовать, что и в той, и в другой местности слово «колчаки» произносилось неприязненно, было ругательством. Вероятно, какие-то основания у такой репутации были, но я вовсе не думаю, что такая память о Белом движении справедлива — белые отнюдь не были более жестокими, чем красные. Тем более не должны они были так выглядеть после всех бедствий коллективизации, разоривших деревню и жизнь, а это простыми людьми этих мест вполне и тогда сознавалось.

Но, видимо, с партии порядка больший спрос, и репутация эта имела место (и не только среди евреев). Все-таки во главе там были не полуграмотные выдвигенцы, а офицеры в погонах. Но когда эксцессы, ее вызывавшие, касались евреев, иногда вдобавок огульно зачисляемых в большевики, — это неизбежно ассоциировалось в их сознании с их положением до революции, с такими, например, акциями, как «дело Бейлиса». Конечно, это несравнимо с тем, что было потом. Даже с теми же евреями. Планировавшееся «дело врачей» было пострашней и пототальней «дела Бейлиса». Негласная процентная норма при Сталине—Хрущеве—Брежневеве была намного ниже, чем гласная при царе. Правда, нет черты оседлости. Но, может быть, только потому, что необходимость иметь «право жительства» в виде прописки сегодня распространена на все население страны. Но тем не менее приуменьшать оскорбительный смысл таких акций и открытых ограничений (дискриминации) не очень достойно. Впрочем, при всем при том о жизни в «мир-

ное время» (значит, до 1914 года) многие простые евреи, его хлебнувшие, вспоминали с нежностью. И жизнь, и люди бывают логичны далеко не всегда.

Все это я говорю объективности ради, а не для того, чтобы затушевать роль евреев-революционеров или поведение тех евреев-интеллигентов, кто в начале двадцатых ринулся в непропорционально большом количестве в государственное строительство. Конечно, в том, что они этим соблазнились, сыграло роль их положение до революции, когда всякая подобная деятельность была для них независимо от их личных качеств наглухо закрыта. Я не оправдываю ни одного по-настоящему образованного человека, кто этим соблазнился, — личность не могут оправдать обстоятельства. Но и обстоятельства эти оправдывать не следует.

Впрочем, вокруг меня никаких таких евреев — так же как и представителей других наций — не было. Они были так же далеки от нас, как и от каждого среднего советского гражданина. И такое элитное детство, какое описывает в своих «Записках адвоката» Д.Каминская, мне даже и не снилось. Я этим отнюдь не открещиваюсь от ее элитной компании, куда входили много вполне мною потом уважаемых и даже любимых людей (то, что они получили от своего элитного детства, пошло на пользу не только им). В истории, да и в жизни, Зло и Добро не живут сепаратно, и, поднимая руку на Зло, надо следить за тем, чтобы она ненароком не опустилась на Добро. Да и отцов этих ребят я не сужу сегодня слишком строго: видимо, не такие уж это плохие были люди, если воспитали таких детей. Кстати, то, что никто из них, этих отцов, так и не вступил в партию, неся с достоинством клеймо беспартийного «спеца» (тогда беспартийность была клеймом, затрудняющим жизнь), тоже говорит о том, что рудименты честности и принципиальности сидели в них достаточно прочно. Тем более непрослительно, что они — отнюдь не одни выходцы из евреев — соблазнились подобным «сменовеховством». Впрочем, в детстве вокруг меня никаких «сменовеховцев» не было. Так же, как не было «настоящих партийцев».

Но отдаленное отношение к революционным традициям наша семья все-таки имела. А именно: однажды в юности моя мать с сестрой Шифрой ходила на маевку. В рошу возле родного местечка Ржищев Киевской губернии. Маев-

ка была устроена кем-то из местных молодых и интересных передовых людей. Продолжалась она недолго. Только собрались — нагрянула местная полиция, и незадачливые революционеры пострадали за свободу — провели ночь в местном полицейском участке. «Страдали» весело. Пели песни, много смеялись. На утро явился кто-то из родственников матери и выкупил всех бунтовщиков скопом не то за трехку, не то за пятерку (вероятно, и бывшей главной целью этой крупной полицейской операции). На том и закончилась революционная деятельность обеих сестер. Остались только приятные воспоминания об «интересной молодости» (любимое выражение мамы).

С высоты своего личного и исторического опыта я привык относиться к этой историйке иронически. Но сейчас, когда я пишу эти строки, я вдруг поймал себя на сомнении в правомерности этой иронии. Ведь это первые неумелые попытки молодых людей, что-то читавших и о чем-то узнавших, вырваться из замкнутого (и от этого нездорового) мира, в котором жили их родители. На этот путь их толкала и великая русская литература и культура, к которой они — тоже не всегда умело и не всегда грамотно — приобщались.

Впрочем, был среди моих родственников один, внесший более существенный вклад в революционное движение и даже в победу большевизма. Это Арон Ефремович Рубинштейн, другой мой дядя, муж второй маминой сестры, той самой Шифры, с которой она когда-то провела ночь в участке. Но вклад этот он внес не потому, что был большевиком или сочувствующим. Он просто был русским интеллигентом и не мог отказать в помощи простому человеку, которому трудно было самому грамотно составить нужную ему бумагу. И не вина дяди, что этим человеком, нуждавшимся в помощи, был не кто иной, как будущий «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин, а бумагами, которые надо было выправить, — тексты его зажигательных речей. По каким-то неизвестным мне причинам он в 1917 году часто заживал на петроградскую квартиру, которую дядя, будучи студентом, занимал вдвоем с неизвестным мне приятелем, и они ему помогали как сыну народа. Кстати, Калинин был далеко не самым худшим или жестоким большевистским деятелем.

А интеллигентом дядя в отличие от всей остальной моей родни был наследственным, происходил из семьи, из ко-

торой вышли знаменитые музыканты Рубинштейны, был очень образован, знал все европейские языки. И, кроме того, был в высшей степени добрым и порядочным человеком. Может быть, именно поэтому никакой карьеры при советской власти он не сделал, хотя закончил институт внешней торговли в начале двадцатых, когда «кадры» были очень нужны. Ни разу он не обращался за помощью к Калинин и вообще не напоминал ему о себе. Может, еще и потому, что ни на какую карьеру не претендовал. При мне дядя, несмотря на все свои знания, работал заведующим библиотекой и переводчиком в НИИ деревообрабатывающей промышленности и, судя по моим детским и отроческим воспоминаниям, никаким комплексом неполноценности в связи с этим не мучился. Как я теперь понимаю, выглядел он человеком, потерпевшим крупное жизненное крушение. Какое — не знаю.

В молодости он привлекался к суду, но не за революционную деятельность, а за участие в еврейской группе самообороны. В эмигрантской печати встречается иногда осуждение этих групп: дескать, они с оружием выступали против безоружной толпы. Можно подумать, что эти группы занимались разгоном мирных демонстраций. Между тем они только оказывали сопротивление тем, кто шел громить, грабить и убивать. Отсутствие в руках таких громил огнестрельного оружия ничего не меняло, им при отсутствии сопротивления вполне хватало крюков и оглобель. Иногда эту толпу оправдывают оскорбленностью ее монархических чувств, задетых евреями-революционерами. Безусловно, такие люди в России были (я сейчас не обсуждаю вопрос, правы ли они), но вряд ли именно они отправлялись по этой причине грабить магазины. Дядя мой, между прочим, защищал не заседание «совета депутатов» или эсдековско-эсеровской фракции, а именно магазины (хотя сам он никогда магазинами не владел), именно против них почему-то в первую очередь в таких случаях обычно устремлялся «праведный монархический гнев». Иногда погромщиков называют еще «консервативными элементами», но «консервативный погромщик» — это все-таки нонсенс.

Дядя был судим по знаменитому «гомельскому процессу», защищаем знаменитым адвокатом Зарудным и оправдан. Между тем он не был ни еврейским националистом,

ни таким уж рьяным защитником частной собственности (кто тогда в молодой интеллигентской среде им был?) — он просто защищал свое личное достоинство, которое чувствовал задетым, и считал, что противостоит «темной силе». Думаю, что так оно и было. Ревизия революционных традиций русской интеллигенции, чтобы быть благотворной, не должна заходить за грани элементарной порядочности и здравого смысла. Обелять погромы — если еще не настал конец истории и памяти — дело безнадежное и неумное. Не более умное, чем идентифицировать с погромщиками весь русский, украинский или любой другой народ. Все-таки черное есть черное, а белое — белое. И пусть оно так и будет. Впрочем, сейчас появились в России уже не защитники погромщиков, а апологеты погромов и геноцида, но это уже другая тема.

Умер мой дядя смертью, типичной для такого рода интеллигентов. В эвакуации, в Саратове, для него не нашлось другого места в жизни, как быть завхозом ремесленного училища (никак не представлю его в такой роли). И уж, конечно, не нашлось никого другого, чтоб послать во главе «ремесленников» разгружать баржу. А был он, кроме всего прочего, уже в летах, старше моих родителей, а и им было уже по пятьдесят с гаком. Да и недоедание сказалось. Короче, схватил мой дядя на этой патриотической работе воспаление легких. Стрептоцида, который тогда только начал поступать из союзной Америки, на него выделить не спешили (тем более был конец недели), и он умер. В сущности это смерть героя «Сентиментальных повестей» М. М. Зошенко.

Правда, сам Зошенко добросовестно уверял себя и других, что ему этих своих героев не жалко, что все это им поделом. Но его проза точнее проявляла его чувства, чем его взгляды. На самом деле не худшие, а лучшие качества этих людей делали их не приспособленными для выживания в противоестественном обществе. Российская интеллигенция уничтожалась не только лагерями и расстрелами, а и просто так — вытеснялась самой жизнью. Дядя еще долго продержался.

Но дядя Арон выделялся из среды моего детства хотя бы нереализованными возможностями. У всех остальных, если они и были, то обладатели их или сами об этом не знали, или не могли объяснить, в чем эти возможности заключались. Тем не менее и эта среда была не совсем рядовой.

Когда я слышу о всемирном еврейском заговоре, о жидомасонах и сионских старцах, то прежде, чем возмутиться злостности и глупости выдумки, я удивляюсь. Удивляет меня полное несоответствие грандиозности приписываемых замыслов знакомому с детства образу. Ни с чем громадным то, что я видел вокруг себя, никак не ассоциируется. Но, видимо, реальность тут вообще ни при чем.

Для многих нынешних московских «интеллектуальных» антисемитов евреи — только интеллигенты. Не такие, как надо, но только интеллигенты. Других они не видели. Даже образ еврея-торговца поблек перед этим образом. Впрочем, это относится не только к антисемитам, но и ко многим другим московским интеллигентам, в том числе и еврейского происхождения. Последние впервые столкнулись с неинтеллигентной еврейской массой только на путях эмиграции — в Вене и в Риме (потом пути опять разошлись). Это было для них потрясением. Ничего подобного они не знали и не предполагали, хотя перед отъездом сильно распинались в своей любви к еврейскому народу и к его необыкновенным (обычно приписываемым всеми националистами своим народам) качествам. Часто эти интеллектуалы были даже не москвичами, а допустим кишиневцами — неважно. Дома они эту «массу» в упор не видели — культурно-психологическое отчуждение социальных слоев друг от друга в СССР было почти абсолютным. Я же вырос в довоенном Киеве, где евреев было много, всяких и разных, а отчуждение не зашло еще так далеко. И поэтому удивлялся гораздо меньше. Хотя, конечно, разложение последующих лет отнюдь не прибавило благостности и им.

Но и эти люди не были на одно лицо. Достаточно сказать, что среди них были просто профессиональные уголовники. Эти попали на Запад по инициативе местных милиций, озабоченных улучшением отчетности. «Сам знаешь, — говорили такому в милиции, куда его вызывали или приводили, — материала на тебя достаточно. Можешь в эмиграцию, можешь — в заключение. Выбор твой». Вот и становился такой политэмигрантом. КГБ этому тоже не противился — лишняя смута в эмиграции была ему только на руку.

Но уголовники — это крайний случай. Больше было людей не уголовных, но просто не очень порядочных, легко

пускавшихся во все тяжкие. Многие из тех, кто поражал тогда воображение наших интеллектуалов, были хоть и не интеллигентными, но вполне порядочными людьми. В непорядочные их зачисляли исключительно по складу речи. Почему-то всех их считали одесситами, хотя они были из разных городов, и хотя из Одессы выехало много интеллигентных людей, вообще к этому типу не относившихся. Так что с обобщением получается следующее: не каждый «одессит» из Одессы, не всяк, кто из Одессы, — «одессит», не все «одесситы» — торговцы, не все торговцы — по природе жулики.

Кстати, о порядочности. Недавно один нынешний антисемитский интеллектуал, любитель моральной «широты», изобрел выражение «жидовская порядочность». Не знаю, что он имел в виду. Не думаю, чтобы среди евреев было больше порядочности, чем среди других людей, или чтобы их порядочность была какой-то особой. Я вырос в среде, где, как и во всем среднем классе России, независимо от происхождения честность и порядочность почитались. Существовало семейное предание о каком-то из моих предков, который, гостя в Киеве, однажды случайно проехал в трамвае без билета. Он не мог успокоиться до тех пор, пока, опять попав в Киев, снова не сел в трамвай и не взял у кондуктора на этот раз два билета — один за прошлый раз. Так ли уж это смешно, как нам с вами сегодня кажется? А может быть, на такой «наивности» и «скучности» жизнь держалась?

Теперь о моем происхождении, то есть об истории моей семьи более конкретно. Разумеется, я никак не могу отнести себя к тем, о ком Твардовский говорит: «мы все, почти что поголовно, \ Оттуда люди, от земли», но следующие за этими строки «И дальше деда родословной \ Не помним. Предки не вели» относятся и ко мне. Впрочем, предки, может, и вели, но до меня не дошло. Не в такое время я рос, чтобы особенно интересоваться предками. А потом я вообще ушел из этой среды, и другие были у меня и есть интересы.

Особого раскаяния по этому поводу не чувствую. Я прожил трудную, но наполненную и в общем счастливую жизнь. И тому, что я полюбил, что сделало меня человеком, я, по

всей вероятности, буду верен до конца. Отчасти в этом причина моей малой осведомленности, о которой теперь сожалею. Ибо все-таки это имеет непосредственное отношение ко мне, да и само по себе интересно. Но кое-что я все-таки слышал. Больше от отца в разное время, немного от других родственников. Тем более что мои родители были дальними родственниками, и многие предки у них — общие.

О родственниках я уже тут говорил. Некоторые из них, как уже известно читателю, жили в нашей квартире, в доме, принадлежавшем тоже родственнику. В этой квартире, в темном коридоре справа от входной двери, сразу за ней, стоял шкаф со старинными фолиантами на древнееврейском языке, что впоследствии, когда я начал без разбору читать, меня очень разочаровало. Обидно было — и книги стоят, и большие, а ничего, кроме «Дозволено цензурой», не прочтешь. Но, кроме книг, в этом шкафу находился предмет, имеющий более непосредственное отношение к истории нашей семьи — портрет (теперь я думаю, отпечаток гравюры) благообразного старика в ермолке, весь испещренный мельчайшими еврейскими письменами, может быть, даже и составленный из них. Возможно, это был способ обойти еврейский закон, строго запрещающий изображать людей, дабы не сотворить себе кумира, — не знаю. Мне сказали, что это мамин дедушка и что он — писатель. Видимо, эти письмена составляли его сочинения или изречения. Потом я узнал, что этот писатель и вправду знаменитость — религиозный мыслитель, один из основателей хасидизма. В те времена жестокого богоборчества люди особо не упирали на подобные заслуги своих предков.

Этот «писатель» — седая древность, то ли век XVII, то ли начало XVIII. Но мой дед со стороны отца был как бы его наследником — цади́ком. Видимо, брат отца, раввин, живший потом в нашей квартире, — тоже. Мне этого никто не говорил, но по логике вещей так получается. Ибо в цади́ки в детстве готовили и моего отца. Более того, после того, как он осиротел, к нему уже и относились как к цади́ку. Хотя вроде бы это и странно. Ибо цади́к в хасидизме — это мудрец, святой человек, наделенный благодатью, и его миссия не должна передаваться по наследству. Однако, видимо, так повелось. Тут не обходилось и без недоразумений.

У разных цадиков (или династий) были свои поклонники, иногда очень страстные. Возникали острые конфликты. Однажды (а, может, не однажды, но отец мне рассказал только об одном случае) дело дошло до настоящих баталий между двумя местечками. В дело вынужден был вмешаться губернатор. Между враждующими сторонами встали войска империи. «Раздухарившиеся» от «внутриизраильской» междоусобицы стороны вынуждены были заметить существование «внешнего» мира и обнаружить себя у берегов Днепра, а не Иордана. Обычно они в те времена (видимо, в середине XIX века) без этого вполне обходились.

Доходило до курьезов. Какой-то из моих благочестивых предков однажды решил совершить паломничество в Святую землю. Вероятно, момент, им выбранный для этого, вполне соответствовал определенному этапу его внутреннего и духовного развития. Но беда в том, что больше он ничему не соответствовал, ибо неожиданно для него на его пути встало такое мелкое по сравнению с вечностью, но все же трудно преодолимое препятствие, как очередная русско-турецкая война. Так что не исключено, что параллельно с путешествием моего предка в Иерусалим совершалось в тех местах еще одно путешествие, правда, оставившее больше следов в истории, а именно — Пушкина в Арзрум. Но что моему предку была эта история и этот его современник? Мало вникая во все эти суетные «гойские» дела, он продолжал продвигаться к намеченной цели и в расположении войск. Сначала русских. Естественно, человек столь экзотического вида, к тому же, вероятно, и не говоривший по-русски, производил «в стане русских воинов» странное впечатление. Его заподозрили в шпионаже, задержали и препроводили к генералу. Генерал — хотя легенды об еврейском шпионаже существовали уже тогда — довольно скоро понял, с кем имеет дело, и приказал не только отпустить его, но и пропустить за русские линии. На турецкой стороне произошло то же самое. Турецкий генерал, к которому он был доставлен как шпион, тоже велел его отпустить. Вероятно, в те времена у людей были не только более простые понятия, но и более ясное ощущение религиозности, и они не путали его со шпионажем. Дошел ли мой предок до Иерусалима и на каком языке объяснялся с обоими генералами — не знаю.

Не скажу, чтобы такая отвлеченность, такая изолированность от всего, чем вокруг жили люди, очень меня умиляла, но как можно поверить, что среда, породившая такого человека (а уж он явно продукт среды, ее кульминация), может стремиться к такому хлопотному делу, как мировое господство — ума не приложу.

Мой отец никакого пристрастия к этой изолированности не имел. Он был убежденным, хотя и наивным атеистом. «Я стал свободным», — говорил он о моменте, когда отказался от религии. Однажды, во время одного из моих последних посещений Киева, уже незадолго до моего отъезда и его смерти, а умер он на восемьдесят шестом году жизни, он вдруг спросил меня: «Эма, ты умеешь мыслить?» Я несколько смешался. С одной стороны, на такой вопрос во всей его глубине и Гегель бы не ответил вполне уверенно, с другой — речь явно шла не о тщете человеческой мысли, а о чем-то более простом. А я уже все-таки к тому времени был известным поэтом, автором статей, вызывавших споры. Я ответил неопределенно. Но он этим не удовлетворился и спросил меня прямо, верю ли я в Бога. Я ответил утвердительно и попытался ему объяснить, что это для меня значит. «Нет, ты не умеешь мыслить», — заключил он, выслушав мои сложные объяснения. И тут же привел мне в доказательство «неопровержимые» естественно-научные доводы, которые сегодня легко найти в любом учебнике атеизма. Можно, конечно, улыбнуться, услышав про это, но для него эти доводы были не строчками из учебника. Они когда-то прозвучали для него откровением и действительно от многого его освободили.

Освободился он не столько от Бога, сколько от той атмосферы изолированности, которая в сочетании с темной приобретала иногда чудовищные формы. Они-то и связались у моего отца с представлением о религии и вытолкнули его из нее.

Произошло это так. После смерти деда (отцу тогда было лет восемь) к отцу, как я уже говорил, стали относиться как к цадику. Почему-то поверили именно в его святость и благодать. Являлись разные люди с подношениями и с просьбами: «Пусть ребе попросит у Бога это, пусть — то...» Надо сказать, что малолетний «ребе», как мог, увиливал от ис-

полнения этих обязанностей — его больше интересовали детские игры. Но где бы он ни прятался, служки неизменно его находили, отрывали от игр и заставляли произносить необходимые слова. Не знаю, приводили ли они к результатам, вероятно, иногда приводили (полагаю независимо от того, имели ли они место), ибо просителей не убывало.

Пока просьбы были невинного характера (о выздоровлении, о рождении и т.п.), все шло более-менее гладко. Но потом случилось нечто чудовищное. Очередной посетитель, оказавшийся мельником, попросил, чтоб «ребё» (максимум, десятилетний мальчик, но, кажется, восьмилетний) сделал так, чтоб мужик, конкурент этого мельника, «сдох» (для чего требовалось просто произнести: «пусть мужик сдохнет»). Отец наотрез отказался произносить эти страшные слова и убежал. Мельник забился в истерике. Как же, ребё не хочет пойти ему навстречу, от него отворачивается благодать, (как будто она когда-нибудь на нём была), а, значит, и фортуна (для таких скотов это одно и то же). Возможно, он при этом увеличивал «гонорар» — этого отец, поскольку был в это время в бегах, не знает. Но его разыскали и буквально силой заставили произнести это заклинание.

Я понимаю, что, как говорится, лью воду на антисемитскую мельницу. Дескать, сам признает, какие они ужасные, эти евреи. Как будто темнота, корысть, религиозное отчуждение от иноверцев — качества исключительно еврейские. Люди, по тем же мотивам молившие Бога о подобных «одолжениях» по поводу всякого рода «неверных» или «нехристей», встречались довольно часто. Конечно, мне трудно представить православного священника, который бы по чьей-то просьбе начал накликасть на кого-либо смерть, но и раввина такого представить тоже трудно. Но ведь вокруг отца никаких раввинов не было — только не совсем психически здоровая мать да неграмотные, а может, и корыстные (кто их знает), синагогальные служки, на свой салтык пекущиеся о сироте. Но все равно от этого эпизода, этой отчужденности чувств и совести, чем бы она ни объяснялась, мне до сих пор не по себе. Как было не по себе и моему отцу. Тем более что в довершение несчастья мужик этот вскоре действительно погиб страшной смертью — в пьяном виде поджег свою мельницу и сгорел заживо. Получалось, что все это случилось по наущению моего отца, что

он накликал смерть на голову человека, о котором не знал ничего дурного. Не думаю, что мужик действительно погиб из-за него, но духовно это было все равно накликаньем убийства.

На отца это произвело страшное впечатление. Он отказался навеки от всякого «волхования» (кстати, строго запрещенного еврейским законом), хотя после такого знака его могущества количество просителей, вероятно, увеличилось. И вообще не мог успокоиться. Потом при первой возможности он уехал из родного местечка и, как живительный дождь восприняв естественно-научные «опровержения» религии, ушел от Бога.

Конечно, случай это крайний. Но отход от религии на том основании, что застывшие формы ее проявления не соответствовали духовным потребностям живых душ, был знаменем времени. И имело это отношение не только к таким экстремальным случаям, и уж, конечно, не только к иудаизму. Правда, в православии началось религиозное возрождение, к которому пришли духовные верхи русской интеллигенции, но оно почти еще не коснулось ее средних кругов. В иудаизме и того не было. Уходили в атеизм. И иногда заходили очень далеко.

Мой отец слишком далеко не зашел. Он просто перестал молиться и начал есть трюфное. Воинственного характера его атеизм не имел. Иногда, чтобы не обижать окружающих или если им требовался десятый к «миньону», он принимал участие и в молебствиях. Никакой жадной творить историю он религию не заменил. Но в истории попадал. Во время Гражданской войны он арестовывался попеременно всеми властями — белыми, красными и петлюровцами, но это происходило только по недоразумению и произволу, арестовывать им всем его было не за что. Мечта его была приобрести хорошую специальность — «фах», как он говорил, — чтобы кормиться от рук своих. Он перепробовал множество профессий: был механиком, чулочником. В худую минуту поступил даже продавцом, но здесь не прижился. Мечтал и об образовании (техническом). Мечту осуществил только в 45 лет, когда поступил в техникум (я тогда пошел в первый класс). Кончил он его в пятьдесят, когда я кончил пятый класс. По специальности (контролером ОТК) работал только во время войны. Во время учебы

и все последние годы работал переплетчиком — переплетал в учреждениях документы*.

Я пишу пока только о родственниках, ибо первые впечатления жизни — они. С ними ведь, главным образом, и общались мои родители. Среди них тоже встречались люди не совсем заурядные. И не только залетная птица — дядя Арон.

Взять хотя бы того же дядю Иосифа с Демиевки-Сталинки. Фигурой он был очень колоритной и не лишенной значительности. Прежде всего он славился на всю старую Демиевку честностью. До революции евреи приходили к нему разрешать тяжбы, хотя он вовсе не был духовным лицом. В том числе и тяжбы с его собственным тестем и компаньоном (они вместе владели каким-то складом) — так высоко было доверие к его слову. Во время НЭПа он владел маленькой макаронной фабричкой на Подоле, на которой во время НЭПа и после него, когда она стала собственностью артели, механиком работал мой отец. Во время голода это выручило всю семью — отец дома пайкового хлеба не ел, а, как все рабочие фабрики, питался на работе затирухой.

Бизнесменские способности этот мой дядя унаследовал, по-видимому, от своего отца, моего деда со стороны матери, который тоже умер задолго до моего рождения и о котором я тоже поэтому почти ничего не знаю. Кроме того, что он вел в Кенигсберге оптовую хлебную торговлю (вероятно, торговал русским хлебом) и домой являлся только по большим праздникам. По слухам, он там, говоря нынешним языком, «завел себе бабу», может быть, даже не еврейку, что в тогдашней еврейской среде было явлением не только редким, но и почти невысказанным. То есть выхо-

* В книге моего хорошего товарища Виктора Рутминского, ныне, к сожалению, уже покойного (В. Рутминский. Поэты постсеребряного века. Екатеринбург «СВ-96», 2000) допущена ошибка, которую я не могу не отметить. Там в главе, посвященной мне, на стр. 242 говорится: «Ничего не знал я и об его родителях... Как-то вскользь поэт сказал, что его отец был участником революции и Гражданской войны. Это многое объясняет в молодом Коржавине». К сожалению, здесь этого хорошего и порядочного человека подвела память. Никому ни вскользь, ни не вскользь я ничего такого о своем отце не говорил и сказать не мог. Ибо это не так. С чего бы я стал это теперь скрывать? Мой отец был именно таким, как я его описываю, — ничего «революционерского» в нем не было и в помине. Я отмечаю это для защиты не чистоты моего происхождения, а достоверности этой книги.

дит, что он был тогда человеком для своей среды «передовым» — видимо, сказывался контакт с европейским просвещением.

Один из его сыновей, Абрам, так и жил в Германии до Гитлера, а один из сыновей Абрама, Моисей (Мозес), по слухам, был даже коммунистом. Однажды он прислал письмо дяде Арону, как знающему немецкий, в котором интересовался, как осуществляется в СССР власть рабочего класса — непосредственно, как основной массой производителей или через представителей. По-видимому, он, судя по этим вопросам, коммунистом все же не был. Но само то, что он году в 1932—1933-м рассчитывал получить из СССР честные ответы на свои вопросы, да и сама отвлеченность их постановки, столь далекая от того, что его адресат за последние годы пережил, свидетельствует о том, что он, как и все остальные левые интеллигенты Запада, плохо понимал, за что борется. Его отец и сестры уехали из Германии, он, кажется, погиб при попытке перейти польскую границу (во всяком случае его имя исчезло из писем).

Когда-то я очень гордился, что у меня есть такой двоюродный брат, очень жалел, что он не может выбраться «на свободу» к нам. Но судьба, которая его ждала здесь, едва ли была бы легче, а в душевном отношении была бы наверняка тяжелей, чем та, которая его постигла. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Особенно, когда выбирать надо между Сталиным и Гитлером.

Но и мои деды и мой дядя Абрам (в семье его называли Аврум) с потомством прямого отношения к моим воспоминаниям не имеют, я их никогда не видел. Я о них только слышал. А вспомнил сейчас о них лишь в связи с демиевским дядей Иосифом.

Был он человеком глубоко религиозным, но без всякого фанатизма, по-своему образованным и, конечно, умным. Во всяком случае мудрым. Это я понял еще в детстве после одного моего «богословского» диспута с ним.

Диспут произошел у него дома, где я почему-то окопывался, вероятно, по случаю карантина в нашем районе, и начал его я, и скорее всего от скуки. Он сначала молился, а потом углубился в какую-то религиозную книгу. Делать мне поэтому стало уже совсем нечего, и это бесконечно усилило мой пионерский атеизм. С этой высоты я и по-

вел свою атаку на «пережитки», дал бой религиозным забубонам. Обычно такие мои наскоки его только забавляли. Но теперь он, видимо, счел меня уже достаточно взрослым и, как говорится, «дал по мозгам», да так, что я это до сих пор помню. Но перед тем, как передать этот разговор, несколько строк об истории моего атеизма.

Атеизм этот дался мне гораздо легче, чем многим, в том числе и великим мыслителям прошлого. И гораздо более дешевой ценой, чем моему отцу. Дело в том, что в детстве я сначала в Бога верил. Моя тетя Хаита, заменявшая мне бабушку, рассказывала мне о Нем, о том, какой Он добрый и мудрый, как все понимает, обо всех заботится и всех любит. В том числе и меня. И я отвечал ему тем же. И так продолжалось до того дня, когда я пошел в детский сад. В этот первый мой детсадовский день из первой же беседы воспитательницы с детьми я доподлинно узнал, что никакого Бога нет, и с ужасом увидел, что все, кроме меня, давно уже это знают, что я остался в одном лагере с капиталистами и помещиками, которые всю эту сказку выдумали, чтоб обманывать людей, или с отсталыми, отжившими свое людьми, которые по темноте и неграмотности не могут уже от этого нелепого предрассудка освободиться. Это меня потрясло. Если первое ко мне все-таки прямо относиться не могло (меня явно не обманывали специально), то второе относилось в полной мере. Я оказался под влиянием темных и отсталых людей.

Это один из наиболее результативных методов воздействия на массовое сознание, выработанный, вероятно стихийно, от необходимости внушать неочевидное большевиками и усовершенствованный Сталиным. То, что нужно внушить, обычно не доказывается, а прямо объявляется давно и всем известным, кроме разного рода ублюдков, действующих в основном по корыстным мотивам (эксплуататоры или продажные агенты), или по недомыслию и темноте. Первое неуютно и опасно пахнет отщепенством, которого инстинктивно хочется избежать, а второе воздействует еще шире — кому охота быть отсталым и недоумком. Все, что Ленину приходило в голову внушить «массам», он немедленно объявлял известным и понятным «каждому сознательному пролетарию». И это работало: никакому активисту не хочется оказаться несознательным и всем охота

быть приобщенными к сонму сознательных. Вместе с этим легкодумно внушалось механическое неуважение к старшим, которым ввиду их испорченности капитализмом эта премудрость недоступна — во всяком случае в той мере, что молодым. Так осуществлялась защита уже изрядно к тому времени подгнившего (и поставившего себя на службу гибельным для него сталинским амбициям) революционного фанатизма от традиционного опыта и здравого смысла. Но методы его пропаганды были тогда еще действенны как в отношении пятилетних детей, так и в отношении их главных воспитательниц.

Короче, мою религиозность как рукой сняло. Более того, как уже понял читатель, я почувствовал себя обманутым, без вины вовлеченным в «отсталость». Мой детский конформизм был оскорблен и требовал немедленного возмездия. И я приступил к нему сразу, как только вернулся домой. А именно, стал сыпать хлебные крошки в хранившуюся в нижнем отделении нашего буфета теткину пасхальную посуду. Это было кощунством, ибо пасхальное не должно соприкасаться с хлебным. В Пасху едят мацу. Мацу, правда, я и после этого случая не разлюбил и ел ее — хотя, конечно, не все восемь дней подряд, как полагалось, — с прежним удовольствием, но стал богоборцем. В сущности, я поступил так же, как в те годы антирелигиозного террора поступали и взрослые воинственные безбожники. Вероятно, и мой атеизм по глубине и серьезности был вполне сравним с их — в истории бывают инфантильные эпохи.

С высоты этого атеизма я и повел атаку на своего отсталого бородатого дядю, спросив у него без обиняков, зачем он молится, раз Бога все равно нет. Неожиданно вместо обычного посмеивания в ответ, как тогда говорили, «враг решил показать свои зубы». Впрочем, никакого оскала не было, и я поначалу никаких «зубов» не заметил.

— А что, — спросил он меня невинно, — ты действительно знаешь, что Бога нет?

Не чуя подвоха (да и как МНЕ(!) можно было ждать подвоха от этого бородатого пережитка некультурных веков?) и не обратив никакого внимания на спрятанное в ровной интонации вопроса коварное слово «знаешь», я ответил утвердительно. Естественно, я это знал. Еще с детского сада. А кто этого не знает? И тогда дядя скромно попро-

сил меня поделиться своим знанием и с ним, поскольку он этого не знает. Я был готов. Что вопрос этот отнюдь не невинный и что многим на нашей планете это давно известно, я узнал много позже. И я бодро бросился в расставленную ловушку, повторяя ту чушь, которую слышал в детском саду и в школе (по уровню это было одно и то же), и внезапно сам с удивлением ощутил, что запутываюсь, что аргументов у меня нет. Дядя только изредка задавал «уточняющие» вопросы, после чего я еще глубже увязал в трясине теряющих смысл словес.

— Нет, — завершил дядя сочувственно, — ты этого не знаешь.

Я был уничтожен, оказавшись бессильным в схватке с мракобесием. Но, как один чеховский герой, «будучи развит не по годам», я тут же нашелся и попытался переложить труд доказательств на оппонента:

— А ты раньше докажи, что Он есть.

Прием не рыцарский, но противник как будто дрогнул:

— Не могу, — смиренно ответил он. Я вздохнул облегченно. Разум все же победил невежество. Оставалось только закрепить эту победу. Я подытожил:

— Ну так чего ж ты?

Но оказалось, что закреплять было нечего.

— А разве я тебе когда-нибудь говорил, что я знаю, что Бог есть? — спросил дядя еще более невинно. — Я только верю, что Он есть.

Чем мне тут было крыть? Конечно, это был старый трюк, и ни один сколько-нибудь образованный атеист на него бы не попался: атеисты тоже знают, что небытие Божье так же недоказуемо, как и Его бытие. Но я еще не был сколько-нибудь образованным, и значительность этих слов, этого хода мысли потрясла меня. И хоть я, конечно же, своих взглядов не изменил, я впервые столкнулся с тем, что все не так просто, и почувствовал уважение к чужой позиции, хоть был мой дядя при бороде и в ермолке — явных атрибутах отсталости и мракобесия.

Есть у каждого из нас в жизни такие разговоры, такие услышанные фразы, сущность которых мы еще не готовы ни понять, ни принять, но которые тем не менее западают в душу, подспудно поражая своей убедительностью. Они все равно — исподволь — участвуют в нашем формирова-

нии, помогают рушиться всему внушенному, навязанному, несамостоятельному, чего много всегда, а особенно в наше время. И в нужный момент — когда мы уже готовы к этому — они вдруг всплывают на поверхность сознания и облегчают наше дальнейшее развитие, наши болезненные «прозрения» (ведь прозревать иногда приходится самые банальные истины). Впрочем, с такими прозрениями читатель, у которого хватит терпения дочитать эту книгу (и если у автора хватит терпения и жизни ее дописать), еще не раз встретится на ее страницах. А сейчас я говорю о среде, в которой я рос.

В том виде, в каком я ее застал, ее больше нет. И дело не только в «Катастрофе» — несмотря на ее тяжелейшие последствия для еврейского народа. Среда эта могла бы — пусть и не в прежнем объеме — восстановиться (и даже сталинщина не помешала бы), если бы у многих людей была настоятельная и естественная потребность в этом. Ведь разрушение этой среды, исход из нее наиболее динамичных элементов начался еще в шестидесятые годы девятнадцатого века. Даже мои родители и большинство родственников были в культурном отношении, так сказать, «продуктами полураспада». Но процесс распада на этом не кончился.

Конечно, Гражданская война и коллективизация, подорвавшие экономические основы местечкового существования, явились мощными катализаторами этого процесса, но шел он и до этого. И дело не в антисемитизме. Наоборот, особенно бурно этот процесс шел в двадцатые и тридцатые годы, когда антисемитизм был под запретом.

Просто к тому времени религия, бывшая основой еврейского диаспоризма, потеряла почти всякое влияние. Конечно, это совпало с общим насаждением бездумного безбожия, жертвой которого стала независимо от исповедания отцов и дедов вся молодежь СССР. В том виде, в котором она существовала, еврейская религия удержать живые души и не могла. Сегодняшнее возвращение некоторых интеллектуалов в иудаизм редко бывает результатом духовных откровений — чаще это ответ на антисемитизм и попытка нащупать национальную почву.

Меня это не греет. И то, что я недавно крестился, — естественный итог всей моей жизни. Тем не менее по рождению я еврей. От этого никуда не денешься. Можно уйти от

среды, но не от судьбы. Тем более от еврейской судьбы в двадцатом веке. Всегда найдется кто-нибудь, кто о твоей связи с ней напомнит. Она — дополнительная тяжесть на плечах, сбросить которую не только невозможно, но и недостойно. Кроме того, полагаю, что и взаимоотношения с ней при некоторых условиях тоже обогащают. Сквозь эту тяжесть, если на ней не заикливаться, многое можно увидеть в двадцатом веке.

Но определила и до сих пор определяет мою судьбу не эта тяжесть, а любовь — любовь к тому, что всегда светило мне и сквозь эту тяжесть. А любовь моя давно и бесповоротно отдана России. Почему я прежде всего и главным образом — русский.

Некоторые сочтут эту мою самоидентификацию предательством, некоторые — посягательством. Что делать! В расовые критерии, как в главный признак идентификации человека я не верю и уже не поверю никогда. Я уже до конца буду воспринимать эти критерии как реванш безличного и уж, конечно, безличностного начала у веков культуры.

Так или иначе, но личностью какой-никакой я все-таки стал на самом деле. Я и мемуары стал писать с целью лучше объяснить себе и другим, как это было и что это значит. Поэтому мне и приходится уделить столько внимания среде, из которой я происхожу, хотя читателю, возможно, это и не так интересно.

Но без рассказа о ней рассказ о моем становлении как личности был бы непонятен и недостоверен. Ибо хотя эта среда и не влияла на мое творчество, но в детстве она как-то участвовала в моем формировании. А, как известно, все начинается с детства.

Дом и город

Итак, я родился через восемь лет после «Великого Октября», через пять лет (а если считать и Дальний Восток, то через три года) после окончания Гражданской войны и всего за четыре года до еще более судьбоносного «великого перелома». Причем родился в Киеве, через который кровавые цунами Гражданской войны перекатывались многожды и

всяко, а уж во что там обошелся, что там напереломал «великий перелом» — общеизвестно и все же непредставимо. Киев был едва ли не эпицентром этого отнюдь не стихийного бедствия, не менее бессмысленного, но более жестокого и разрушительного, чем любое стихийное. И если Гражданская война происходила до моего рождения и была долго окутана для меня дымкой романтики (о том, как появляются такие дымки и как они окутывают страшные события, надо размышлять особо), то «перелом» проходил отчасти на моих глазах. Конечно, я мало что понимал в свои 6—7 лет, но то, что я видел, не могло каким-то боком не застрять в моей памяти, каким-то образом не отразиться на моем духовном облике, как на духовном облике всех, кто тогда жил и пережил это, всей страны. Каким именно, я понял только недавно. Об этом — чуть ниже.

Но все-таки детство было детством. Обе сестры моей матери — уже упоминавшиеся Хая, Ита и Шифра — были бездетны, дочери их брата Иосифа (одна недоразвитая) были уже взрослыми и в их попечении не нуждались. Поэтому вся их любовь, все неизрасходованное материнство были направлены на меня. Говорили: у Эмы три мамы. Часто это было мне даже в тягость, но ребенком я был вполне обихоженым, как и положено ребенку.

Кстати, об имени — великий московский острослов, композитор Никита Богословский, сказал однажды, что любые два слога, где второй оканчивается на «а», могут в России составить неполное еврейское имя. Вероятно, он недалек от истины. Это относится и к русским дворянским и традиционно-интеллигентским семьям, но все же не в такой степени. В еврейских семьях это переходило все границы сообразности.

Помню, как одна очень добрая родственница сетовала на то, что нашей дочери не дали имени ее погибшего во время сталинских «чисток» деда.

— Но она ведь девочка, — удивились мы, — а его звали Григорий, Гриша. Как же ее надо было назвать в честь него? Ведь нет такого имени...

Но для доброй женщины не было тут никаких трудностей.

— Как нет? — в свою очередь удивилась она. — А Грина?!

То, что такого имени нет в природе, ее просто не занимало.

Думаю, что приблизительно так прилепилось ко мне и имя Эма.

Вообще-то при рождении мне дали имя моего «кенигсбергского» деда — Нехемье. Но поскольку даже в обиходе того круга, где я родился, оно не звучало естественно, то постепенно так «приспособилось к реальности». Скорей всего, оно представляло собой произвольный и незаконный экстракт из имени Нехемье. То, что оно при этом оказалось женским, никого не обеспокоило. Так и живу. Спасаясь тем, что, подписывая письма друзьям — больше употреблять его негде, — пишу его через одно «м» Только дети иногда все же интересуются, почему я дядя, а не тетя. Но в быту, так уж получилось, мне привычней и естественней откликаться на это имя. Неудобств оно мне не доставляет. Более того, везде, где мое положение естественно, меня называют Эма, везде, где я как бы не в своем облике (эвакуация, ссылка, горный техникум), меня называли Наум. Из чего отнюдь не следует, что отношения с людьми в этих местах у меня обязательно были более далекие и отчужденные. Где бы я ни был, у меня оставались друзья, которых я до сих пор люблю.

Но Наум я на самом деле. В русском переводе имя Нехемье значит Наум. Это не приспособление имени, а его перевод: пророк Нехемье — пророк Наум. Впрочем, и в приспособлении имени я никакой особой подлости не вижу. Слишком ломались уклады в наше время. Как бы ни презирали меня за это всякого рода разоблачители, а с именем Нехемье, даже если б оно не имело перевода, я бы никогда себя отождествить не смог.

В Израиле все эти имена уместны и звучат красиво, но в русской жизни они громоздки и неудобны. Впрочем, мои родители, которых в каком-либо отказе от еврейства обвинить трудно, в эвакуации звались Анна Наумовна (вместо Ханна Нехемьевна, как она звалась в Киеве) и Моисей Григорьевич (вместо Гецелевич). Просто потому, что на Украине тогда еврейские имена были не в диковинку, а на Урале были трудно произносимы.

Наум я и по паспорту — паспорт я получал не по метрике, а по справке об освобождении. Когда после ссылки киевский ЗАГС отказался ответить на запрос тюменской милиции обо мне, ибо никакой Наум у них не значился (а в справке об освобождении не значился никакой Нехемье),

милиция и оформила мне паспорт на основании этой справки, выданной учреждением гораздо более авторитетным тогда, чем ЗАГС.

Однажды это отличие паспортного имени от метрической записи доставило мне некоторые затруднения. Я уже жил в Америке, а мать оставалась в Киеве. Мне надо было ей как-то помогать, посылать деньги. Сертификаты к тому времени отменили, а для того чтоб посылать ей достаточно денег по официальному курсу, надо было быть миллионером. Я узнал, что, если советский суд присудит моей матери алименты, я смогу ей посылать деньги по более выгодному курсу (около трех рублей за доллар — тогда еще не было сегодняшних бешеных курсов). Но суд дела на меня принять не мог, ибо требовалась справка из ЗАГСа о том, что я действительно сын своей матери. Но по уже известной причине ЗАГС эту справку выдать отказался. Кстати, при оформлении выездных документов, когда требовалось разрешение родителей, меня вполне признавали сыном своей матери, а тут застопорилось. Так что я вовсе не вижу в этом «деле об алиментах» козней КГБ. Тем более что КГБ не мог не знать, что государство на этом только теряет, ибо я перешлю деньги иным путем и без всякой пользы для государства (что я, конечно, и сделал). Это была обычная канцелярская рутина, которой везде хватает. Да ведь имена действительно не сходились...

Но я забежал далеко вперед, а мемуары, в принципе, следует начинать с начала, с раннего детства, но о нем мне рассказывать почти нечего. Лев Толстой помнил даже, как его пеленали, я этого не помню. Помню только, как меня баюкали, завернув в одеяло. И каким оно большим тогда было, это красное детское ватное одеяльце. Помню, что короткое время в самом начале у меня была няня и что звали ее Пашей.

Присутствие Паши я осознал раньше, чем присутствие матери. Помню, как однажды мы сидели с Пашей на крыльце нашего дома, и вдруг подошла какая-то женщина, вроде бы знакомая и симпатичная, и стала что-то требовательно внушать няне, почему я настроился по отношению к ней даже несколько неодобрительно. Потом оказалось, что я живу с этой женщиной в одной комнате и что она — моя мама. Видимо, наше самосознание пробуждается в нас толч-

ками, а не плавно. О Паше помню еще, что была она русской, а не украинкой. Это было до начала массового бегства украинских крестьян из вымарываемых деревень в города, и Киев был еще городом по преимуществу русским.

Впрочем, ее я встречал и позже, когда она от нас ушла, даже и после войны — она жила где-то по соседству. Она, может, и сейчас еще жива, но только не «по соседству», ибо «соседства» этого уже нет: все домики вокруг — и наш тоже — снесли.

Но на дворе уже год двадцать седьмой, может быть, двадцать восьмой, и мы сидим с Пашей в солнечный день на крыльце нашего дома. Крыльцо, собственно, не совсем крыльцо — просто широкие цементированные ступени, где по вечерам жильцы, как во всяком южном городе, расставляют стулья и «дышат воздухом»: устраивают нечто вроде импровизированного клуба. Но это воспоминания более поздних лет. А пока мы сидим с няней на крыльце, и, что здесь бывает вечером, я не знаю. По вечерам я еще сплю.

Это крыльцо для меня — выход в мир и вход в мой дом. Мимо нас с няней иногда проходят люди, соседи и родные, в дом и из дома. Каждый скажет мне хоть слово, некоторые и по щечке потреплют. Людям я рад, но, куда они уходят, я не знаю и не интересуюсь. Я еще не знаю, куда можно уходить, но знаю, что можно — это данность. Данность и дом, на крыльце которого я сижу. Со стороны улицы он выложен кирпичом какого-то зеленовато-желтого, уютного и вправду «домашнего» цвета. Или это, наоборот, цвет этот воспринимается мной как домашний, потому что он связался с домом? — теперь уж не разобрать.

На первом этаже (точней, в бельэтаже) справа от нас (мы ведь сидим спиной к дому) — пять больших, широких окон. Первых два — теткиной спальни, следующие три — нашей комнаты. Над ними — второй этаж — ряд таких же окон. Только вместо одного из них — выход на балкон. Я уже однажды сидел на каком-то балконе, и мне там очень понравилось. Смотреть сверху на всех, кто ходит или ездит по улице, интересно, да и видно больше. Но у нас, к сожалению, балкона нет. Слева от нас то же, что и справа, только эта часть дома продолжена подворотней (по-киевски — «подъездом»), над которой на уровне полуторного этажа еще одно окно — квартиры, предназначавшейся для двор-

ника. Под каждым из окон бельэтажа есть еще одно небольшое окошко. Если стоять не рядом, можно видеть только его верхнюю часть, нижняя как бы уходит в землю. На самом деле вокруг каждого из них мошеная квадратная выемка. Это окошки подвала. Когда мы кончим «гулять», то есть сидеть на крыльце и войдем в парадное, мы увидим вход в этот подвал — несколько ступенек, ведущих вниз, и широкую желтую — под цвет парадного — дверь, обычно закрытую на висячий замок. Но в подвал мы не идем. Да меня туда и не тянет — там темно и оттуда несет сыростью. Там еще никто не живет и никто еще не знает, что там можно жить. Тянет меня домой, там светло, там у меня есть игрушки, кровать, родное красное одеяло. Мы держимся правой и преодолеваем почти то же небольшое количество ступенек, что и в подвал, но только вверх, а не вниз, и оказываемся на своей площадке.

На ней друг против друг две двери — квартиры первая и вторая. Двери желтые, чем-то обитые, еще совсем необшарпанные. Вообще дом не роскошен, но вполне добротен и опрятен. Вероятно, как все кругом, что еще тужится быть «как в мирное время». Но для меня пока еще существует только одно время — каждый данный момент. Сравнить времена я еще не умею, да и не с чем. На двери нашей квартиры, на левой створке сверху, — отлитый из чугуна вертикальный овал с большой цифрой «1». Это номер нашей квартиры. На левой створке гораздо ниже (впрочем, для меня еще все достаточно высоко) — большой чугунный круг, в центре которого стержень с ручкой, представляющей из себя полукруг. Стремительная стрелка показывает, что его надо повернуть вправо. Повернешь — раздастся звонок. Это я знаю. Меня иногда поднимают к нему, и я поворачиваю эту ручку. Это музыкальное творчество мне очень нравится, но, к сожалению, долго звонить мне не дают — быстро опускают.

Мы входим в темный коридор нашей квартиры... Щелкает выключатель, и под потолком, убранный в металлическую сетку, тускло вспыхивает продолговатая, цилиндрическая электрическая лампочка, еще, по-видимому, угольная. Естественно, включать и выключать свет я тоже люблю, но мне и здесь не дают разгуляться. Детство — сплошное ограничение творческих возможностей...

Захлопывается входная дверь. Наша комната в противоположном торце коридора. Минуя слева открытую дверь кухни, а справа обычно закрытую дверь теткой спальни, мы проходим к себе. Комната наша светла — все-таки три окна — и кажется мне громадной. В ней, как я узнаю потом, целых двадцать четыре метра. В те годы, когда я начну понимать больше, все будут считать ее выпавшим счастьем. Пока же, как я понимаю, это просто одна из комнат дядиной квартиры, которую предоставили небогатым родственникам. В правой стене еще одна дверь — она ведет в теткин столовую, у которой есть еще один выход в мир — через кухню. Там я люблю бывать по пятницам и праздникам, особенно на пасхальных северах — в общем, когда вкусно едят. У дяди с тетей есть еще одна небольшая комната, правей столовой, но окна обеих комнат выходят на противоположную сторону, но только не прямо во двор, а на застекленную террасу, именуемую коридором, даже «калидором». Но туда можно попасть только через кухню, и туда меня пока одного не пускают. Ибо к нему примыкает деревянное крыльцо с довольно высокой лестницей, с которой недолго и свалиться. Впрочем, в кухню меня тоже не пускают, чтоб не мешал и не лез, куда не надо. Но я все равно лезу, поскольку в кухне есть выложенная снаружи красной кафельной плиткой русская печь, в которой тетка часто что-то печет.

С отцом мы любим сидеть на крыльце. Отцу очень нравится наш зеленый тенистый дворик с громадными акациями и четырьмя высокими дощатыми сараями слева у капитальной кирпичной стены. Эта стена отделяет наш двор от двора соседнего четырехэтажного дома 97а (наш — 97б), с которым нас потом в результате полной победы сталинского социализма объединят. Тогда сломают и сарай, и стену. Но это будет потом, только лет через восемь, уже совсем в другую эпоху, которую пока еще не представляю не только я, кому и топография собственной квартиры открывается постепенно и поэтапно. Этот дом, это крыльцо, эта квартира — микромир моего детства. Раннее младенчество будет переходить в раннее детство, будет пробуждаться сознание, и мой микромир будет постепенно не только углубляться, но и расширяться, все шире осваиваться и топографически — то эластично, то скачками. За этим не уследишь, тут не выделишь бахтинские «хронотопы», но явная

связь возраста и освоенного пространства очевидна. Но начало всех моих путей — здесь.

В пятиэтажном доме напротив, который никак не назовешь по-современному — пятиэтажка, окна всегда светятся. Это, как мне говорили, трикотажная фабрика. По-видимому, она была нэпманской — потом ее не стало и дом стал жилым. Из окон второго этажа дома, стоящего чуть левой фабрики, всегда вкусно и остро пахнет мясными щами — этот запах нравится мне больше, чем запах домашнего сладкого борща. Дальше с противоположной стороны не то пустырь, не то склад — неудобные строения за забором (потом вместо этого будет построен НИИ электросварки академика Патона). Дальше нет ничего — только пересекающая под углом улочка, состоявшая из маленьких невзрачных параллельных домиков, проходящей метрах в трехстах от них железной дороги. Это ведь район товарной станции и склад, о котором я только что говорил, наверно, тоже от нее. Продолжение этой невзрачной улицы становится частью нашей Владимирской, когда она метрах в двухстах от нас поворачивает вправо. Но это мне безразлично, в эту сторону я не смотрю — невзрачные домики моего внимания не привлекают. Это теперь наш район (наша часть этой фешенебельной Владимирской) — поскольку город разросся, стал одним из самых центральных, а по тем временам он был достаточно заштатным. И выглядел так до самой моей эмиграции.

Так что я не удивился, когда услышал, что наш дом вместе с другими, стоящими ниже него домами и домиками, набитыми, как ульи, снесли, а на их месте построили большой дом или дома, говорили: для элиты. Меня это не возмущало. Конечно, по каким бы причинам это ни произошло, разрушен мир моего детства, и мне было больно от мысли, что на нашем углу ничего от меня не осталось. Но это чисто личное, лирическое переживание, а не возмущение. Я понимал, что так или иначе дома эти все равно пришлось бы снести. В конце концов моя мать получила квартиру со всеми удобствами в новом районе. И претензий у меня — ни социальных, ни политических, ни моральных — ни к кому по этому поводу быть не могло. Для элиты или не для элиты, но в этом — теперь центральном — районе надо было построить другие жилые дома. В том, что

они будут жилыми, я почему-то не сомневался. Это ведь было очевидно.

Но 18 марта 1991 года я увидел на месте своего дома капитальную ограду промышленного типа. Четырехэтажный угловой дом рядом был еще не снесен, но уже необитаем. Так выглядели все дома всего квартала — по Владимирской, Совской, Кузнечной и Жилианской. Сомнений не оставалось — все было превращено в промышленную зону, В десяти минутах ходьбы от Крешатика, в пятистах метрах от Центрального стадиона. Психология, рассматривающая жизнь как неудобный придаток к производству, торжествовала очередную победу над жизнью.

Но пока я пишу о других временах. Я ведь еще ребенок, и во всем, что меня пока касается, есть еще ощущение довольства и покоя — во всяком случае так это во мне запечатлелось. И осталось где-то в глубине подсознания как возможность бытия, хотя такое бытие я до весьма солидного возраста презирал и отнюдь не к нему в жизни стремился.

Конечно, то, что я сегодня знаю о том, что творилось тогда в специально отведенных для того местах, и о том, что тогда нависало над всеми нами, этому ощущению покоя противоречит, но рядовой обыватель, не принадлежавший к дореволюционным сословиям и партиям, мог об этом и забывать. Я же пока, как все дети, верю в правильность и прочность окружающего, и то, что я вижу вокруг, этому не противоречит.

Но, как все дети, я люблю благообразие. И поэтому, сидя с мамой или с няней на крыльчке, я смотрю не туда, где невзрачные домики, а в другую сторону. В ту, куда, сходя с крыльца, уходят соседи, где светлей, чище и многоэтажней.

Прежде всего выглядит импозантней упомянутый дом 97а — он высокий, четырехэтажный, розоватый, угловой. У него целых два парадных. Одно со стороны нашей Владимирской, другое — с Жилианской. И такой же большой, только зеленоватый, дом на другой стороне Владимирской. Года в четыре я уже буду знать, что Жилианская — улица очень интересная. Если пойти по ней вправо, то очень скоро, через два—три небольших здания, увидишь на другой стороне двор, в котором обычно толпится много веселых ребят, для меня почти взрослых. Это ФЗУ — школа фаб-

рично-заводского ученичества, благо и завод небольшой как раз напротив него, но его существование я осознаю позже. Когда я подрасту, эта школа ФЗУ давно уже будет просто средней школой №95, и тут начнется мое вхождение в жизнь. Рядом со школой живут наши родственники с девочкой Адей, о которой я еще здесь буду говорить. Дальше вдруг слышится беспорядочный звон струн — музыкальная фабрика. Потом она разрослась в музкомбинат, и уже ничего не слышалось. Незаметно добираемся до Кузнечной и подходим к Большой Васильковской. Во втором доме от угла, на другой стороне, на втором этаже двухэтажного дома я бываю часто — здесь живут мамина сестра, мои тетя Шифра и ее муж, дядя Арон. У них большая комната с книгами на разных языках и маленькая, которую почти всю занимает зубоорубочное кресло — она, как и мама, зубной врач.

Большая Васильковская — улица серьезная, не чета нашей. Впрочем, она действительно одна из главных магистралей города. По ней тогда ходил трамвай. У нас под окнами по бульжной мостовой тоже проложены рельсы. Родители говорят, что по ним ходил трамвай на Демиевку. Но теперь не ходит. В тридцатые годы эту мостовую, равно как и выложенный красным кирпичом тротуар, заливают асфальтом. А после войны опять проложат рельсы и пустят трамвай. На Демиевку. Поступательный ход социализма.

Но это будет другой трамвай — обычный современный трамвай, против которого я ничего не имею, но другой. Трамвай №1, который тогда ходил по Большой Васильковской от Демиевки, где работала моя мама и жил мой дядя Иосиф, через Крещатик на Подол, где работал мой отец, выглядел совсем иначе. Вагоны его были дореволюционные, еще бельгийской компании — длинные, красные, верней малиновые, какого-то вкусного цвета пультманы, очень волновавшие мое воображение, даже в воспоминаниях кажущиеся мне уютными и красивыми. Ездить мне на них приходилось гораздо реже, чем хотелось. Потом маршрут №1 начал дробиться и изменяться, а эти вагоны были вытеснены, как уже сказано, другими, может быть, не худшими, даже более современными, но они уж не казались мне ни уютными, ни красивыми, и воображения уже не волновали. А в Пущу-Водицу и на Куреневку ходили трамваи летние, практически без стен...

На Демиевку надо было садиться с нашей стороны Васильковской, а вот чтоб ехать на Крещатик или Подол (на пляж или пристань), с противоположной, у большого белого как бы мраморного здания. Тогда оно было клубом водников, потом театром музыкальной комедии. Жилинская уходит дальше и упирается в Черепановы горы, представляющие собой часть приднепровских холмов. Сразу за клубом водников она оставляет справа стадион, тогда Красный, потом Центральный, вход на который с Васильковской, чуть правее клуба водников. Этот стадион я знаю, меня иногда водят туда гулять. Кстати, в качестве Центрального он должен был быть открыт 22 июня 1941 года. Открытие, естественно, задержалось на долгие годы. Но об этом я пока даже не подозреваю.

Клуб водников для меня выделяется из общего фона только потому, что именно здесь я видел первое в своей жизни кино. Привел меня туда отец. Когда погасили свет, я забеспокоился — я этого не любил. Но потом вспыхнул экран, пошли к нему лучи, и я заинтересовался. И то, что я видел, доходило до меня туго. Фильм, естественно, был немым, в нем большую роль играли титры, которые неграмотным (а я был неграмотным) не помогают. О том, что мне не был понятен сюжет в целом, я и не говорю — это очевидно. Помню только, что там орел уносил девочку куда-то в скалы. О том, что это именно орел, попутно объяснив, что бывают такие большие птицы, сказал мне отец. Зачем он ее уносит, я понять не мог, но все же тревожился за девочку. Однако отец сказал мне, что с ней ничего плохого не произойдет, и я успокоился. Не понимал я не только сюжета, но и просто физический смысл происходящего в кадре мне был не всегда понятен, хотя нравилось: фотографии двигались, как живые. Как ни прискорбно, экспрессивный киноязык тогдашнего немого кино в три и четыре года был мне недоступен.

Но Жилинская идет не только вправо от нашей Владимирской — к Большой Васильковской, но и влево — к вокзалу и к Евбазу. Просто влево она осваивается мной медленней, потому что, в принципе, мы в эту сторону не ходим. В эту сторону улица выглядела вполне заштатно, и нас туда не тянуло. Впрочем, кроме тех случаев, когда мы на подводе переезжали в Святошино, где снимали комнату на

лето или — и того лучше — ехали на извозчике на вокзал. Конечно, много было суматохи и с подводой. Она через подворотню въезжала прямо на двор, будоражила друзей моего раннего детства, мечтавших при выезде уцепиться и доехать до мостовой, создавала суматоху с погрузкой вещей, а потом предоставляла мне счастливую возможность сидеть высоко на вещах и поглядывать оттуда на прохожих. Но все же с поездкой на извозчике на вокзал это ни в какое сравнение не шло. Тут обреталась некоторая экстерриториальность, и все представало в каком-то новом освещении, приобретало значительность: и извозчик, и вокзал, и поезд. И как прелюдия — триумфальный проезд мимо Тарасовской, Паньковской, Караваевской к Безаковской, где нам надо было свернуть налево и которая была всегда романтически-торжественной уже потому, что в двух шагах от Жилианской упиралась в вокзальную площадь. Конечно, и по ней ходили трамваи, в том числе №2, на Крещатик, но трамвайную линию мы пересекали еще на Караваевской. Там по маршруту Владимирская горка — Соломинка (район за линией железной дороги) курсировал восьмой номер трамвая. Как ни странно, на Соломинке я был только раз в жизни, году в сороковом. Другое дело — Владимирская горка. Но об этом позже. Конечно, эти поездки на вокзал мне очень нравились, даже волновали меня, но, как все хорошее, случались тогда очень редко.

Я упомянул здесь Владимирскую горку. Я далеко не сразу понял, что ведет к ней наша же Владимирская улица. И не только потому, что в это время улица наша была уже (и еще) не Владимирской, а Короленко — просто по ней дальше Жилианской меня редко водили. А она сразу брала круто вверх и через короткий отрезок к Марино—Благовещенской. Улица эта была строго параллельной нашей Жилианской, но воспринималось мной как некая даль, как иной мир. Там, приятно звеня, солидно проплывали красные трамваи, стояли красивые дома и, вообще как будто шла какая-то более интересная и значительная жизнь. Собственно тогда она уже была улицей Пятакова, потом, когда Пятакова расстреляли, она стала улицей его брата — Леонида Пятакова. Но вскоре — от греха подальше — ее превратили и вовсе в улицу Саксаганского. Судя по развитию событий, это название за ней и останется, и опять Марино—Благовещенской ей не быть больше никогда.

Микрорайон моего детства

Но это уже разговор о других временах. А тогда на эту улицу мы выходили редко еще и потому, что трамвай на Демиевку с Большой Васильковской обходился дешевле, чем от угла Владимирской (на углу Марино-Благовещенской и Большой Васильковской кончался тарифный участок). Это говорит о том, что жили мы отнюдь не роскошно, а, с другой стороны, подчеркивало привлекательную особенность Марино-Благовещенской. В то же время она все-таки была более нашей, чем почти все другие. На ней недалеко от нас (в большом доме на углу Тарасовской) жила еще одна моя тетья — сестра отца Рахиль — с мужем Хайкелем, дочерью Розой и сыном Гецей (Гезей), который был недосыгаемо старше меня — на целых шесть лет. Уменьшительным от какого имени было имя Гезя я и теперь не знаю, но я его очень любил... Потом он учился в мединституте. Во время войны, в начале сорок второго, мы начали получать от него письма. Он был тогда врачом полевого госпиталя на «харьковском направлении», жил предчувствием освобождения Киева. Когда началось немецкое наступление под Харьковом, письма прекратились. Как десятки тысяч других людей, он попал в плен в печально-знаменитом харьковском «котле». Говорят, он мог бежать, но не счел возможным бросить раненых и был расстрелян у дверей госпиталя. Точно этого я не знаю, но знаю, что он был хорошим и ответственным человеком. Впрочем, это уже — другие времена и другая тема.

Я понемногу подрастал, и топография моего микромира расширялась. Владимирская продолжается и после Марино—Благовещенской. Она даже взмывает вверх еще круче, и расстояние между Мариинской и следующей улицей раза в три длинней, чем между ней и Жилианской. Парадокс состоит в том, что эта следующая улица — та же Караваяевская, которую мы проезжали на извозчике, когда ездили в другую сторону, к вокзалу. Сюда она доходила, сделав где-то по дороге прямой угол, став перпендикулярной самой себе. У Владимирской она не кончается, а следует дальше к Большой Васильковской (паралельно Жилианской и Мариинской)... Сюда доходит уже упоминавшийся восьмой но-

мер трамвая, но к Васильковской он не спускается, а сворачивает налево — на Владимирскую, по которой и следует до Владимирской горки. После Караваевской Владимирская уже не взбирается на особо крутые высоты, а становится спокойной, просторной и красивой... С левой стороны сразу начинаются красные здания университета — в прошлом Святого Владимира, потом имени Т.Г.Шевченко, а против них целый квартал до бульвара Шевченко (бывший Бибиковский) и до Кузнечной (точнее, ее продолжения) занимает каштановый Николаевский парк, в центре которого долго стоял памятник Николаю Первому. Теперь там стоит памятник Т.Г.Шевченко, и парк этот тоже стал имени Шевченко. По-видимому, ни парку, ни бульвару, ни университету старые названия возвращены не будут. А ведь и они связаны с историей города. Вместо того чтобы длить традицию сталинских переименований, в расстраивающемся городе вполне можно было бы открыть названные в честь великого поэта новые учреждения, соорудить новые памятные места.

Мои мысли о названиях вызваны не соображениями национальной политики, а простой человеческой ностальгией по временам моего детства, когда говорилось «Бибиковский»... «Николаевский»... И, кажется, солнце светило как-то по-другому.

Постепенное расширение границ мира

В первые годы моей жизни чаще всего только затем и добирались сюда, чтоб отсюда уже ехать к Днепру или в гости. Следовательно, все, что возникало дальше — Бульвар Шевченко, Фундуклеевскую, Оперный, бывший Городской, театр за ней (в нем был убит Столыпин), Прорезную и окруженные садиком остатки Золотых ворот против нее, — все это я видел уже только из трамвайного окна. Эти поездки я очень любил, но случалось это раз в год, когда меня возили к знакомой девочке на именины — в район Софиевской площади, в центре которой и тогда стоял памятник Богдану Хмельницкому, а слева высился собор Софии Киевской. Здесь на остановке «Рыльский переулок» перед знаменитыми «присутственными местами» (где ког-

да-то состоялся процесс Бейлиса) мы сходили и шли на именины с подарком, который иногда мне самому так нравился, что было жаль его отдавать.

А иногда мы проезжали дальше до конца, к самому фуникулеру и, спустившись на нем на Подол к Днепру, переправлялись на пляж. Справа от фуникулера спускалась к Крещатику Владимирская горка (как спускались к нему все улицы, начиная с бульвара Шевченко). Владимирская горка — один из киевских парков. В середине ее на широкой площадке стоял, держа крест, и теперь стоит князь Владимир Святой, креститель Руси.

Край ойкумены

Именно отсюда, с Владимирской горки, я впервые увидел внизу маленькие игрушечные трамвайчики, с маленькими людьми, висящими на подножках, маленький Днепр с игрушечными парходиками — одним словом, целое сказочное игрушечное царство. В то, что все эти предметы вовсе не игрушечные, а маленькими кажутся только из-за расстояния, как утверждал отец, верить я отказывался. Тогда мы начали спускаться вниз по дорожке, к Александровской улице, и уже на полпути сказка кончилась. Но все это переживания более позднего времени.

Но уже и в мое младенчество вторгалась история. Однажды, когда я сидел в нашей комнате на плетеном стульчике за плетеным столиком (они были недавно подарены мне, и я их очень любил), я был вдруг отвлечен от каких-то своих дел счастливым возгласом: «Эмочка! Рахилька пришла!» Из этого следует, что я к тому времени уже знал, что эта Рахилька (моя двоюродная сестра, старшая дочь демиевского дяди Иосифа) существует, видел ее до этого или был только о ней наслышан. Вбежала радостная молодая женщина в демисезонном пальто цвета кофе с молоком, расцеловала и чем-то меня одарила, очень мне понравилась и... исчезла. Потом я еще долго спрашивал, когда она опять к нам придет, но она больше не пришла.

Смысл этой сцены стал мне понятен много позже. Оказывается, это было прощание — то ли перед отправкой в ссылку, то ли после возвращения из ссылки перед отъез-

дом в Палестину. В ссылку она была отправлена за сионизм, причем, как это мне ни неприятно, судя по всему, за сионизм левый, почти коммунистический. С той только разницей, что коммунизм она собиралась строить не в «случайном» месте, где ее застала история, а вопреки известному анекдоту именно «в своей стране».

Сионистов, даже идейно близких, сажали тогда не из-за государственного антисемитизма — его не было, а просто потому, что сажали всех инакомыслящих. Но «идейно близкие» сионисты (может быть, не только они, но о других я не знаю) пользовались тем преимуществом, что им после некоторой отсидки могли по их просьбе ссылку как меру наказания заменить высылкой за границу. Практика была, с точки зрения Сталина, разумной, ибо левые — народ необидчивый (конечная цель поднимает их на такую высоту в общем, что в любой частности им «плюнь в глаза — скажут: Божья роса») и все равно — пусть с оговорками — будут поддерживать все, объявляющее себя левым. Они и поддерживали СССР и Сталина до самого процесса врачей, Шестидневной войны, а некоторые до сих пор поддерживают — правда, Ленина, а не Сталина (идея для них важнее того, что из нее получается). Хотя разумная «либеральность» Сталина (наказание высылкой из страны) продолжалась только года до тридцать пятого, т.е. до его окончательного воцарения. Дальше уже такая целесообразность никого не интересовала.

Встреча с Рахилькой стала почему-то одним из самых ярких впечатлений раннего детства. Она исчезла, но вместо нее стали приходить письма с интересными марками, на которых было изображено красивое здание с круглым куполом (мечеть Омара). Но постепенно воспоминание о ней стиралось. Сама ее Палестина интересовала меня мало. Другие вещи волновали мою душу.

Но однажды в моем детстве Палестина еще раз проплыла мимо меня. Моя дальняя родственница вышла замуж за сиониста. Было это уже ближе к середине тридцатых, и поэтому на свободе он погулял недолго. И трехлетний срок отсидел полностью без всяких замен. И, естественно, после возвращения был вскоре вновь арестован как однажды сидевший. В семье его очень осуждали за неосторожность. Не знаю, имела ли она место, но думаю, что это безраз-

лично. Посадили его за то, что он уже раз сидел. Я слышал, что после войны он все же вырвался в Израиль (вероятно, через Польшу) и принимал участие в его строительстве. Где он сейчас и жив ли — не знаю. Я его и видел, наверно, раз в жизни и мало им интересовался.

Однако я слишком далеко забежал вперед. Рассказ мой о преодолении слепоты, а я еще и до слепоты не дошел. Я еще слишком мал для нее — для обретения этой слепоты ведь нужен определенный уровень развития и грамотности. И на дворе еще сытые золотые годы НЭПа. Конечно, если можно назвать золотыми годы застоя, как теперь некоторые, пусть и в шутку, но все же делают, то годы НЭПа — сам Бог велел. Хотя и они в своем стремлении напоминать «мирное время» были скорее не золотыми, а позолоченными. Но все же наш небольшой дом, принадлежащий, как я говорил, моему дяде, еще не шибко перенаселен. И наша квартира — тоже.

Конечно, изначально она, судя по всему, была рассчитана (разумеется, в уже упоминавшееся «мирное время») на спокойную и не тесную жизнь одной не очень зажиточной, но и не очень бедной семьи, а жило две (мы и дядя с тетей), что уже само по себе было неким непорядком (никогда, впрочем, мной не сознаваемым). Но это совсем не то, что было потом. К началу войны (1941 года) она была уже набита, как курятник.

Полупуста по позднейшим меркам еще не только наша квартира, но и наш зеленый двор. Деревянная лестница из «калидора» еще широко сходит вниз перпендикулярно дому. Она никому не мешает. Потом ее прижмут к дому — слишком много народу появится во дворе.

А пока во дворе, кроме меня, растут еще два мальчика, моих сверстника. Но мама не хочет, чтоб я с ними играл. Я должен играть только с «хорошими» интеллигентными детьми, а эти мальчишки — уличные. Мне, конечно льстит, что я отношусь к высшей категории «хороших» и «интеллигентных», но ведь играть больше не с кем. А детям — особенно мальчикам, особенно в семьях с одним ребенком — обычно так скучно. Я не очень люблю свое детство именно за это — за скуку и вечные унижительные поиски средств ее преодоления. Начиная с отрочества, лет с двенадцати—тринадцати, мне уже никогда не бывало скучно. Бывало тоск-

ливо, страшно, но не скучно. Даже в эмиграции, которую я воспринимаю (вернее, воспринимал до начала перестройки) как период после жизни. Я вообще не очень уважаю людей, которым скучно. Но в детстве мне было скучно самому. И с мальчиками этими я играл, хотя в глубине души подло считал их уличными. И о том, что сам я мальчик из интеллигентной семьи, при этом не забывал никогда. Хотя нет менее интеллигентного отношения к людям, чем это. Отношение это передавалось мне от матери. Тут наверняка у некоторых может возникнуть соблазн «догадаться», что это обычное проявление «еврейской надменности» по отношению к «гоям». Пусть останятся в своих догадках. Надменность тут, может, и была, но «гоев» не было. Оба эти мальчика были чистокровными евреями. Один был сыном продавца газированной («зельтерской», как говорили в Киеве) воды, а другой сыном того самого Щиглика, о котором уже шла речь. Кстати, эта «надменность» никак не распространялась на деревенских мальчиков, с которыми я играл, когда мы выезжали «на дачу» (чаще не в дачные местности, а в сельские предместья еврейских местечек, подальше от Киева, где продукты были дешевле). А они явно были неинтеллигентными и уж точно не были евреями. Видимо, предполагалось, что они «не испорчены улицей». Вероятно, это так и было. Но такое отношение к детям — пусть городским пусть и впрямь «уличным» (что это значит, я и теперь не знаю) — все равно отвратительно. И чем дальше, тем больше это мне претило.

В основе такого отношения лежала прежде всего гордыня — особенно неприятная в человеке, который хоть раз да ходил на маевку пылать пафосом всеобщего равенства. Впрочем, может быть, воспоминания об этом «пылании» больше всего и поддерживало эту гордыню. Мне и сегодня неприятно о ней вспоминать, но все же за ее нелепыми проявлениями стояло и что-то существенное.

Гордилась она ведь не просто тем, что получила зубо-врачебный диплом. Для нее, как и для многих в тогдашней России, он означал не столько то, что для многих означает сегодня. Не просто достижение «хорошей» (или лучшей из доступных данному индивиду) профессии и устройства в жизни, а — и прежде всего — приобщение к культуре, к образованности вообще, к миру, правда, неопределенных,

но несомненно высоких ценностей. И то, что она кончила экстерном гимназию в Нижнеднепровске (при мне Днепродзержинске, теперь, надеюсь, опять Нижнеднепровске), а потом еще и зубоучебные курсы при университете Св. Владимира в Киеве, для нее было предметом гордости не само по себе, а как доказательство того, что она «всю жизнь стремилась». И вот этот мир, куда она когда-то «так стремилась», она теперь таким нелепым образом и защищала от размыва, стремясь отгородить своего сына от влияния «улицы». Все это отчасти было утрированным проявлением стремления многих оградить свой круг от смешения и растворения, которые несла в себе революция. Это стремление естественно, проявлялось тем острее, чем неотчетливей был сам круг.

У моей матери все это еще проявлялось достаточно невинно. В конце концов она при этом не устраивала революцию во имя равенства, не принадлежала к правящей партии, которая любой ценой бралась это равенство обеспечить. Что, например, сказать тогда об одной знакомой даме, члене партии, «комсомолке двадцатых годов», которая не отдавала свою дочь до пятого класса в общую школу, а нанимала ей частных учителей, чтоб она не соприкасалась с детьми тех, в борьбе за счастье которых она и получила эту привилегированную возможность.

Кстати, мои пути с этими двумя мальчиками сами собой разошлись очень скоро — конечно, по моему сегодняшнему счету времени, а не тогдашнему. Потому что разошлись наши интересы. Один из них сидел в каждом классе по два года, и когда я учился в восьмом классе (стихи, влюбленности, «политические» сомнения и скандалы), он все еще был в четвертом и гонял с одноклассниками по улице, являя собой зрелище довольно жалкое (хотя никаким «уличным» все равно, конечно, не был). Спасло его появление ремесленных училищ. Став «ремесленником», он опять оказался среди сверстников. Дела его пошли на лад. Но пришли немцы, и он вместе со своей матерью был расстрелян в Бабьем Яре, — в качестве, надо полагать, потенциального участника всемирного еврейского заговора и отчасти претендента на мировое господство. История, особенно в XX веке, занимается отнюдь не только теми, кто занимается ею.

Второй мальчик, сын Щиглика, тоже особыми школьными успехами похвастать не мог, тоже не раз оставался на второй год, интересы наши тоже скоро разошлись, но по улицам он не гонял, работал (семья нуждалась, может, поэтому он и не шибко учился), потом, вернувшись с войны, что-то кончил, приобрел мастерство и успешно работал (и сейчас работает, если не ушел на пенсию) на одном из киевских заводов.

Нет, я не поборник равенства. Люди не равны ни по ответственности, ни по уровню постижения и потребности в истине, ни по многим другим параметрам. Эта простая мысль — одно из самых грустных открытий моей жизни, а может быть, и целого отрезка новой истории. Но перед Богом люди все равно равны. Это означает, что их жизни в главном равноценны. И что почти у каждого из них есть свои преимущества перед другими. И что нельзя — даже в душе — третировать детей за недостаточно «аристократическое» происхождение. Правда, плохо и когда взрослые люди лишены чувства реальной иерархии и пафоса дистанции. Но это уже другая тема.

Впрочем, оградить меня от самого разнообразного общения все равно бы не удалось. Слишком уж я рвался к детям, к общению. Да и не таков был век. Вскоре произошло событие, о котором я уже здесь упоминал — под напором «социалистического развития», будучи прижат к стене преследованиями и придирками, мой дядя вынужден был проявить «сознательность» и «добровольно» передать свой дом жилищному кооперативу (жилкопу), практически — государству. Мы оказались объединенными с уже упоминавшимся соседним большим угловым четырехэтажным кирпичным домом — № 97а/37 (97а — по Владимирской, 37 — по Жилианской, называвшейся тогда, как и сейчас, улицей Жадановского). Перегородку между дворами вместе с нашими сараями сломали, и образовался большой двор со множеством самой разной детворы, и тут уж и моей маме было не разобраться, кто «хороший», а кто нет.

При всем моем отрицании такого отношения к людям, что-то от него засело во мне надолго. Хоть я и общался со всеми детьми, но дети из интеллигентных семей (или ошибочно казавшихся мне таковыми) имели в моих глазах некоторое преимущество, вызывали больший интерес. Я чего-

то от них ждал. Как и от себя самого. Потом это превратилось в поиски все более и более подлинной интеллигентности, более точного соответствия человека тому, за что он себя принимает и чем хочет казаться (себе самому тоже). И сам я при этом — льщу себя надеждой — становился подлинней и начинал ценить человеческую подлинность как таковую. Конечно, не только в интеллигентах, а во всех хороших людях, каких я на своем пути встречал немало в самых разных слоях.

Что еще рассказать о своем детстве? Ведь до этого объединения дворов я прожил уже целую эпоху. Но внешних впечатлений было не так уж и много. О некоторых я рассказал. О том, как изменялись трамваи, например.

Но дело, конечно, не в трамваях. За эти годы произошло изменение всей жизни, и это, конечно, не могло не сказаться на жизни нашей, вполне серединой по своему положению семьи. Конечно, НЭПа я не осознавал и его конца тоже не заметил. Себя до начала тридцатых я вообще помню только урывками, отдельные впечатления не связываются в цельную картину. Однако помню, как жил я сначала в одном мире, где меня пичкали всякой «полезной для ребенка» пищей, от которой я отбрыкивался, как мог, а потом постепенно оказался в другом, более бедном и трудном. Но это уже оценки в воспоминаниях более позднего, взрослого времени, тогда я такого сравнения, естественно, не делал.

Съезд из одной эпохи в другую дался мне вполне безболезненно, ведь ребенок все воспринимает как данность. А потом эпоха лишений была уже естественной средой обитания, они касались всех вокруг, даже самых привилегированных, и сравнивать можно было уже только степень лишений в разные периоды: в годы коллективизации, в предвоенные, в военные или послевоенные годы. Иногда бывал дефицитным даже хлеб, иногда штаны, иногда ботинки, всегда жилье, иногда со «снабжением» (заменившим нормальную торговлю) было трудно и в больших городах, всегда в провинции. На Западе тоже есть дефицитный «товар», но только один — деньги. Деньги же средний человек может заработать, а потом от него уже зависит, как их тратить, в каком порядке обзаводиться имуществом и т.д. В общем, как планировать расходы. Невозможность этого сама по себе неестественно усложняет и удорожает жизнь.

В сущности, жизни без недостатков и дефицита я в СССР не знал. А ведь мне давно за шестьдесят, почти под семьдесят, я сегодня имею печальную честь представлять старшее поколение людей нашей страны. Это значит, что все нынешнее советское население всю свою жизнь жило в атмосфере недостатков, когда предметы первой необходимости часто не просто покупаются, а «достаются» сложным, запрещенным и, строго говоря, не особенно нравственным путем. Или являются засекреченным атрибутом привилегии, что еще менее нравственно.

Эта жизнь вошла в плоть, кровь и сознание. Когда мы ходили по Вене, моя жена во все глаза смотрела на витрины мясных лавок. Такого мяса она до этого не видела никогда. Мало того, что оно было вообще без костей, оно еще было таким упитанным, таким первосортным, как у нас никогда не бывает. Да и где она могла видеть такое мясо, если родилась в 1933 году? Спасибо партии и правительству, что выжила, чего уж тут еще требовать! «А кто у нас ест такое мясо?» — спрашивала она в недоумении.

Кто? Однажды я видел такое мясо. Его принесла из «Березки» моим знакомым иностранная гостья, которая у них жила. Очень была довольна, говорила, что в России мясо дешевле, чем на Западе. А теперь и на «Березку» не хватает. Хватает ли на начальство — не знаю. Во всяком случае не на все. Так что в принципе этого мяса никто не ест. Его просто нет. И всю нашу жизнь — не было. Началось это с самого «военного коммунизма», но все-таки был перерыв с начала и до конца НЭПа, а с начала тридцатых никаких перерывов уже не было.

Как мы жили тогда?

Восстанавливаю картину. Мне лет шесть—семь. Напряжение чувствуется, много разговоров о продуктах, ощущается, хотя и не осознается, бедность (видимо, есть все-таки смутные воспоминания о недавних, нэповских годах), но наша семья не голодает. А я тем более. Многое даже выглядит интересней. Откуда-то приносят подсолнечный жмых («макуха»), убеждают себя и других, что это очень полезно и хорошо. А меня и убеждать не надо — мне и так он нравится гораздо больше, чем мамина «полезная еда». И потом никогда в нашем доме не бывало столько сладостей, как иногда теперь, когда отец, выкупив «паек», может принес-

ти домой сразу огромный, двухкилограммовый кулек пряников. Говорят, они соевые, но это меня не интересует. Они сладкие, а мне только этого и надо — гурманством я тогда не отличался.

Иногда мы ходим с отцом в торгсин («Березку» первой пятилетки); чтоб купить продукты, сдаем на вес оставшиеся с «раньшего времени» серебряные ложечки и прочую мелочь. А иногда мы получаем из-за границы переводы от родственников и у нас появляется рублей пять в «бонах», а это целое состояние. Я уже умею читать, по этой причине сую нос во все прејскуранты и знаю, что цены в торгсине фантастически низкие. И все есть: ветчина, колбасы. Но мы всегда покупаем вещи не очень для меня привлекательные: немного масла, немного крупы. Нам не до жиру. Я не задаюсь вопросом, почему только в этом магазине все есть и такие цены. Я уже тоже знаю, что нам, нашей стране, нужно золото, чтоб покупать станки для строительства социализма. Построим — тогда всем станет очень хорошо жить. Это я читал во всяких своих «Мурзилках» и детских книжках, где так интересно рассказывается о страданиях и борьбе трудящихся в странах капитала. И я горжусь тем, что живу в самой счастливой стране, где трудящимся хорошо.

А вокруг на земле, на тротуаре лежат люди. Некоторые просят хлеба, некоторые уже ничего не просят. Лежат. Я воспитанный городской мальчик и знаю, что на тротуарах лежать некультурно, могут микробы завестись, ибо по тротуарам ходят ногами, и они грязные. А раз эти люди там лежат, значит, они некультурные и невоспитанные — в общем, не такие, как я. Я очень любил читать детские книжки — особенно о дружных ребятах — пионерах, которые вместе весело собирают утиль для великих строек, борются с недостатками друг друга и вообще живут какой-то насыщенной, сознательной и увлекательной жизнью. А некоторые из них еще храбро борются с коварным, жестоким, глупым и жадным врагом — кулаками. А, судя по всему, эти лежащие на тротуарах люди и есть кулаки или их помощники. Правда, на страшных и жестоких они не похожи, и у них есть дети. Это нарушало картину: в пионерских книжках о кулацких детях ничего не говорилось.

В принципе, я так же, как и взрослые, искал способов отгородиться от этого несчастья (я-то ведь не голодал, и

мне надо было жить). Некоторые из взрослых утверждают, что все эти люди потому и валяются, что работать не хотят, но моего отца это объяснение почему-то не устраивает. «Я понимаю, идея красивая, — бормочет он, — но ведь люди на улицах умирают». В его «красивая» нет и тени иронии. Это просто буквальный перевод с идиш, куда перешло из немецкого. «Красивая» в этом контексте означает «прекрасная». Его почему-то это очень волнует, что люди умирают. Все вокруг от этих впечатлений отгораживаются. Особенно успешно идеалисты, которых так много развелось во всем мире. Ох уж эти идеалисты!

Английский публицист Малькольм Магеридж, в прошлом левый социалист и поклонник «советского эксперимента», но потом, после близкого знакомства с ним (был в годы первой пятилетки московским корреспондентом лейбористской газеты), ставший его убежденным противником, вспоминает о таком знаменательном эпизоде начала тридцатых. Поезд, где был вагон с группой английских туристов, включавшей и известную английскую социалистку отнюдь не крайнего толка Беатриссу Вебб и самого Магериджа, на какой-то большой станции оказался рядом с эшелонном раскулаченных. В зарешеченных окошках теплушек появились изможденные лица несчастных баб и худенькие ручки детей. И те, и другие молили о хлебе. Английские туристы были поражены, многие, естественно, возмущены. Но больше всех возмущалась умеренная социалистка Вебб. Но чем была возмущена и даже оскорблена ее горячая умеренность? Головоутием и тупостью железнодорожных властей, поставивших этот эшелон рядом с вагоном неподготовленных(!) английских туристов, которые из-за этого (по-видимому, мелкого в представлении г-жи Вебб) эпизода могли составить себе неправильное представление о «великих переменах», совершавшихся тогда в СССР, да и о социализме вообще.

Судя по всему, сама г-жа Вебб к тому времени была уже достаточно подготовлена для приятия подобных впечатлений, и на нее саму подобный эпизод повлиять не мог. И если она поделилась потом этим своим возмущением с кем-либо из «вождей» (а почему бы ей этого и не сделать, раз она обнаружила такое вопиющее безобразие?), то ее возмущение наверняка встретило сочувствие и понимание, и

в результате начальник этой станции (хоть нигде на земле в обязанности начальника станции не входит учет вида, открывающегося из окон вагона с туристами) поплатился за ее энтузиазм головой. Поражает гармоническое усвоение этой «европейкой» азиатской, казалось бы, логики большевизма и сталинского аппарата. Нет, видимо, таких жертв, каких определенного сорта идеалисты не принесли бы на алтарь сохранения и торжества своего идеализма.

А жертвы эти повсюду меня окружали, повсюду меня окружала смерть, хоть я и не знал, что это такое. Но однажды я с ней столкнулся вплотную. Это произошло при следующих бытовых обстоятельствах...

В нашу дверь постучался дядя, хозяин дома, и попросил отца срочно помочь ему. В «подъезде» (так в довоенном Киеве называли подворотни) нашего дома расположилась какая-то нищая женщина, может быть, даже больная, а это строго запрещено. Милиция за это строго преследует — особенно хозяев собственных домов. Так не может ли отец, как человек более молодой и лучше говорящий по-русски, сойти и сказать этой женщине, что здесь лежать нельзя, чтоб она уходила. Отцу неудобно было отказать своему родственнику, и он согласился. Я увязался за отцом. У ворот нашего дома уже собралась небольшая толпа. А с другой стороны ворот, в подворотне, прямо на бульжнике лежала, скрючившись, опухшая и ко всему безучастная женщина неопределенного возраста в грязных лохмотьях. Отец дрогнувшим голосом сказал, что здесь лежать нельзя и надо уходить. Она не реагировала. Кто-то в толпе сказал, что она, видимо, еврейка и по-русски не понимает (в те времена далеко не все евреи говорили по-русски). Отец перешел на идиш. Она открыла глаза, но тут же в бессилье их закрыла опять. Памятуя о суровой власти рабоче-крестьянской милиции, отец все же попытался растормошить эту женщину, чтоб она ушла. Так власть приобщала к своему палачеству и людей, не имеющих к нему никакой склонности, а к ней никакого отношения.

— Да вы что, не видите, что она умирает? — раздался чей-то возмущенный голос. Отец опешил! Через несколько секунд женщина вдруг дернулась и затихла. Человека не стало. В таком обличье предстала передо мной впервые смерть.

Дальше было еще страшней. Позвонили в милицию, и довольно скоро — я видел это в окно — перед домом остановился грузовик, накрытый брезентом. Выскочили два молодца, ловким привычным движением отвернули брезент, и глазам открылся слой трупов, почти скелетов. Стало ясно, что под ним перекрытый брезентом второй, третий — несколько слоев. Труп из нашего подъезда вынесли, быстро забросили наверх, накрыли брезентом, сели в кабину и уехали. Будничность этой картины поразила меня. Теперь я знал уже, что это за грузовики, аккуратно накрытые брезентом, — я их видел и раньше, но не думал о них — шныряют по городу. Так предстало передо мной впервые то страшное, тлетворное отношение к смерти, а вернее, к жизни человека, которое всегда господствовало в советском бытии, но редко проявляло себя с такой откровенностью.

Приятно было бы иметь сегодня право сказать, что с тех пор я возненавидел этот враждебный человеку строй, понял его звериную природу. Но такого права у меня нет, ибо не возненавидел и не понял. Наоборот, подсознательно лишний раз убедился, что такое случается только с какими-то другими, в чем-то не такими, как надо, людьми, а не с такими, как я. Ведь в моих книжках сознательные пионеры, живущие повсюду в нашей стране (но почему-то не в нашем и не в соседних дворах — так мне не повезло), продолжали трубить в горны, дружно собирать утильсырье и металлолом в помощь партии, бороться с кулаками и вообще жить очень интересной и значительной жизнью.

Была (где-то рядом, хоть я ее не видел) настоящая жизнь, и какая-то неопрятная женщина из подворотни и грузовик, который ее увез, не могли всего этого затмить и перевесить. Проще было поверить, что это необходимые отходы этой «большой» жизни, на что не следовало обращать внимания. Конечно, все это формулы более позднего времени, но в чувстве именно так причудливо смешалось самоощущение «мальчика из приличной семьи» и поклонника пионерской романтики. С тех пор запал в мою душу и жил в ней, во многом руководя мной, — подспудный, неосознанный страх попасть в категорию этих «других», с которыми можно так обращаться, которых не жалко. И продолжалось это до моего полного внутреннего освобождения от большевизма, до 1957 года.

То, что женщина, умершая в нашей подворотне, оказалась еврейкой, — чистая случайность, может быть, даже исключение. Но то, что я, мальчик, воспитывавшийся в тогда еще довольно замкнутой и традиционной еврейской среде, никуда еще за ее пределы не выходивший, с легкостью отнес и ее к категории этих «других, которых не жалко», которых жалеть стыдно, — факт вполне типичный и знаменательный. Это забвение ближнего во имя сохранения цельности мироощущения и было самым тяжким грехом жизни нескольких поколений нашей интеллигенции любого социального и национального происхождения — нашим, выражаясь словами Генриха Белля, «причастием буйволу». Отец мой — в отличие от меня в юности и г-жи Вебб в зрелости — этого «причастия» не принимал никогда, какой бы красивой ни выглядела в его глазах идея.

Эта противоестественная полоса отчуждения вокруг страдания, создаваемая сознательно и не свойственная ни русскому, ни какому бы то ни было другому духу, — одно из страшнейших достижений большевизма. Потом оно обратилось своим острием против самих его изобретателей, но вины это с них не сняло.

Сегодня коллективизацию и раскулачивание поносят многие, почти все. Она до сих пор еще тяжело сказывается на судьбе всей страны. Она — грех. Но грех не только тех, кто в этом прямо участвовал. То, что видел я, в той или иной степени видели все мои сверстники, не говоря уже о людях чуть и не чуть старше. Видели — и жили потом как ни в чем не бывало. Причем, даже не всегда нечестно. Некоторые, даже отстаивая — пусть и с ортодоксальных позиций — правду и справедливость, сами попадали под топор — ортодоксальность не спасала от расправы. Но коллективизация как бы из их памяти выпала и мимо их совести прошла. До времени, конечно. До очень тогда еще неблизкого времени.

Драматург Александр Константинович Гладков, известный на Западе своими воспоминаниями о Пастернаке, недоумевал потом, как он мог спокойно каждый день проходить мимо площади Курского вокзала, спеша на интересные диспуты и спектакли, когда, заполнив всю эту площадь, валялись и умирали на ней украинские крестьяне из Запорожской и Днепропетровской областей (с женами и

детьми), тщетно пытавшиеся найти спасение в столице. А.К. был добрейшим и порядочнейшим человеком. Однако — проходил. Не до того было. А может, подсознательно чувствовал, что остановиться и задуматься в тот момент — значит обречь и самого себя на такое же безличное исчезновение. В русской литературе тогда все, кроме далекого от народа Мандельштама, прошли мимо этой трагедии. Разве еще в романе А.Малышкина «Люди из захолустья» проглянула, хотя автор и пытался ее оправдать. Больше никто... А уж западным энтузиастам, приехавшим к нам, и подавно было не до того — им надо было успеть поскорей восхититься грандиозностью перемен и надыхаться озоном творчества!

«Мы с вами, товарищи!» — с таким возгласом подходили они к нашим представителям в западных городах. Правда, они не верили буржуазной прессе, тем более ее «фантастическим» сообщениям о том, что на улицах и в подворотнях советских городов люди мрут, как мухи. Мы ведь в это тоже как бы не верили, хоть сами видели. Ведь это действительно было неправдоподобно — мы-то ведь жили. Помню, как я где-то прочел отрывок из романа К.А.Федина, где безработного нанимают стоять у булочной с плакатом, призывающим бойкотировать этот магазин потому, что он торгует продуктами, «отнятыми у бедных русских крошек». Выглядело очень иронично, но именно этим — отнятым у русских крошек — здесь и торговали, если торговали советскими продуктами.

И, собственно, это совпадало с пропагандой — все отдаем, чтоб купить станки. Но иронией по отношению к этому проникался и я, хоть что-то все же меня царапнуло — запомнил. Но зачем понадобилась Федину эта ирония? Он ведь мог бы вполне — времена еще позволяли это — обойтись тогда и без нее и без этого эпизода. Не обошелся. Не придавал значения. Может, просто не знал, что это причастие буйволу. Но в чем-то тут проявилось общее отношение. Получалось, что женщина, которую швырнули на верх грузовика, вообще никакого значения не имела. Как будто она не родилась когда-то на радость родителям, как будто не чувствовала, не думала, не надеялась. Однако будущее выяснило, что значение она все-таки имела. Оказалось швырять так можно кого угодно. Только покажи, что это можно, а желающие найдутся.

«И это ж надо было убедить людей, — сетовал тот же А. К. Гладков, — что торговать — стыдно, а расстреливать — не стыдно». Однако убедили. И в этом убеждении мы жили довольно долго.

А. И. Солженицын, кажется, в «ГУЛАГе», сказал, что во время коллективизации русская интеллигенция перестала быть интеллигенцией. Вероятно, эти слова с полным правом можно отнести и к интеллигенции мировой. А иногда мне кажется, что дело еще хуже — что в какой-то степени все вообще тогда перестало быть самим собой: народ — народом, цивилизация — цивилизацией, а человечество — человечеством. Это была первая в новой истории (если не считать геноцида армян в Турции) хотя и более сумасбродная по выбору объекта, чем гитлеровская, но в том же духе — попытка «окончательного решения» вопроса о том, кому существовать, кому нет. Она открыла путь, и по нему следуют многие.

Но это все осозналось потом, а пока рассказ о моей жизни дошел только до детсадовского возраста. Впрочем, в детском саду я пробыл недолго.

Что там со мной происходило? О том, как я там просветился насчет Бога, я уже рассказал. Кроме того, я там полюбил хоровое пение боевых революционных песен. Мне уже тогда это нравилось. Пел я со всеми, вдохновляясь и ничего не понимая. Особенно мне нравилась песня, которая должна была звучать так:

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперед продвигались отряды
Спартаконцев, смелых бойцов.

Голос мой тонул в общем хоре, что для него, как я потом понял, было наилучшим выходом. Но на самом деле пел я следующее:

Мы шли под грохотка наналы,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперед продвигались тряды
Спарта кавцосмелых бойцов.

Смысла этих странных слов: «грохотка», «нанала», «тряды», «спарта» и особенно «кавцосмелых» — я, естественно, не понимал. Не поручусь, что и слова «канонада» или

«спартаковцы», если б я их правильно расслышал, были бы мне тогда более понятны. Но мне нравилось. Прежде всего — что смерти смотрели в лицо и что речь тут шла о смелых бойцах. Правда, не просто смелых, а как-то по-особому — «кавцо»-смелых. Но это уже были частности. Особенно, когда я понял, что не «тряды», а «отряды», а я знал, что пионеры организованы в отряды. Следовательно, речь шла о пионерах, в которых я и без того давно мечтал состоять. Получалось, что в песне говорится о том, как отряд юных пионеров один на один сражался с мировой буржуазией. А дальше речь шла о барабанщике, героически павшем в этом бою. Его даже в отряде юных пионеров считали юным. Значит, он был еще ближе мне по возрасту — не иначе как октябренок. Как же это могло мне не нравиться?

А касательно всего непонятого, то с меня вполне хватало того, что это было понятно всем остальным — в этом я не сомневался. Вероятно, эти другие в число «остальных», которым, в отличие от них, все понятно, включали и меня. Я ведь тоже пел вполне вдохновенно.

Думаю, что многие современные «борцы за мир», леваки и террористы преодолевают неизбежные логические неувязки своего мировоззрения точно таким же образом. С той только разницей, что детский конформизм — естественный и неизбежный способ постижения детьми мира и адаптации в нем, и не они отвечают за состояние мира, в котором адаптируются. А конформизм великовозрастный, да еще интеллектуальный — вещь гораздо менее естественная и совсем не безобидная. Особенно, если он приобретает недетскую форму проявления, — как в террористических группах.

Но в детском саду (их было два или три, но все вместе недолго и слились в один) я приживался плохо. Этим я ничего не хочу сказать плохого о детских садах или хорошего о себе самом. Дескать, тонкие натуры плохо приживаются в грубых коллективах, да еще по-советски идеологизированных. Нет, дело было не в этом. Как видел читатель, идеологизированность мне как раз нравилась. В этом смысле детский сад сделал свое дело. Барабан этого юного барабанщика еще долго находил отклик в моей душе и отражался на отнюдь не детских размышлениях. Не нравилось мне совсем не это, а режим дня — особенно принудительный сон после обеда. То же самое не нравилось мне и в

пионерских лагерях, и санаториях, но там еще вдобавок — что уже совсем было невоносимо! — полагалось вечерами ложиться спать засветло, когда ни одному нормальному человеку «на воле» это и в голову бы не пришло. Может, с медицинской точки зрения это и было правильно, но уж очень унизительно. Я в таких здравницах нигде больше недели высидеть не мог, начинал тосковать «по маме», отчего и считался «маменькиным сыночком». Но я им не был и тосковал, как теперь понимаю, не по маме, а по воле. Так и получилось, что главные мои дошкольные впечатления не детсадовские, а домашние.

Прежде всего, конечно, мать, ее разговоры об уже упоминавшейся «интересной молодости», вечных «стремлениях», учебе и т.д. Еще она любила декламировать отдельные строки из когда-то читанных стихов, особенно почему-то начало апухтинского «Сумасшедшего». Я как-то мало в жизни интересовался Апухтиным и только недавно узнал, откуда эти строки. Еще я от нее узнал, что жизнь должна быть не «пустой», а «идейной». Все это, конечно, во многом объяснялось ее общей экзальтированностью. Как и постоянная борьба с микробами. Тогда ведь далеко не все еще знали про то, что есть на свете микробы. Это знание и озабоченность — тоже часть той «культурности», которой она гордилась. В доме полный беспорядок, все выглядит неаккуратно, даже то, что застирано-перестирано. И какой-то абстрактный — идейный — культ чистоты.

Мать всю жизнь была убеждена в своем культурном превосходстве над отцом. Между тем это превосходство было не культурным, а цензовым. Она кончила зубоврачебные курсы, а к началу тридцатых и стоматологический факультет или институт, а отец — до пятидесяти лет ничего. Типичный самоучка. Но он всем на свете интересовался, хотел учиться, читал, думал. И отнюдь не из «культурности» — просто на самом деле хотелось ему все понять и во всем разобраться.

Не помню, сколько мне было лет, когда отец стал подолгу работать дома — вязать носки на специальной машинке. Он все время крутил ее ручку (машинка была с ручным приводом), что-то проделывал с нитками и спицами и вел со мной разного рода беседы, рассказывал. Особенно много о революции. Мне она казалась чем-то очень дале-

ким, а для него только пятнадцать лет прошло (я уже в эмиграции семнадцать). Больше всего ему нравилась Февральская бескровная, принесящая свободу всем и равноправие евреям. Рассказывал он о Гражданской войне и о Троцком. От него я узнал, что Троцкий был хорошим оратором, организатором Красной Армии, но теперь выслан, потому что у него другие взгляды. Это меня очень огорчило. Как же так — ведь настоящий революционер, в главном за «нас», и вдруг такая незадача. Я высказывал мудрую надежду, что он исправится и вернется.

Отец обычно разговаривал со мной как со взрослым, пытаясь серьезно, объективно разобраться во всем, что знал и помнил, но тут он промолчал. Не из осторожности — разговор по тем временам не был опасным: Троцкий уже считался оппортунистом, но еще не врагом, не шпионом и предателем. Просто попробуй объясни такое ребенку. Да и вообще откуда ему было знать кремлевскую кухню? Но чувствовалось, что такой идиллический исход внутрипартийной свары ему не кажется реальным. Теперь я понимаю, что судьба Троцкого его вообще мало интересовала. Свою фразу о «красивой» идее, от которой люди на улицах умирают, он высказал тоже здесь, сидя за этой машинкой. Из большевиков он отдавал предпочтение скорее Бухарину, поскольку тот был ближе к здравому смыслу. Он подписывался на «Известия», которые редактировал Бухарин, и считал эту газету самой культурной. Я же про Бухарина ничего не знал, а культурностью и вовсе не интересовался — в пролетарских детских журналах она не котировалась (другое дело — положительные знания, в которых сила). Но — западало. Западало и запало. И с тех пор плакатное изображение истории меня раздражало и отталкивало. Всегда, даже в краткий период моего сталинизма, предохранило от растворения в идиотизме сталинщины. Должен сказать, что умению быть объективным, стремиться понять другую сторону, просто других людей, без которого не существует ни художника, ни личности вообще, я научился — пусть не сразу и не только — именно у отца.

Вероятно, и материнская экзальтация сказала на мне не только плохо. Представление о том, что жизнь не должна ограничиваться прожитием, было усвоено мной с детства именно благодаря матери. Правда, к самой экзальтации у

меня выработалась при этом стойкая идиосинкразия. Стоит мне только ее почувствовать в разговоре, как мне придется подавлять в себе раздражение. Я понимаю, что вовсе не всегда это котурны, что иногда это только неудачная форма проявления, манера, за которой может стоять и настоящая боль. Потому я свое раздражение и подавляю, но вовсе не чувствовать его я не могу — уж слишком большая доза экзальтации была мне привита в детстве

Но экзальтация вообще была в духе времени. Она насаждалась самой государственной пропагандой. Она превратилась в норму приличия, в единственно приемлемую для тоталитарного государства форму общения с ним. И генерал Макашов, открыто сетовавший на Горбачева за то, что «мы без боя отдали всю Восточную Европу», проявлял не что иное, как привычку к экзальтации, расчет на ее воздействие. И сам, вероятно, проникнут безграничной способностью к ней, при ее помощи сакрализуя — и в собственных глазах тоже — любые свои интересы и амбиции.

Правда, теперь я отвергаю и саму «идейность», а не только нелепые формы ее проявления. Мне она кажется более примитивной, своекорыстной и опасной для других формой одухотворения собственной жизни. Духовное наполнение жизни надо находить не в ошалелом стремлении к некой конечной (и уже потому ложной) общественной цели (к земному раю), а в чем-то другом, в одухотворении повседневного. Короче, я вижу в духовных концентратах, которыми больше столетия питается мировая интеллигенция, не особую высоту, не подлинное приобщение к Духу, а, скорее, соблазн. Этому обычно противопоставляют крестьянский идеал (ешь хлеб в поте лица и помни Бога), но боюсь, что при всей мудрости этого образа жизни, при том, что он должен всегда присутствовать в сознании, он не исчерпывает всех потребностей и возможностей человечества. У меня нет исчерпывающего ответа на вопрос, как жить. Ответ на него, видимо, каждым находится в процессе жизни. Я просто говорю о системе ценностей, очень поколебленной стремительностью культурного развития нашего века.

Сказалась эта стремительность, отрывающая иногда детей от отцов (отнюдь не в плане «молодежной прозы» шестидесятых годов), и на жизни нашей семьи, она тяжело прошла и через мою жизнь.

Моя мать была очень трудным человеком, отец — нет. Но оба они были хорошими и порядочными людьми. Я уже не говорю об их отношении ко мне. Они всегда выручали меня в трудные дни, а таких в моей жизни было довольно много. Очень долго они безропотно поддерживали меня и материально — на ноги я встал довольно поздно, после смерти Сталина, лет в тридцать или чуть позже, когда мне стали давать переводы. Но близости не было. Я ушел от них гораздо дальше, чем они от своих родителей, хотя переворот, совершенный ими в своей жизни, был гораздо более кардинальным. Да я вообще не совершал переворотов, просто жил и рос. И если я даже и вправду ушел вперед (а не только мне это кажется в хорошую минуту), то по пути, проложенному ими.

Сегодня я мог бы себя спросить: а стоил ли мой путь таких жертв? Ведь все равно я у разбитого корыта. Под разбитым корытом я подразумеваю не свое положение в эмиграции, а сам факт эмиграции. То, что моя жизнь привела меня к этой форме капитуляции. И вообще то, что мне выпало жить в обстановке культурного кризиса. Это ведь не академический термин, а реальность, имеющая отношение не только к «культурной области». Это такое состояние человеческого сообщества, когда люди не знают, чем жить и чем дорожить, а не только, допустим, как писать. Когда то самое «индивидуальное начало», которое мы привыкли противопоставлять тоталитаризму, ошалев от скуки и потери критериев, став своеволием, само энергично прокладывает путь тоталитаризму — как коммунистическому, так и нацистскому. Правда, нацистский еще полностью не возродился. В этой ситуации все, к чему я пришел в жизни, за что «страдал» — уважение к личности, к ее свободе, к выражающей форме в искусстве, — ставится под сомнение.

Что я могу противопоставить напору пустого самоутверждения? Только здравый смысл, совесть, зоркость, ответственность. И, конечно, любовь, и, конечно, Бога. Но ведь и Его имя люди мастерски научились использовать для освящения своих ближайших интересов и амбиций. В этих условиях подобие внутренней жизни гораздо удобней, чем ее подлинность. А этому модернистские развлечения и культ эмоций (подсознательно — взамен чувств), с которыми я всегда боролся, соответствуют больше, чем подлинное

творчество, основанное на глубинном личностном чувстве, на выявленном отношении к бытию. Кроме того, модернистские блестящие респектабельно отвлекают от сознания, что движемся к пропасти, или от того, что это страшно.

В сущности, остается только одно — все время напоминать себе и другим, что дважды два — четыре. Вроде негусто. А сколько сил, здоровья, надежд вложено, сколько проступков совершено, чтоб двигаться по этому пути! Так стоило ли?

Но выбирать поздно. Тем более выбрали до меня — все те, кто ушел из патриархальности. Разной, но одинаково не могущей почти никого удержать. Другим я уже все равно не стану. Да и не хочу — неинтересно, хоть, может, это и грех. Кто знает, может, греховно и само желание жить интересно? Но надеюсь, что не всегда. Что если это «интересное» оправдано высоким смыслом, если при этом быть осторожным по отношению к людям, то оно все же не грех.

И чем бы ни кончилась моя жизнь, она была хоть и тяжела, но наполнена. Многим людям я был нужен и интересен — я сам, мои стихи и мои статьи. Я был счастлив. Были у меня и грехи. От некоторых мне тошно и сейчас, некоторых, возможно, еще не осознал, но, кто из нас без греха? Возможно, мне вообще лучше было бы быть другим человеком, но у меня нет такой возможности, да я и не представляю того другого, каким бы хотел быть. Пусть уж остается как есть.

А время повествования между тем движется к школе. Читать я выучился лет в пять—шесть сам дома. Из детского сада меня скоро забрали — как видел читатель, вряд ли против моей воли — и я потом ходил в «группу» с «фребеличкой», с «немкой» — по-разному это тогда называлось.

Немка эта была вовсе не немка, а вполне русская женщина, из бывших, и звали ее Елена Владимировна. Не только советский детский сад, но и школу она ругала на все корки, отрицая их с порога. Отчасти это было справедливо. Тогда еще не кончилась эпоха всяких дальтон-планов и — того пуще — бригадных методов, и прочих идиотских коллективистских экспериментов над детьми. Но отчасти и несправедливо. Тогда уже начался возврат к старой, гимназической системе. Отмена этих экспериментов, на мой взгляд — единственное хорошее для страны, что сделал в жизни Сталин, — во имя чего бы он это ни делал.

Другое дело, что это не совсем гармонично сочеталось с коммунистической утопией. Вроде бы беда невелика, Но поскольку от системы, и созданной для воплощения утопии, при этом не отказывались, то это не только оскорбляло иногда молодые умы (что можно было бы пережить), но и погружало все вокруг в ту духовную и интеллектуальную прострацию, которую несла в себе начинающаяся сталинщина. Это было ее началом — побочным положительным последствиям более, чем отрицательного, разрушительного в целом явления.

Разумеется, обеспечить гимназический уровень образования при таком размахе и массовости — пусть это пока, в основном, касалось только городов — было уже невозможно, но все же тогда было еще много учителей «с раньшего времени», которые могли подхватить это начинание. Во всяком случае во всех классах, где я учился, меня — учили. Были учителя хорошие, были похуже, но малограмотных не было (теперь их много). В эвакуации я людей недостаточно образованных встречал, но они не превалировали. Да и не очень образованные жаждали знаний. Сегодня положение хуже. Пединституты (в том числе, и переделанные в университеты) подготовили (при мне) и, кажется, готовят и сейчас малограмотных учителей индустриальным способом. Разумеется, не только их — в России появляется и много хороших учителей, слишком развиты теперь коммуникации, — но и плохих тоже. Особенно по гуманитарным дисциплинам. По точным — до какого-то уровня выручает природная сообразительность, а в гуманитарии она не может заменить чтения книг и интереса к этому чтению. Впрочем, это процесс мировой, но у нас он был направляет сверху и стимулировался тем, что отсутствие интереса к чтению чаще сочеталось с идеологической благонадежностью.

Конечно, и инженеров плохих много готовится. Но ведь плохой инженер плох только тем, что за него работают другие, а плохой учитель плодит себе подобных.

Тем не менее, в досталь поблуждав по белу свету, могу с уверенностью утверждать, что все же советская (т.е. российская, европейская) система образования в СССР и теперь была бы неплоха, если б она еще недавно не профанировалась столь часто «борьбой за успеваемость», «соревнованием» и прочей чепухой, заставляющей учителя выславлять завышенные отметки. А тогда — и подавно. Но это

уже беды не только системы образования, а советской системы целиком. И все-таки в России сегодня образованных людей не меньше, а больше, чем раньше. Об этом еще будет случай говорить.

Но Елена Владимировна — фамилии ее я по малолетству не знал — не нуждалась в таких анализах. Просто, справедливо оценив советскую власть как хамскую, она из этого и выводила все свои умозаключения. Но в жизни, как известно, не все так логично вытекает одно из другого, и добрая женщина была не во всем права. Во всяком случае, несмотря на большое количество фиктивно образованных людей (что опасно в социальном смысле), мы теперь далеко не последняя по образованности страна (в мире вообще с этим не густо).

Но детвору она любила и немецкому языку обучала играючи, весело и увлекательно. В школе у меня потом был французский. К немецкому я вернулся только в эвакуации, в девятом классе (проходили там, правда, курс седьмого), и мне вполне хватало знаний, полученных от Елены Владимировны. Ведь тогда, до школы, я вполне уже умел слушать и понимать немецкие детские сказки про злых и добрых разбойников. Правда, в Вене, с которой началась моя эмиграция, моего немецкого хватало только на то, чтоб задавать вопросы и быть понятым, на понимание ответов его уже не хватало. Но тут уже виной время, годы, отвычка, но не Елена Владимировна.

Вряд ли она и раньше принадлежала к интеллектуальным верхам, но интеллигентность ее была вполне добротной. И это прикосновение в детстве через нее к тому почти исчезнувшему миру, который она, потеряв его из виду, все же в себе несла, — безусловно, было благотворно. Много всяких разных людей проживало еще тогда в многонациональном Киеве. Быть бы взрослей — запомнить бы. Но все-таки свое время, всякой памяти тоже.

Как и большинство моих сверстников, 1 сентября 1933 года я тоже пошел в первый класс. Вернее, в первую группу — тогда это еще так называлось. Слово «класс», отмененное как принадлежность старой царской гимназии, было восстановлено в правах год или два спустя.

Это был мой первый выход из семьи в судьбоносную эпоху, судьба которой, тем не менее, уже была решена задолго до этого дня.

Начальные классы — школа и двор

Мои первые школьные годы совпали с началом сталинской эпохи. На моих глазах Сталин, если судить по смене газетных титулов, превратился из верного ученика Ленина в отца народов, гения всех времен, корифея всех наук и вождя всего прогрессивного человечества. А потом столь же централизованным порядком он стал понижаться в чине — превратился только в выдающегося марксиста, причем допускавшего серьезные, даже мешавшие «нашему делу» (но для марксиста, по-видимому, все же простительные) ошибки, как то: безграничное тиранство, низкое коварство, brutальную жестокость и массовое душегубство. Но это «понижение» произошло уже в другую эпоху. Теперь мне даже странно, что вся фантастика сталинщины продолжалась (если не считать рубежной, еще более фантастичной и страшной коллективизации) меньше, чем двадцать лет. Это был очень долгий срок. Я пережил Сталина на тридцать восемь лет, но все равно мне кажется, что эти двадцать лет были длинней. Так же как непомерно длинными казались и кажутся годы гитлеризма, а их и всего-то было двенадцать. Наверное, потому, что каждый день этих лет нес особую тяжесть, тяжесть осознанного или неосознанного стыда, от которого не спасал никакой восторг, никакая «преданность делу».

Впрочем, когда я переступил порог школы, Сталин рекомендовался еще только первым среди равных, а это еще не требовало от нормальных людей большого насилия над здравым смыслом. Мы ведь и о нем, и об остальных «равных», как и об отношениях между ними, имели смутное представление. Еще ведь и «съезд победителей» не определил судьбу своих делегатов, и Киров был жив, хоть я и не подозревал о его существовании. В жизни партии времена эти были еще сравнительно идиллическими (уже с политзоляторами и ссылками для оппозиционеров, но еще без того, чтобы их расстреливали). В жизни страны, т.е. всех остальных людей, они уже давно не были такими. Но люди — жили.

Самые отвратительные тирании держатся еще и на том, что люди не могут прекратить или отложить свою жизнь, в

том числе и ее радости, особенно если этих радостей немного. Страшные и точные слова Марины Цветаевой: «Есть времена, где солнце — смертный грех! Не человек, кто в наши дни — живет» — не могут и, наверно, не должны служить руководством к действию для большинства людей, но все же неопровержимы. Ничего не поделаешь, даже честные и отзывчивые люди продолжают жить и тогда, когда на их глазах убивают и морят голодом других людей, когда им лгут в глаза, когда, исходя из того, что составляет их личность, им вроде бы следовало на месте сгореть от стыда. Некоторые и сгорают. Но до конца — немногие. Большинство же таких людей все же остается жить, и стыд этот, продолжая лежать тяжестью на сердце, постепенно теряет свою остроту. Во всяком случае — до времени.

Остальные же обычно ко всему происходящему относятся как к данности, как к неотвратимым, не ими созданным реалиям жизни, в которой им надлежит существовать. И пусть на улицах трупы крестьян, все равно городские девушки из семей, получающих скудные, но все же позволяющие выжить пайки, будут пробегать мимо них на свидания, и то, что связано со свиданием — «придет не придет» и «что скажет», — будет в тот момент волновать их гораздо больше, чем эта ставшая привычной деталь пейзажа.

Да и вообще в основном люди будут заняты бытом. И средний человек, который достал и принес семье килограмм кетовой икры (тогда она была очень дешевой и воспринималась как не лучшая замена настоящей пищи), будет очень доволен собой и жизнью. Это печально, но, наверно, простительно, ибо он непрерывно занят спасением семьи, а решать вопросы более широко у него нет ни возможности, ни времени. И тем не менее, когда дело начинает касаться круга его обычной жизни, он (далеко не каждый, но все же) может подчас вести себя достойней многих из тех, кому это, так сказать, «положено по штату».

Когда раскулаченный отец поэта А.Т.Твардовского убежал из ссылки, где был обречен на не очень медленное умирание, он, не имея документов и права жительства в своей стране, т.е. будучи прокаженным, пришел к своему двоюродному брату, жившему в Смоленске. Тот не вдавался в рассуждения, не выговаривал родственнику за то, что ставит его в затруднительное положение, а просто попр-

сил его чуток подождать в передней, и через минуту вынес оттуда не что-нибудь, не кусок хлеба даже, а паспорт! Свой собственный неподдельный паспорт, и со словами: «На, Тришка, живи!» — отдал его пришедшему (двоюродные братья были ровесниками и походили друг на друга внешне). Не мог он не понимать, что тому терять уже нечего, а он может потерять все — то есть то небольшое, но существенное (право жить на свете), что имел и что отличало пока его самого от опасного гостя. Понимал, но думал не об этом, а о том, что человека жизни лишили. И вернул ему жизнь, рискуя своей. «Душу свою за други своя», — но вряд ли эти слова тогда пришли ему в голову. Жалко стало человека, вот и все. «На, Тришка, живи». Эти слова одни перевешивают все «пылания» и мудрствования мировой интеллигенции, приведшие к необходимости их сказать.

«На, Тришка, живи!» — это даже не протест, это естественное и трезвое отрицание той страшной вивисекции, которой подвергали тогда простых людей России. Над всеми комсомольскими энтузиазмами, над всеми барабанами юных пионеров, над всеми историческими необходимостями, обезоруживавшими душу и совесть даже честных людей, — отъединенный от всего этого голос человечности и достоинства: «На, Тришка, живи!»

Кстати, в любой нормальной жизни (а сегодня и в нашей) передача паспорта другому лицу и проживание под чужим именем было бы делом отнюдь не вызывающим сочувствия. Это было бы *against Law* (против закона), что в англо-саксонских странах звучит и как моральное осуждение (вроде как «против уговора»). А по существу этот «проступок» даже героическим назвать остережешься, чтоб не обесценить — ибо он на большее тянет.

Кстати, в тогдашнем СССР, если б это открылось, этот «проступок» расценили бы отнюдь не как нарушение какого-то там *Law* (кого оно тогда интересовало!), а как открытое пособничество классовому врагу и контрреволюции. Одного моего знакомого исключили из партии только за то, что он, когда случались деньги, посылал небольшие переводы раскулаченному отцу — это было «романтически» квалифицировано как «экономическая поддержка кулачества». А тут паспорт! Дело вообще пахло заговором. Декламация требует жертв.

Странно сознаваться, но то, что в этом году я наконец-то пошел в школу, было для меня гораздо более крупным фактом одна тысяча девятьсот тридцать третьего года, чем все его страшные и судьбоносные события. Этого я ждал «долгие годы», и вот я держу в руках новый, роскошный, блестящий клеенчатый ранец, у меня уже есть пенал, ручка и карандаши. Нет у меня только тетрадей и учебников — в открытой продаже они появятся чуть позже, когда будет объявлена «большевистская забота о детях» и, что «жить стало лучше, жить стало веселее». А пока их выдают только в школе. Но и без книг и тетрадей я преисполнен сознания своей значительности и взрослости. В общем, чувствую то, что все дети перед первым в их жизни звонком. Это вполне естественно и об этом теперь было бы даже очень мило вспоминать, если бы жизнь за окном была хоть отчасти естественной. Если бы «за кадром» не оставались сотни тысяч других детей, по воле власти лишившихся родителей или загубленных вместе с ними — отчасти у меня на глазах. Если бы многие из них из своего горького опыта (голода, беспризорности, равнодушия к ним окружающих) не выносили сейчас убеждения, что никаких устоев, справедливости и милосердия не существует, и не шли бы потом в уголовники. Я их потом встречал, сильно не одобрял, но очевидную связь между тем, что делали они и что сделали с ними, ощутил много позже.

Конечно, сентябрь тридцать третьего все-таки не сентябрь тридцать второго. Трупы с тротуаров убраны, стоят длинные очереди за «коммерческим» (не по карточкам) хлебом. Но ведь и в сентябре тридцать второго дети этого непосредственно не задетого большинства так же готовились к школе и испытывали то же радостное волнение. Какое, не понимая, что это грех, испытывал и я, когда погожим утром 1 сентября этого страшного года, в толпе своих будущих, говоря по-нынешнему, одноклассников во дворе 95-й средней школы города Киева ждал выхода учителя, который должен был впервые ввести нас в школу. Кажется, школа еще была неполной средней — восьмые, девятые и десятые классы тогда только появлялись.

Пристрастный взгляд заметит, что в результате всяких циркуляций и комбинаций количество русских школ в районе и их удельный вес росли. Это обычно расценивается

как лишнее доказательство насильственной русификации Украины. Не отрицая самих попыток сталинской русификации, вернее унификации, особенно проявившихся в варварской подгонке украинской лексики и грамматики под русские, я все-таки отрицаю, что увеличение количества русских школ связано с какой бы то ни было насильственностью. Наоборот, насильственность в этой отрасли проявлялась до этого, когда рост количества русских школ в таких городах, как Киев, искусственно сдерживался, когда детей насильственно впахивали в школы в зависимости от происхождения родителей, но без всякой зависимости от их желания: украинцев — в украинские, русских — в русские, евреев — в еврейские, поляков (в Киеве до тридцать седьмого существовало значительное польское меньшинство) — в польские.

Между тем Киев в целом был тогда русским городом, и большинство киевских родителей, в том числе и украинского происхождения, хотели отдавать детей в русские школы. Этому способствовали три фактора: то, что русские школы открывали широкие возможности в масштабах всей страны, а не только Украины, традиционное представление о более высоком качестве образования на русском языке и...просто обаяние русской культуры, к которой многие люди украинского и всякого иного происхождения тоже тяготели. Возможно, факт этот неправилен, возможно, интересы национального становления требуют и оправдывают такое насилие (я в этих вопросах не специалист, и эта логика мне недоступна), но насилием над волей людей оно от этого быть не перестает. Я люблю украинский язык и многое, на нем написанное, я отнюдь не желаю исчезновения украинской культуры и не верю в него. Но насилие как средство утверждения какой-либо культуры кажется мне делом не только нечистым, но и нелепым.

То же я могу сказать и об еврейских школах. Ничуть не отрицая существования в доперестроечном СССР государственного антисемитизма, я тем не менее утверждаю, что сговора некоторых еврейских активистов на то, что еврейские школы в СССР были закрыты насильно, лишены всяких оснований. Они исчерпали себя сами — во всяком случае в больших городах — еще тогда, когда любое проявление антисемитизма было сопряжено с неприятностями.

Но это все сегодняшние мысли. А тогда, хоть моим языком всёгда был русский, меня мало беспокоило, что школа, в которой я начал учиться, вся, кроме нескольких наших классов, — украинская. По-украински я читал так же хорошо, как по-русски и вполне понимал устную речь — так что на общешкольных мероприятиях никакого комплекса не испытывал.

Мои школьные переживания были совсем другого рода и никак с национальным вопросом связаны не были. Просто в первом классе мне нечего было делать. Читать и считать я научился сам задолго до школы, а начальную премудрость письма, правда так и не научившись красиво и чисто писать (чего по природной несклонности и теперь не умею), я освоил под руководством Елены Владимировны. Вряд ли такая просвещенность хорошо отражалась на моем поведении в классе, и учитель договорился с матерью, что меня будут пускать в школу как можно реже. Была еще возможность перевести меня во второй класс, но какие-то умники уговорили мать «не перегружать ребенка». В результате я целый год бездельничал, скучал и преисполнялся сознания собственной исключительности. Потом было довольно трудно войти в нормальный рабочий ритм.

В такое положение попадают иногда эмигрантские дети в Америке. Программы большинства американских школ настолько облегчены по сравнению с советскими, что даже наши аутсайдеры на первых порах чувствуют себя здесь передовиками. Разумеется, это только стимулирует их природную беспечность, и очень скоро они опять прочно занимают свое законное место — уже применительно к новому уровню. Аутсайдером я не был и не стал, но некоторые неприятные открытия на свой счет (в том смысле, что я вовсе не такой абсолютный молодец, которому любое дело — раз плюнуть) сделал. Не скажу, чтоб мне все это было безразлично (мать накачала меня амбициями), но в целом я примирился с этим спокойно.

Я не очень люблю вспоминать эти годы, ибо не очень нравлюсь себе в этом нежном возрасте: с неловкостью во всех проявлениях и неловкими попытками компенсации и самоутверждения, с абсолютно или относительно безосновательной уверенностью, что отношусь к высокому и благородному интеллигентному обществу. Помню, как классе

во втором внутренне претендовал я на выборную должность санинспектора (кажется, так это называлось). Не то, чтоб мне так уж хотелось проверять одноклассников на вшивость или на предмет чистоты их рук, ушей и шей, в чем эта должность состояла, но просто жажда престижа заедала, а я знал, что никакая другая должность мне явно не светит. На эту же я по моим тогдашним понятиям имел все права, поскольку был «из семьи врача» (тогда это было еще престижным и просто культуртрегерским положением). Но — к величайшему моему удивлению и огорчению — «не обломилось»: не выбрали.

К этому же времени относится и начало моей литературной деятельности. Выразилось оно в плагиате. Но рассказ о том, как случилось это грехопадение, требует некоторой предыстории.

Еще в дошкольном возрасте в летнее время посещал я дневной пионерский лагерь (или санаторий) в полусельском районе уже упоминавшейся Демиевки (тогда Сталинки), куда моя мать как детский стоматолог демиевской поликлиники откомандировывалась на лето. В этом лагере шла интенсивная культурная жизнь, расцветала «художественная» самодеятельность. Там я впервые увидел пусть самодеятельный, но все же драматический спектакль. Я был потрясен. До этого я уже был один раз в оперном театре (на балете Феранжи», кажется, Глиера), но впечатление было несравнимо. Даже то, что спектакль был революционным и на сцене иногда постреливали, не могло искупить для меня того, что на сцене только двигались, а не разговаривали, в результате чего даже главное для меня тогда — кто здесь красные, а кто белые — понималось смутно.

А тут все было по-настоящему, все понятно и ясно. И, главное, в ролях, преображенные, выступали ребята, хоть и более взрослые, чем я, но знакомые — те же самые, которых я знал в жизни другими, обычными. Правда, обаяние театральности (пусть весьма приблизительной) заставляло заглатывать как само собой разумеющееся, и его «идейное содержание», точнее внушение — это была обычная антикулацкая агитка тех лет. Но здесь она была — театром.

В этой атмосфере самодеятельности (я завидовал всем, кто имел отношение к этому «театру») и встретил я сына маминой коллеги Яшу, который был на три года старше

меня. Отличие его от всех прочих, кого я знал до сих пор, состояло в том, что он сочинял стихи. То, что стихи сочиняет не небожитель, а обыкновенный мальчик, буквально потрясло мое воображение. А когда на каком-то вечере он публично исполнил один из своих опусов под оригинальным названием «Привет новому учебному году», он своей складностью привел в восторг и меня, и всех вокруг.

Никакого пристрастия к стихам у меня тогда не было. Конечно, я еще помнил стихи из детских книжек, и вообще первой прочитанной (действительно прочитанной, а не запомненной наизусть по картинкам) книжкой была маршакская «Почта». Но после того как я прочел «Маленький оборвыш» Джеймса Гринвуда (фамилию автора узнал только недавно, тогда я такими привходящими обстоятельствами не интересовался), т.е. первую в моей жизни «настоящую» и, как мне тогда казалось, толстую книгу, я стихи читать перестал, сочтя, по-видимому, что это для маленьких. Проза была не в пример увлекательней. Правда, очень меня заинтриговал Пушкин, но не «Сказкой о золотом петушке», которую прочел сначала (сказками я тоже перестал интересоваться), а подписью под его портретом в отрывном календаре: «родился А.С.Пушкин — величайший русский поэт». Если б еще просто «великий», а то — «величайший»! Вероятно, это слово возбудило во мне некую тщеславную мечту — прославиться в деле, о котором и представления не имел. В наш век культурных революций со многими это и во взрослом состоянии случается.

Яшины стихи меня поразили тем, чем любые стихи поражают тех, кому они абсолютно не нужны: в них было все как надо, как у больших, можно сказать, как у того же Пушкина (в таком же «прочтении»). Это меня настолько потрясло, что я эти стихи запомнил — благо память была свежая. Это меня и погубило. Но не сразу, а чуть позже, когда я, по-видимому, был в первом классе и, как уже знает читатель, навещал школу только изредка.

Тогда я часто посещал странное детское учреждение под названием «дневной санаторий» — нечто вроде современной группы продленного дня. Но относилась эта продленка не только к той школе, при которой находилась (хотя поначалу была создана ею для себя), а к обширному району. Летом учреждение переезжало на уже упоминавшуюся Чер-

панову гору, находившуюся в квартале от его основной базы, и функционировало весь день в качестве городского пионерского лагеря.

А база эта, школа №33, помещалась на Кузнечной, чуть ниже Жилианской и, к слову сказать (хоть это не имеет отношения к тому, о чем я сейчас рассказываю, а только к колориту тогдашнего Киева), еще была целиком еврейской. Наверное, должен был быть еврейским и находящийся при ней дневной санаторий (но не лагерь на Черепановой горе). Какое-то время он и был еврейским, и рудименты этого я еще застал. Руководительниц именовали «хавэртэ» (женский род от обращения «товарищ»): «хавэртэ Рая» и «хавэртэ Шифра». Но при мне принимал этот санаторий детей не только из еврейских школ и, естественно, не только из еврейских семей. И поэтому звать их можно было и по-русски: «товарищ Рая» и «товарищ Шифра». Но традиция засасывала, и словом «хавэртэ» часто пользовались даже те, кто больше ни слова по-еврейски не знал. Тем более что и «товарищ» в данном контексте звучало как-то не по-русски. В русских школах учителей звали традиционно по имени-отчеству, а по имени только пионервожатых, но и тех без «товарищ» — «Нина», а не «товарищ Нина». Эти обращения так и не перешли одно в другое, а оба сошли на нет, став анахронизмом.

Время быстро и круто менялось. Но и без всяких перемен жизнь в этом санатории («шенаторке», как произносил завхоз школы Берман, ведавший и этим заведением) шла по-русски. Даже аборигены, ученики еврейской школы, между собой в быту общались по-русски. Их никто не заставлял, но ведь они жили той же жизнью, что и все другие — только уроки готовили на другом языке. Это было рудиментом, и постепенно сама еврейскость этой школы становилась рудиментом. Я это знаю доподлинно, но об этом позже. Не стоит забегать вперед на 5—6 судьбоносных лет. Сейчас я упомянул об этой школе только в связи с «шенаторкой», ибо именно там произошло мое грехопадение. Произошло оно так.

Однажды — дело было в сентябре — всем объявили о предстоящем выпуске стенгазеты и призвали сдавать заметки и другие материалы. Безусловно, чего-то ждали и от меня, как от местного книжечей, и я обещал написать стихи. Собственно, с чего я взял, что я это умею делать? Не знаю,

но, вероятно, оттуда же, откуда лет в пять я был уверен, что умею починять электричество. Но тогда взрослые только посмеивались над этой моей уверенностью, а теперь отнеслись к ней вполне серьезно. И я взялся. Вероятно в смутной надежде, что, поскольку, как все признавали, я мальчик способный и развитой, находящийся в интимных отношениях с культурной сферой, на меня в процессе работы что-то снизойдет. Но — не снизошло. Вечером дома я быстро убедился, что никаких стихов мне не написать. Я был в отчаянье. Ведь я так уверенно обещал принести их завтра в полдень: дескать, что нам такие пустяки. И вот на тебе — так опозориться! Настало утро, светило солнце, а стихов не было. И тут сами собой написались Яшины.

Нет, в отличие от Василия Журавлева, напечатавшего под своим именем ахматовские стихи, мне ни на секунду не показалось, что эти стихи — мои. Я знал, что делаю, но, ужасаясь самому себе, делал — не мог остановиться. И отдал их в стенгазету. Триумф был полный — у редакторов и читателей вкус был не лучше моего. Мною восхищались, меня хвалили, а я не знал, куда деться. И я начал остервенело писать стихи — с благородной целью написать не хуже и хоть как-то оправдаться. Хоть перед самим собой.

Нет, ни этот факт, ни эти старания не имеют никакого отношения к истокам моего творчества. Оно началось совсем с других стихов, тоже плохих, писавшихся по другой причине. Но к биографии моей этот факт и все с ним связанное — отношение имеет.

Честолюбивые мечты моей матери оказались несбыточны. Учился я неплохо, но отнюдь не блестяще, весьма неровно. По чтению у меня неизменно были «очень хорошо» (потом «отлично», теперь «дореволюционная» пятерка), но по письму мог случиться и «неуд» («неудовлетворительно», потом «плохо» или «очень плохо», теперь — двойка или единица). Писал я грамотно, но грязно и не без клякс (я и сейчас, к сожалению, пишу немногим лучше). Я не только не стал первым учеником, но ни разу в жизни не был даже отличником — за исключением весенней сессии 1947 года, когда я кончал второй курс Литературного института. Но тут я, видимо, схватил что-то «не по чину». И вскоре был арестован. Но в те годы, о которых идет речь, я был весьма далек от нарушения этих пределов.

Сталкивался ли я тогда со страшными проявлениями начинавшейся сталинской эпохи? Безусловно, сталкивался, даже становился от этого в тупик, но вряд ли сознавал это: и сами проявления, и то, что становлюсь из-за них в тупик. Как мало сознавал те перемены в атмосфере времени, которые тоже, как ни странно, несмотря на возраст, чувствовал. Хорошо помню, например, убийство Кирова. Разумеется не само убийство, а то, как оно прозвучало.

Учился я тогда, как сказано выше, во втором классе. От кого я услышал, что в Ленинграде враги убили какого-то вождя (все руководители еще назывались вождями), — не помню, тогда еще даже радиотарелки не совсем вошли в быт. На следующий день все газеты вышли в траурной кайме. В центре — портрет незнакомого мужчины. Это было странно. Мальчик я был начитанный, и имена и портреты главных вождей были мне хорошо знакомы. А об этом я слышал впервые. Подозреваю, что большинство людей вокруг знали о нем тоже довольно мало, хотя в областях, где он работал, как я понял потом, он был популярен. Он вообще умел быть популярным. Видимо, Сталин, начисто лишенный этого дара, отнюдь не лишнего для политического деятеля, не очень заботился о том, чтоб за пределами этих областей было известно имя этого «верного сталинца», впоследствии убитого им.

Были ли у Сталина личные основания для этого? Внешне — нет. Широко известно, что именно Киров на каком-то из съездов специально знакомил партию с необыкновенными личными (а всего личного ему как раз всегда и недоставало) качествами и заслугами перед ней ее вождя. Но в то же время мне известно от очевидца, что, приезжая по делам в Москву, Киров в кругу друзей определял эти заслуги и качества совсем иначе. По всей вероятности, его выступление на съезде было очередным ходом во всегда нечистой верховной внутрипартийной игре. И глупым. Ибо что другое, а «игры» Сталин понимал.

Впрочем, и сам Киров, хоть он и стал жертвой Сталина, на особое сочувствие претендовать не может. Как и вся «старая гвардия», он заигрался уже давно. Как я читал в эмигрантской печати, именно он в начале тридцатых во имя выполнения планов сева заставлял новозагнанных колхозников сеять чуть ли не по снегу. А ведь идиотом он не

был. Просто партия (ее верхушка), уже тогда почти полностью зависевшая от Сталина, позволила ему втянуть себя в коллективизацию, в прямую войну с народом и больше нуждалась в политическом, а не экономическом эффекте «посевной кампании», в том, чтоб ее воля была непререкаема. Даже если сам Кирова в душе матерился, он это делал. Он был связан необходимостью освящать общий грех, общее преступление партии перед страной и народом, на этом и поймал его, его единомышленников и противников — всю «старую гвардию» — Сталин. Сам Троцкий до конца своих дней (до 1941 года) видел себя не вне партии, а только лидером ее оппозиции.

Освятить подлость и грех как метод, как они могли наметить этому границы? Конечно, сам Сталин нуждался в этом освящении для реноме, а не для личных душевных потребностей — он обладал всей полнотой этих подлых качеств изначально, а не от идеологии. Поэтому именно он, а не они, стал реальным воплощением большевистской победы. Только он пошел дальше — мифологизированной волей партии, подмяв ее, он освятил свою собственную, точнее, собственные амбиции, которым заставил служить уже не только партию, а и раздавленную ею перед этим страну. Но предоставила ему эту возможность сама «старая гвардия». В том числе и в первую очередь сам Киров.

Однако кто об этом тогда думал? Повсюду происходили многочисленные митинги, на которых все выступавшие говорили о тяжести понесенной утраты, а также клеймили гнусных убийц и требовали выжигать их каленым железом. Об утрате говорилось так, словно все знают, о ком речь. Всенародная скорбь была явно организованной.

Конечно, ни масштаба, ни смысла происходившего я тогда не понимал. В том, что враги убили пролетарского вождя, ничего для меня противоестественного не было. На то и враги. А наше дело — их поймать и расстрелять. Все ясно. Удивляло, что этой естественной вещи все вокруг требуют так горячо. Разве кто-нибудь против? И хоть я тогда не мог понять ни фальши, ни организованности скорби, но некоторую неувязку все же чувствовал. Это не было четким отношением к вещам — да и откуда оно в таком юном, естественно-конформистском возрасте? — но это было неосознанным смущением, которое я бодро подавлял, прони-

каясь общим настроением, но все же испытывал. Нет, я не ставил что-либо под сомнение — совсем наоборот, — но в глубине души все же не откликнулся ни на авантюрный сюжет, ни на всеобщее возмущение. Запечатлелся один из лозунгов: «КАК ЗНАМЯ| БЕРЕЧЬ ВОЖДЕЙ!» Почему запомнился? Ведь не мог же я понимать, что это под шумок протаскивается уравнение (а потом замещение) знамени (идеи, смысла) вождями, а потом и почти единственным, оставшимся незапятнанным ВОЖДЕМ. Однако же врезалось.

Врезался в память и такой случай, произошедший со мной второго или третьего декабря. Было это, кажется, на последнем этаже школы, где помещался наш класс, после уроков (мы учились во вторую смену). Уроки уже кончились, все ребята спустились вниз — то ли домой, то ли на митинг по поводу злодейского убийства. Я замешкался. С криком «Киров! Киров!» гоняю по пустому коридору найденный только что обрывок газеты с портретом убитого вождя. Это не было ни протестом, ни кощунством — только странным экстазом, которому часто подвержены дети после того, как им некоторое время пришлось сидеть неподвижно. А тут еще это слово «Киров» у всех на устах, и сейчас будет митинг на эту тему. Так что у возбуждения моего несколько причин, и я минуты две самозабвенно предаюсь этому странному занятию. Пока в пустом коридоре меня вдруг не увидела учительница параллельного украинского класса. «Ты что делаешь? Немедленно перестань!» — закричала она испуганно. И стала мне что-то внушать. Смысла этого внушения я не помню, но помню отчетливое ощущение, прямо-таки дуновение опасности, от которой она хочет меня уберечь этим внушением.

Тогда учителя в целом еще были порядочными людьми. И я почувствовал, что этот мой поступок (да и не поступок, а просто экстатическое действие), не имевший никакого отношения ни к политике, ни к Кирову (не радовался же я его смерти), может быть кем-то как-то так истолкован, что я внезапно окажусь не самим собой, а кем-то прямо противоположным себе, врагом революции. И никому уже не смогу доказать, что это не так. Естественно, я так не формулировал, но чувствовал именно это. Я впервые столкнулся с неприкрытой бессмыслицей, исходящей от взрослых, которой сами взрослые боятся. И пусть не умом (а,

может, уже и умом тоже) понял, как опасно давать повод для ложного истолкования своих поступков — эту первую заповедь подданных тоталитарного государства. Она была достаточно убедительна тогда еще и потому, что вполне гармонировала с организованной скорбью по человеку, самое имя которого вчера еще мало кто знал. С этой точки зрения мой легкомысленный поступок и впрямь был преступлен. Он не принимал и разрушал создаваемую властью атмосферу всеобщей скорби и единения в ней.

Примерно в это же время я оказался рядом уже с настоящей трагедией, связанной с упомянутыми выше чертами времени. Началась она вовсе не как трагедия. Однажды, когда мы уже учились во втором классе, у нас появился новенький. Невысокого роста, коренастый, аккуратный, весь какой-то собранный, но мягкий и скромный, он произвел на всех очень приятное впечатление. Я помню далеко не всех одноклассников той поры, но его, с которым проучился всего несколько месяцев, запомнил на всю жизнь. Он был первым в моей жизни другом. Звали его Владик Федченко.

Сошлись мы с ним на том, что оба не были драчунами и оба любили читать книжки. Жил он с отцом, матерью и тетей недалеко от нас, на улице Боженко (бывшая, а, может, уже и нынешняя, Бульонная) в одноэтажном деревянном домике, вход со двора. Дорога к нему была моим первым экскурсом по Владимирской в сторону обратную Жилианской, туда, где стояли невзрачные домики, в районе этих домиков она под большим углом сворачивала направо, как бы параллельно Жилианской. Но не сразу параллельно, ибо параллельно Жилианской пересекала ее Совская (теперь Физкультурная, которая вела от товарной станции, (по Совской были проложены пути и стояли пакгаузы) к той же Большой Васильковской, и дальше мимо построенного на южной границе Центрального стадиона, после войны Дворца спорта (оттого и Физкультурная) к тем же Черепановым горам. Владимирская же каким-то образом, для меня непонятным, становилась параллельной Жилианской чуть позже, где она становилась Деловой, тоже выходившей к Большой Васильковской. Улица Боженко отходила от Владимирской незадолго до Деловой и по ней ходил трамвай №10 — на Демиевку. Этот трамвай кружил вокруг

нас. С Марино-Благовещенской сворачивал на Большую Васильковскую, оттуда на Деловую, оттуда на Боженко. Когда я подросток, тарифные участки отменили, и мы сидели на него на углу Маринской и нашей. Хотя подозреваю, что до Бульонной нам было даже ближе. После войны трамвай №10 проходил уже мимо наших окон.

Домик, где жили Федченко, стоял на Боженко, недалеко от угла Владимирской, впрочем, скорей Деловой, ибо на левой стороне. Мы часто бывали друг у друга. Из визитов к нему я сделал открытие, что и в одноэтажных домиках могут быть вполне городские квартиры, чего я не представлял. Однако рассказ мой не об этом. Родители Владика и его тетя были молодыми, красивыми, интеллигентными и деликатными людьми. В доме всегда что-то писалось, читалось, обстановка была спокойная, рабочая, встречали меня приветливо, играть нам не мешали. В общем мне бывать у них нравилось.

Но очень скоро — дневников я тогда не вел, но думаю, что осенью 1935 года — потряслась беда. Владик не пришел в школу. Это меня очень огорчило, ибо мы накануне с ним наметили какие-то планы на сегодняшний день. И удивило — я знал, что вчера вечером он был совершенно здоров. Но мало ли что бывает, и после школы я, несколько встревоженный, отправился навестить его. Но, к моему удивлению, я против обыкновения не был к нему допущен. Обычно столь любезная его тетя на этот раз была суха и непреклонна. «Нет, к нему нельзя! Нет его», — односложно отвечала она, загораживая вход. Домой я вернулся обескураженный и обеспокоенный. Что меня беспокоило? Что я понимал? Что-то все-таки, видимо, понимал.

Увидел я Владика только на следующий день на большой перемене. Он стоял в коридоре, окруженный ребятами, и заливался слезами. Добиться от него, в чем дело, я так и не смог. Ни на какие вопросы он не отвечал. И тем не менее не знаю, откуда, как и почему, но я сразу все понял: и то, что произошло, и то, какая сила вмешалась в судьбу этой приятной мне семьи. И почему Владик никогда не распространялся о ее прошлом — я тоже понял.

Как ни странно, я всегда смутно чувствовал, что эту семью окружает какая-то тревожная тайна, и она была настолько безусловна, что я, отнюдь не отличаясь природной

тактичностью, ни разу не задал Владике ни одного вопроса о том, где и как они жили раньше. И я им сочувствовал, хотя «барабаны эпохи», над которыми смеялся даже Корнейчук (в пьесе «Платон Кречет»), звучали еще в моей душе достаточно громко, и я вроде бы не должен был сочувствовать людям, преследовавшимся революционной властью.

Для меня совершенно было ясно, как ясно и теперь, что приехали они из ссылки, а теперь отца опять арестовали, и Владике с матерью надо опять куда-то уезжать. Я и теперь не знаю, за что они преследовались. На людей «с раньшего времени», преследовавшихся за происхождение, каких я потом много встречал в ссылке, на пересылках и в эмиграции, они не походили по общему очерку. Возможно, они были участниками партийных оппозиций, но скорее — относились к остаткам молодежных социалистических (меньшевистских и эсэровских) групп начала двадцатых, о которых и самая память к тому времени была фактически вытравлена. А ведь они существовали. Судя по времени их очередного ареста, они имели отношение к одной из этих категорий. Может, их привлекли по делу СВУ (Спёлка вызволення — Союз освобождения — Украины) — никогда не существовавшей организации, за участие в которой пострададо множество украинских интеллигентов (часть провели через открытый процесс). Но вряд ли. Те были все украинской культурной ориентации, а эти мальчика послали в русскую школу. Потом тех привлекли тогда впервые, а за Владиком ощущался долгий опыт.

Не знаю, какими были тогда их взгляды и как бы я отнесся к ним сегодня, но в те времена, которые наступали и в которые мне пришлось жить, вообще почти не встречались люди, осмеливавшиеся иметь свои собственные политические взгляды. А ведь к «политике» относили все — непосредственное возмущение тем, что проделывали над крестьянами, например. Даже при полном отсутствии интереса к политической деятельности и программам.

Я до сих пор не знаю, кем были родители Владика. Но в том, что они относились к гонимым (и гонимым к этому времени уже давно), у меня нет никаких сомнений. И не было их тогда. Я об этом не думал, я это знал. И сочувствовал. И ни разу ни при каких извивах моего внутреннего развития (а бывали всякие) я не подумал о них иначе, как о

хороших людях. А это чего-нибудь да стоит. Возможно, такое мое отношение к ним — отзвук разговоров, услышанных дома, где о пострадавших и высланных по старинке уважительно говорилось как о «пострадавших за идею». Не знаю. Но думал я о них именно так. Как ни странно, при этом мое общее отношение к власти и к ее врагам оставалось прежним...

Почему? Как увязывалось одно с другим? Обычно люди моего поколения все дурное, исходящее от власти, истолковывалось как творимое не ею, без ее ведома или даже против нее. Но в данном случае не было даже этого. Просто сохраняя полнейшую преданность советской власти, даже проникаясь романтикой ее беспощадности, я в то же время сохранял теплую память о Владике и его родителях, пострадавших от всего этого. При этом я о них мало знал, а нам всю жизнь внушалось: «Ты ему веришь? А разве ты знаешь всю его подноготную?» Я о них не знал не только «подноготной», но вот — верил. Верил общей атмосфере чистоты и порядочности, исходившей от этого дома, верил чистым и безутешным слезам Владика. До сих пор стоит он у меня перед глазами в углу школьного коридора, окруженный растерянными одноклассниками, и беспомощно плачет под грузом обрушившейся на него — который раз! — «чугунной беды» (А. Галич). Я так тогда и почувствовал: «который раз». Было в его горе особое, отделяющее от всех нас знание, которым невозможно было ни с кем поделиться — запрещено, да никто б и не понял.

Поколебать в нас тогда, в начале тридцатых, нашу верность революции и ее романтике не могли еще никакие факты, никакие дружбы. У этой власти был еще колоссальный кредит почти во всех слоях общества. Даже дети раскулаченных иногда воспринимали постигшую их участь как оскорбление их преданности революции. Этот странный идеализм помогал выстраивать полосы отчуждения вокруг тех, на кого обрушивался удар. Этот «идеализм», слава Богу, давно уже выцвел, задолго до перестройки. При Брежневем человека можно было замучить в лагере, напугать, даже натравить на него, если он пытался поднять голову, других (но не идеологически, а — «сидишь, как все, в дерьме, так без толку не чирикай»), но отделить человека от других можно было уже только физически. Насилие все равно было под-

лым и жестоким, но оно было и голым: мистики за ним не было никакой. Только грубая клевета на Сахарова, будто бы он хочет войны, имела некоторый успех — войны боялись. Но и она носила индивидуальный характер и поддерживалась усложненной, дорогостоящей, но все равно физической изоляцией. Той незримой, но вполне ощутимой чертой, которая когда-то отделяла плачущего Владика от других ребят, отделить кого-либо уже было невозможно.

Потом зазвенел звонок. Владик, как мы его по неведению ни уговаривали, не пошел с нами в класс и... исчез из моей жизни. Как потом не раз на моих глазах исчезали из виду друг друга люди, успевшие сдружиться, а то даже и пожениться в лагерях, тюрьмах и ссылках, когда их забирали с вещами на этап, равнодушно и безжалостно разрывая живые связи, и навек уводили неизвестно куда мучиться порознь. То, что это окажется не навек, не было известно ни уводившим, ни уводимым. Но тогда, с Владиком, это происходило на моих глазах в первый раз.

Я не знаю, как сложилась дальнейшая судьба Владика. В тот раз он наверняка приходил в школу за документами, потому что после ареста отца (а в том, что произошло именно это, у меня не было и нет никаких сомнений) они с матерью должны были срочно уехать из Киева. Может быть, и самостоятельно — к родственникам, живущим в глуши, чтоб там затеряться, но скорее их, как часто тогда бывало, срочно отправляло в ссылку — с отцом или без него — само ГПУ.

А что с ним было дальше? Кто знает! Веер возможностей, который предлагала всем нам и особенно таким, как он, «наша великая эпоха», был чрезвычайно широк. Из ссылки он мог попасть в лагерь, стигнуть там или выжить. Мог попасть на фронт, там прославиться или попасть в плен и в обоих случаях избежать или не избежать гибели. Мог, попав в плен, остаться после войны за границей, а мог и вернуться домой, а дома опять попасть (за плен или по совокупности) в ссылку или лагерь, где тоже мог погибнуть или выжить. Мог и не попасть — я знаю и таких. Впрочем, при его «наследстве» это было почти исключено. Мог выжить, пройдя через все эти испытания, а мог и умереть.

Но могла его жизнь сложиться и иначе. Свет не без добрых людей, и могли ему разрешить поехать учиться (сам же

он на первых порах ссыльным не был), и в конце концов, особенно после смерти Сталина, судьба его могла сложиться и благополучно. Но, доверяя памяти детства, я думаю, что при всех обстоятельствах он оставался порядочным и достойным человеком. Непохоже, чтобы звериная эпоха могла заразить его своей звериностью.

Впрочем, и большинство тех, кто тогда окружал его растерянной толпой в углу школьного коридора и кто наверняка казался ему счастливым, ожидала судьба немногим лучшая, чем его собственная. Кто сравняется с ним «в правах» очень скоро, когда его — тоже через родителей — настигнет волна сталинских чисток (тридцать седьмого года), кто чуть позже погибнет на войне или в Бабьем Яре, кто будет вывезен немцами в Германию и долго будет дома считаться человеком второго сорта, чей путь пройдет через Архипелаг ГУЛАГ.

Да и без этих крайностей — вот эту толстушку потом с детьми бросит муж, а эта с косичками так никогда и не выйдет замуж (ибо слишком много мужчин будет перебито на войне и погибнет в лагерях). В общем, время нас всех ожидало, как «в минуты откровенности» мужественно писалось в доперестроечной печати, неласковое. Но откровенность эта лукавая. Получается, что таким это время было как бы само от себя, а тоталитаризм, если и имел к этому отношение, то чисто страдательное. Между тем подлая жестокость этого времени — вся от него.

Владик Федченко вовсе не первый человек, который на моих глазах попадал в мясорубку сталинщины. Трупы на киевских улицах я ведь тоже видел. Сестра Рахилька и временный родственник-сионист тоже как-то входили в мое сознание. Но он был первым из таких людей, кто существовал для меня персонально — как личность, и уж никак не мог быть отнесен к каким-то «другим», не таким, как я. Поэтому он так и врезался в мою память.

Но Владик Федченко был в каком-то смысле сбоем сценария, хотя бы потому, что его исчезновение не было незаметным. И хоть он не сказал ни слова, только плакал, но все же не исчез совершенно безмолвно, дал если не понять, то хотя бы ощутить ту черту, которой его отделили от нас. Другие исчезали, не сказав ни единого услышанного нами слова. Так исчезли, например, китайцы.

Дело в том, что неподалеку от нас на углу Жилянской и Тарасовской (улица следующая после Владимирской по дороге к вокзалу) стоял четырехэтажный красный дом, населенный китайцами и называемый «китайским». Поэтому в школе было некоторое количество китайцев. В нашем классе их было двое, Коля и Женя, — кажется, брат и сестра. Учились они с нами с первого дня. Женя была обыкновенной девочкой, мягкой и ироничной, Коля — обыкновенным драчуном, быстро занявшим почетное место на «хулиганском» фланге нашего класса. В первый момент они вызвали некоторое любопытство, так как внешне отличались от всех остальных ребят, но поскольку говорили они по-русски так же, как мы, и вообще были обыкновенными детьми, это удивление быстро прошло. Они, как и мы все, стали органичной частью сообщества, которое называлось «наш класс».

Но однажды мы явились в школу после летних каникул и обнаружили, что их среди нас уже нет. Исчезли китайцы и из других классов. Но поскольку впечатлений было много, как всегда бывает в начале года, и к тому же мы начали учиться в новой школе (дело было, следовательно, в четвертом классе), то особого внимания мы на это не обратили. Всегда в начале года кто-нибудь не является — куда-нибудь переезжает, переводится и т.п. Видимо, и они переехали. То, что с ними вместе, по-видимому, переехало и все население «китайского» дома — а наша новая школа была расположена почти прямо против него — было тоже замечено и, главное, осознано нами совсем не сразу. Правда, мы должны были заметить, что исчезла радость нашего детства — торговцы «китайскими фонариками и другими бумажными поделками, а также сладостями, гулявшие до этого со своими лотками по всем улицам микрорайона. Но, с одной стороны, мы были в том возрасте, когда такими игрушками уже подчеркнута не интересуются, а с другой — тогда с улиц исчезали вообще всякие торговцы, что знаменовало собой переход к социализму. Так что и это было в порядке вещей и не обратило на себя нашего внимания. А если б обратило? Мы бы (впрочем, как и взрослые) вполне удовлетворились «государственным» объяснением — дескать, Киев слишком близок к границе. Хотя какую опасность — даже по сталинской логике — могут представлять китайцы на западной (!) границе, понять трудно.

Впрочем, взрослым тогда, в 1937—1938 году, и без китайцев было о чем думать.

Так же незаметно выселили, а в значительной мере просто пересажали по обвинению в шпионаже киевских поляков. Просто вдруг исчезли с тумб и стендов афиши польского театра. Правда, я не думаю, что от них «очистились» столь абсолютно, как от китайцев, ибо их не так легко отличить. Вместе с поляками выслали и униатов. Но об этом я не знал, не знал даже, что такие существуют. Увидел я их (думаю, что это были они) впервые на Урале, где они состояли в трудармии — нечто среднее между концлагерем и стройбатом, куда их, как немцев и представителей других наций брали вместо армии из местностей, куда их году в тридцать седьмом выслали из приграничных (имеется в виду старая граница) районов Украины. Я был очень удивлен, что их все вокруг, да и они сами себя, называли поляками, в то время как они — уж это я знал точно! — разговаривали друг с другом на чистейшем украинском языке. Да и по всему были они обыкновенными украинскими мужиками. Униатами я их называю только потому, что так я понял задним числом объяснения моего приятеля из их среды. Возможно, они были просто католиками. К полякам их можно было отнести только формально. Но тут уж и удивляться было нечего. Если с польской границы можно было в предвидении войны убрать китайцев, то поляков и униатов по этой логике — сам Бог велел. Правда, воевали мы вообще не с Польшей и отнюдь не на границе, но такова была сила «гениального» сталинского предвидения, от которой мы все физически зависели.

Интеллигенты всех невысланных и позднее высланных народов или интеллигенты из евреев, которых выслать так и не успели, если даже до них тогда доходили смутные слухи о происходящем, полагали, что это вызвано соображениями безопасности и их не касается. Между тем, в этом проявилось то отношение к человеку, которое касалось всех. Случайное тактическое соображение «великого вождя», вызванное просто перебоями в работе желудка, могло в любой момент распространить эту «меру безопасности» и на их народы, и на них самих.

В такой атмосфере, пробавляясь внушенным энтузиазмом, мы росли, жили и учились. Разумеется, все это про-

никало и в школу. Но, тем не менее, школа как-то сглаживала: это авторитетом, а отчасти еще и атмосферой культуры, знаний и товарищества, да и вообще всяких высоких материй — еще много было хороших и порядочных учителей. Впрочем, они и сейчас есть.

Однако жизнь моя протекала не только в школе, но и во дворе, в нашем большом объединенном дворе, где изнанка жизни и истории проявлялась чаще и откровенней, чем в школе, и чему школа служила как бы противовесом, как порядок — хаосу. Восприятие это довольно типичное для интеллигентных детей той поры. У него есть свои основания, своя оправданность (от хаоса естественно отталкиваться), но вряд ли своя праведность (этот хаос возник не сам по себе). Поразительное дело, ведь речь идет не о старой — «классовой», как тогда говорили, — гимназии, а о советской бесклассовой школе. Там действительно учились все дети, независимо от социального происхождения их родителей и все были на равных. И тем не менее эта школа, где учились все, в моем сознании противопоставлялась двору как хаосу. Отчасти, наверное, потому, что там уважалась устраивающая меня иерархия ценностей — по культуре, по знаниям, по увлечениям, а необязательно по физической ловкости.

Но это уже, как говорят в Америке, моя проблема. По-настоящему же главным было другое. Школа как бы утверждала модель правильного мира, а тот, который был во дворе, сама того не желая, переводила в разряд неправильного, нетипичного — чего-то, чем следует пренебречь. И действовала она так отнюдь не только на интеллигентных или считающих себя таковыми детей, а и на многих других. Своим существованием на общем фоне, тем, что она открывала горизонты иной жизни, она звала не изменить жизнь двора (у каждого ведь есть позади такой двор или нечто подобное), а уйти из него и забыть его, а если и не уйти, то подняться над ним к высотам культуры и «сознательности» и не принимать его всерьез. Это один из вариантов (смягченный) того, что я называю «получение грамоты вместе с людоедством».

Наш двор был южный — практически весь нараспашку. И его жизнь гораздо более откровенно отражала состояние страны — происходящие в ней процессы и реакцию на них, — чем что-либо иное, более упорядоченное; она была

изнанкой истории. Что говорить, изнанка эта представляла собой в эти годы малопривлекательную картину. Я имею в виду не ребят, с которыми играл, а многих взрослых, тоже наполнявших наш южный двор, слишком уж деморализующе прошлась своими бессмысленными лемехами по многим из них сталинская «историческая необходимость». Ведь только что закончился искусственный голод — запланированное вымарывание украинской деревни. И неудивительно, что во многих из тех, кто, убежав, уцелел — а такие были во всех окрестных дворах, — оно утвердило чувства отнюдь не добрые. То, что они видели и испытали, от чего, прямо скажем, увернулись как бы не совсем законно (по «закону» им положено было издохнуть), не укрепило в них веры в человеческие установления. А это мало кого, кроме святых, располагает к доброте и доверию к людям.

А жизнь южного двора наиболее обнаженно проявляет все, что творится с людьми. В те годы в жизни нашего двора ощущалось и нечто темное, «отсталое» отчужденно не гармонирующее, как мы полагали, светлому несмотря ни на что облику нашего времени. Помню слова одного из друзей моего детства: «Самая худшая часть населения — это крестьяне, вышедшие в города». Думаю, что какой-нибудь московский или питерский интеллигент (отнюдь не антисемит) в начале двадцатых мог так же выразиться и об евреях. И действительно в обоих случаях в устоявшийся быт хлынула орда, не знающая ни местных норм общежития, ни обычаев. Почему она хлынула — как-то и не думается, а раздражать — раздражает. Пока еще обтешется!

Что говорить! Темного в этих людях хватало. И отсталого тоже. Но ведь и наше «передовое» особенно светлым не было и света в души этих, иногда деморализованных, людей внести не могло. Я помню враждебные предвидения, как поведут себя эти люди во время войны — как их обиды взметнутся темной стихией. И удивляюсь тому, как легко выпал из сферы эмоций и даже логики тот вроде признаваемый факт, что их ведь действительно — мягко, очень мягко говоря, — обидели. Воспитание и мировоззрение с этим не считались.

Короче — узел взаимного непонимания был затянут туго. И развязать его в рамках официального, полуофициального или даже оппозиционного большевизма было невозмож-

но, а другого способа осмысления мы не знали. Осмысления и не было, были только реакции на неприятные или просто безвыходные явления. А что касается «проблем двора», хотелось просто от них уйти. И уходили. В школу, которая уводила от этих людей и проблем уверенно и далеко. Уводила не только таких, как я, уводила и выходцев из этой среды — забыть и пренебречь означало для них, конечно, и возможность социального восхождения, но и не в последнюю очередь обретение пусть иногда понимаемых на свой лад, но все же культуры и осмысленности. Грамоту все тогда получали вместе с людоедством.

Но все это сегодняшнее осмысление тогдашнего, но, так сказать, суммарного, а не эмпирического восприятия. Тогда я этим осмыслением особенно не занимался — просто жил, как живет. И тому, что мой дядя «сдал» свой дом в жилкоп, я радовался совершенно искренне — и не только потому, что это избавляло меня от косвенной, но все-таки как-то позорящей связи с частной собственностью. Только через много лет я понял чувства моего отца, который жалел, что наш маленький тенистый дворик перестал существовать, растворился в большом объединенном. Сам я об этом тогда не жалел нисколько — был в упоении, когда ломали кирпичную стену между дворами вместе с примыкавшими к ней с нашей стороны деревянными сараями, радовался суматохе, бывшей в то же время могучей поступью социализма. И, конечно, тому, что теперь в нашем дворе так много детворы. Детям для здоровья, может быть, и нужны тихие тенистые дворы, но где вы видели детей, особенно мальчиков, пекущихся о здоровье? Гораздо больше значения для них имеют общение и дружба и возможность себя чем-нибудь занять.

До определенного возраста я принимал деятельное участие в жизни дворовой детворы. Принимал участие во всех играх и затеях. И даже играл в футбол. Правда, я плохо бежал и полевым игроком был плохим, но зато меня ценили как вратаря. Тут я брал храбростью, бросался на ноги нападающих.

Были у меня и более интеллектуальные товарищи — с ними я играл в шахматы (отец показал мне ходы). Я довольно быстро достиг определенного, очень невысокого уровня, но дальше не пошел. Дочитать до середины хотя бы

самое элементарное пособие по шахматной игре у меня никогда не хватало терпения. Поэтому все мои шахматные коллизии неизменно развивались так. Поначалу, пока мой новый партнер только привыкал к шахматам, я у него неизменно выигрывал. А потом с тем же постоянством проигрывал. Поначалу это меня обескураживало. Даже не верилось, что это так. Но потом я начисто излечился от спортивного азарта. И теперь выигрывать у меня — никакого удовольствия, ибо меня это нисколько не огорчает. То же происходило у меня и с точными науками. Задачи средней трудности я научился решать очень скоро, а очень трудные — никогда. Предпочитал, явившись в класс, объявить, что не понял. Но это уже позже, когда мои интересы определились. А в младших классах интереса, который бы всерьез потребовал от меня упорства, у меня еще не было. Он только смутно предчувствовался. Я любил рассказывать ребятам всякого рода истории и сказки, в основном героико-революционного характера, где прочитанное переплетается с вымыслом и, как сказано в одном из моих лет через десять после этого написанных стихотворений: «Где за развязкой следует завязка. И никогда не следует конец». Т.е., выражаясь по-лагерному, «тискал романы» (ударение на первом слоге), удовлетворяя ту же детскую потребность слушателей.

Кстати, потом я эту способность начисто утратил. Я могу почувствовать сюжет, но выдумать его не в состоянии. И, лежа на нарах свердловской пересылки, я «тискал романы» гораздо хуже и бесцветней своих более простодушных конкурентов. Говорю это отнюдь не с гордостью: способность придумывать сюжеты — конечно, при прочих равных — ценная способность. Другое дело, что в поэзии все это выглядит совсем иначе — в ней ничто не движется сюжетом, а, наоборот, сюжет, если он есть, движется чем-то другим. Но эта тема уже не имеет отношения к двору моего детства.

Конечно, двор этот был улицей, а к улице в литературе установилось отношение, безусловно, отрицательное («Завтраки 43-го года» Василия Аксенова и многое другое). Отношение это в общем справедливое. Особенно если речь о 1943 годе, когда была война и плохо было всем. Но по отношению к 1932 году все это не так безусловно. Не то чтобы тот, кто отбирал завтраки у более слабых тогда (конечно, не в случае крайнего голода, что тоже нередко бывало),

выглядел достойней того, кто этим занимался потом. Но все-таки возмущаться теми, кто это делал в 1932-м, надо не столь уверенно... Ведь, как уже сказано, многие из тех, кто стали тогда уголовниками, были детьми раскулаченных, т.е. детьми, нагло обездоленными, на глазах у которых были затоптаны в грязь не только их дом, но и все внушенные дома устои бытия («не зарься на чужое», «что добыл горбом, всегда твое» и т.д.), причем затоптаны не кем-нибудь, а самой властью, казалось бы, для того только и существующей, чтоб эти устои поддерживать. Власть интересовалась или имитировала интерес к чему-то более важному, чем их существование на земле, а от них требовали — даже ценой смерти от голода — соблюдения того, что было так открыто нарушено в отношении их самих.

Я согласен с теми, кто отрицает распространенное на Западе утверждение, что за поведение человека всегда несет ответственность общество, а не он сам. Но тут под словом «общество» обычно понимается пассивное действие слепых «общественных условий», в которых живут все, но к которым не все могут приспособиться. Но те, о ком я сейчас говорю, стали жертвами сознательно против них направленных активных действий общества, точнее, подмявшего под себя это общество государства. Конечно, человек отвечает за свое поведение. Отнюдь не все дети и сироты раскулаченных стали, а главное, остались уголовниками. У разных людей разная степень устойчивости. Одни умрут, но не возьмут чужого, другие возьмут, чтоб не умереть с голоду, но не прикоснуться к нему, как только эта угроза отойдет, а в третьих что-то сломается — раз начав, они не смогут кончить, привыкнут к такому образу жизни. И каждый, кто идет этой третьей дорогой, безусловно, виноват. Но государство, таким образом «испытывающее людей на устойчивость», и общество, терпящее это государство, тоже — и притом непосредственно — виноваты перед этими людьми. И общество, даже если оно ничего не может сделать, должно это помнить. Это не значит, что можно не судить за уголовные преступления. Но это значит, что, как здесь уже сказано, у общественного возмущения поведением этих «оступившихся» (от сильного государственного толчка в спину!) уверенности тогда могло быть и меньше.

Разумеется, уголовники — это крайний случай. В нашем дворе уголовников я не припомню. Но напряжение, вызванное недавними событиями, масштаба которых никто по-настоящему не сознавал, порой ощущалось очень остро. Киев — и наш двор в частности — был буквально затоплен волной переселенцев из провинции. Все подвалы (свободной жилплощади в городе не было) были заняты ими. Не следует думать, что эта волна состояла сплошь из крестьян. Первая семья, поселившаяся в нашем доме, еще когда он принадлежал моему дяде, была местечковая семья. Кстати, и не говоривший по-русски мой дядя-раввин, брат отца, переселился из Богуслава в Киев тоже отнюдь не в жажде культурных развлечений и высшего общества. В местечках тоже ведь стало нечего есть.

Уезжали по самым разным причинам. Кто — чтоб скрыть свое ставшее вдруг преступным «прошлое» (имел магазин или мельницу), кто — сообразив, что в городе, особенно в Киеве (столица!), получше снабжение, а, следовательно, и реальная заработная плата выше, кто — просто спасаясь от голодной смерти. Среди этих спасавшихся большинство, естественно, составляли бывшие крестьяне, бежавшие от преследований, голода и вообще от колхозной неволи и бесперспективности.

Конечно, устроиться в Киеве им было сложно, значительно сложнее, чем, допустим, в Магнитогорске или Игарке, где нередко закрывали глаза на некоторую недостоверность их документов (иногда кажется, что весь сыр-бор был затеян для того, чтоб обеспечить таким путем рабочей силой «первенцы пятилеток»), но приток рабочей силы требовался и расширяющимся киевским заводам. Можно было осесть на первых порах где-нибудь дворником, кочегаром и т.д. Можно было, если повезет, оборудовать кое-как под жильё сырой подвал, для этой цели никогда не предназначавшийся. При общей нехватке жилья привередничать не приходилось. Главное — зацепиться и выжить — в тесноте, да не в обиде.

Но «не в обиде» не выходило. «Не в обиде» бывает, когда это касается людей, которых что-то объединяет. Да и когда тесноту эту не надо терпеть слишком долго. И то в эвакуации (когда дело было у всех общее и понятное — война) нередко случались пусть не глубокие, но часто мучитель-

ные конфликты между хозяевами и вселенными к ним квартирантами из эвакуированных. А в начале и в середине тридцатых тесноту эту никто не воспринимал как временную, да и была она для новых киевлян не причиной, а следствием и катализатором «обиды», никем, кстати, не признаваемой и не сознаваемой, всеми игнорируемой, но присутствовавшей в упомянутой выше напряженности изначально.

В этой связи «подвал» приобретал символическое значение. Дело было уже не только в качестве жилья, а в том, что оно стало как бы символом социального положения и культурного статуса, символом унижения крестьянина в городе. Человек чувствовал неуважительное отношение к себе, как к неотесанной деревенщине, для которой и подвал — квартира. А ведь это были люди, знавшие себе цену, самостоятельные хозяева, привыкшие к заслуженному уважению. И в их глазах именно город был местом, из которого вышло все это несчастье, откуда наезжали все эти коллективизаторы и раскулачиватели, начальники политотделов и агитаторы с браунингами.

И теперь этот город, разрушив их мир, обесмыслив их труд, выжив их из домов и вообще из деревни — вдобавок еще высокомерно возвышался над ними!

Конечно, так было в начале. Люди работающие, умелые, цепкие, они потом вполне приспособились к городской жизни. Ведь это не первые деревенские люди, вышедшие в город. Всегда выходили — в мастера, в торговцы, а потом помаленьку и в студенты. Те приспособились и эти потом приспособились. Отличие было в том, что те выходили по своей воле поодиночке и когда хотели, а этих — вытолкнули громадной массой общие экстремальные обстоятельства. И я говорю сейчас об их восприятии первых лет, когда они неожиданно для себя и не по своей вине оказались в роли городских аутсайдеров.

Все тогда жили тяжело, но все, кто приехал до них, жили в городских квартирах (пусть в коммунальных, пусть в тесноте, но ведь не в подвалах же) с удобствами, работали на ученых, барских работах или просто были уже — по их мнению — хорошо устроены. И вдобавок среди них было много евреев, на которых гнев изливался привычней и проще, чем на что-либо другое. Тем более что бытовало мнение (об этом я уже говорил), что евреи — это и есть совет-

ская власть и что все это надругательство над жизнью, от которого так жестоко пострадала теперь деревня, идет от них. Но евреи для этих недавних крестьян были только крайним воплощением города, который их обидел. Разумеется, не у всех это было, не у всех — в равной мере. У молодежи этого было меньше. Перед ней, как это ни парадоксально (конечно, если говорить о тех кто уцелел, вывернулся), открывались новые горизонты, даже приобщение к культуре (подлинной или имитированной — как всегда, в зависимости от личных качеств), представлению о которой такой брутальный антисемитизм тогда еще не очень соответствовал. Легализован он был во время войны, обеими воюющими сторонами. И тогда тоже люди этой судьбы, как все, вели себя по-разному — в зависимости от личности каждого.

Все мы жили в мире ложных ценностей, и это затрудняло понимание самых простых вещей. А жизнь тогда была еще менее простой, чем всегда. Атмосфера, создаваемая не лучшими из этих невинно пострадавших, ощущалась и действительно была неприятной, тяжелой. Этим отчасти объяснялись и слова моего приятеля о «худшей части населения». Как ясно из сказанного выше, мне они неприятны: и потому, что они несправедливы по отношению ко многим хорошим людям, тоже относившимся к этой категории, и потому, что они скользят над и мимо трагедии этих людей и не замечают всеобщего греха перед ними. Мне стыдно, что и до меня это тогда не доходило. И до определенной черты я считаю себя более виноватым перед ними, чем их перед собой. Но только до этой черты.

Если она перейдена, положение меняется. Правда, черта эта довольно «далекая», и не всякий может да нее дойти и, тем более, ее переступить. Не всякий ее и переступил — даже во время гитлеровской оккупации, когда появилась и даже стала поощряться такая возможность. Эта черта — слепая, ненаправленная месть и добровольное согласие на палачество, садистская удовлетворенность им. Месть направленная, т.е. использование удобных обстоятельств (той же гитлеровской оккупации, например) для сведения счетов с конкретным, а не символическим обидчиком, — дело пусть отнюдь не рыцарское и не привлекательное, но еще человеческое, в какой-то мере простительное — человек, к сожалению, не всегда звучит гордо. А вот то, что дальше...

У одного из героев повести Юрия Трифонова «Старик», еврея-комиссара из анархистов, когда-то, в 1905 году, казаки в Екатеринославе зверски вырезали всю семью, и с тех пор он ненавидит все казачество поголовно. И теперь — дело происходит во время Гражданской войны на Дону — он мстит всему казачеству — занимается тем, что расстреливает казаков направо и налево, правых и виноватых.

Разберем эту нравственную коллизию. Прежде всего установим, что казаки, вырезавшие его семью, действительно в свое время совершили чудовищное преступление. Даже если он был бомбистом. (о чем они вряд ли бы знали), дело надо было иметь с ним, а не с семьей. Вряд ли кто-нибудь с этим будет спорить. Допустим, эти казаки каким-то образом избежали суда и наказания, по закону полагавшихся им и «при старом режиме» (такое случалось, хоть далеко не всегда), и после революции этот несчастный глава семьи разыскал именно этих казаков и, пользуясь своим новым положением, жестоко им отомстил. Думаю, что мы отнеслись бы к этому самоуправству неодобительно и даже брезгливо, но и с некоторым учетом «смягчающих обстоятельств» — все-таки эти люди у человека всю семью вырезали.

Но когда он стал мстить расстрелами всем казакам вообще, он стал преступником не менее гнусным, но еще более страшным, чем убийцы его семьи, поскольку был еще облечен властью. Все согласятся, что никакая его собственная трагедия тут оправданием служить не может...

Наверное, свои оправдания есть и у сталинских выдвиженцев, сбитых в номенклатуру. Тем более есть они у вытолкнутых из деревни крестьян. Но даже и их она оправдывает только до тех пор, пока они сами не перешагивают через определенную черту, не становятся палачами. А если становятся, тогда — несмотря на все ими пережитое — оправдания им нет, и их не только можно, но и нужно осуждать. Но все-таки, принимая во внимание извивы нашей истории и наши многочисленные вины перед самими собой и друг перед другом, взрослым людям нельзя это делать с легким сердцем, как мой приятель в детстве. И совсем не с легким сердцем приступаю я к рассказу о подлости и жестокости одного такого садиста из пострадавших.

Люди плохо себя знают. Пострадавшие от тотальных преследований часто мечтают жестоко отомстить обидчику, а

иногда всему миру, равнодушно взиравшему на то, как над ними надругались. И в мечтах готовы переступить через любую черту: ведь в отношении их все черты были перейдены. Но когда доходит до исполнения, далеко не все, кто так мечтал и говорил, могут и хотят реально ее переступить.

В нашем дворе было, как минимум, несколько человек, вероятно, считавших себя вправе ее перешагнуть. Это чувствовалось и по отдельным их высказываниям, и по атмосфере, возникавшей вокруг них и вносимой ими в жизнь двора. Не уверен, что, когда начались страшные для евреев дни (а речь сейчас об этих днях), все они вели себя благородно. Но что касается «черты», то перешагнул ее, как мне известно, только один из них. И это предчувствовалось — перешагнет.

Человек этот был дворником нашего дома. Всего только дворником. Как говорится, «простым человеком». Фамилия его была Кудрицкий. В мою жизнь этот человек со своей фамилией врезался весьма прочно — не отдерешь. Но имя его — Митрофан — я чуть не забыл, только сейчас вспомнил: я ведь не звал его по имени. Он не изменил ни судеб мира, ни судеб страны — только намеренно и изощренно отравлял последние дни нескольким людям, ничего плохого ему не сделавшим. Не более, чем двадцати. Лично превращал их жизнь в сплошной кошмар и лично получал от этого удовольствие. То, что он над ними совершал, простить может только Бог. Я только человек и кругозор мой человеческий. По моим представлениям простить такого Кудрицкого имеют право только те, над кем он измывался. Но они лежат в Бабьем Яре. Так что прощать некому. Впрочем, ему и не надо их земного прощения — он и сам скоро последовал за ними.

Я говорю не о юридическом прощении. Их убили немцы, а не он, а он лично, насколько мне известно, никого не убил, не служил в лагере, не стоял в оцеплении во время немецких акций по «окончательному решению», не был оператором в газовой камере или шофером душегубки. Он был только дворником. И работал только сам от себя и для себя, для собственного удовольствия. Но до конца он никого не убил (боялся? растягивал удовольствие? — на него и то, и другое похоже), и, возможно, суд присяжных при хорошем адвокате его бы оправдал. Да и советский суд стал

бы в тупик. Тут даже сотрудничества с врагом не припишешь. Немцы только создали обстановку, в которой ему можно было развернуться. А действовал он сам. Потом он переоценил свою «социальную близость» оккупантам и спер у них какую-то мелочь, когда рядом с нашим домом остановился какой-то их воинский обоз. Видимо, по привычке думал, что она плохо лежит. А у немцев ничего плохо не лежало, хватились сразу. И поскольку они к таким вещам не привыкли относиться с юмором (да и, наверное, не первый он был такой на их пути «социально близкий»), то не прощали их никому. Так что он без лишних проволочек был тут же за это расстрелян и стал жертвой гитлеровских оккупантов. И следует удивляться, что он в герои партизанского подполья еще не попал. А может, попал, но я не знаю. Попал же Киев в города-герои.

Впрочем, для меня это неважно. Даже если б он так глупо не погиб, а жил бы теперь в Америке и если б по закону его деяния наверняка подлежали бы преследованию (думаю, что все-таки подлежали бы), я бы его не разыскивал, не стал бы добиваться его наказания или «репатриации», а, встретив, прошел бы мимо. Не для демонстрации презрения (что ему мое презрение!), а просто не до него как-то. Сейчас в Америке он продолжать свои художества ни в какой форме не мог бы, содеянного им все равно не исправишь, а мстить ему — хлопотно и неинтересно. Да и много чести. Но умолчать о нем я не могу — слишком он врезался в мою память. Да и вообще есть, наверное, о чем подумать в связи с ним.

Появился дворник Кудрицкий с семьей в соседнем дворе году в тридцать четвертом, когда дворы еще не были объединены. Узнал я об этом так. Однажды после дождя, когда я возле нашего дома то ли пускал кораблики, то ли строил из песка запруды в канавке у мостовой, ко мне подошел мальчик примерно моего возраста (потом оказалось, что чуть постарше) и выразил желание принять участие в этом развлечении. Я обрадовался, и мы стали играть вместе. Мальчик был вежливый, скромный, дружелюбный и поначалу был несколько скован в проявлениях, как обычно дети на новом месте. Потом это прошло. Мальчик мне понравился. Он сказал, что его отец теперь — дворник соседнего дома и что они живут в дворницкой. Я знал ее — это

был отдельный домик во дворе прямо против подворотни. Скоро мальчика позвал отец — тогда я впервые увидел самого Кудрицкого. Мальчик, с которым я познакомился, был третий его сын — Иван.

Надо сказать, что и он, и его братья (два старших и два младших) быстро акклиматизировались в новой среде. Мы вместе играли, дружили, и, в общем, ничего плохого я о них сказать не могу. Ничего плохого я и не слышал об их поведении в те страшные девять—десять дней (между уходом советских войск и Бабьим Яром), когда свирепствовал их отец. После войны я видел только старшего из них — Васыля. Говорили мне, что и младший тоже дома, но я его хуже знал. Один — Кырыло — умер еще до войны от заражения крови. Он мне внушал наибольшую симпатию. Куда девались два остальных брата — Иван, которого я упоминал, и Мыкола, с которым проводил больше всего времени, — не знаю. Но речь не о них, а об их отце.

Я его хорошо помню. Помню, как со своими метлами, совками и прочими атрибутами дворницкой профессии он буквально царил во дворе. Он обладал удивительной способностью все на свете превращать в атрибуты власти. Не припомню, чтоб он особенно досаждал нам, ребятам, — наверное, не больше, чем положено дворнику. Но сдержанная злость его ощущалась как-то иррационально — даже сквозь угодничество, которое тоже было ему вполне свойственно. И очень часто звучал на весь двор его обличающий голос: такого-то посадили, а такой-то «жинку бросыв». И думаю, что он ненавидел тех, перед кем заискивал. Думаю, что он вообще ненавидел тех, кто, как ему казалось, преуспел в жизни больше, чем он. А поскольку его выбили из колеи, то таких на новом месте было много — горячего хватало.

Но думаю, что дело здесь не только в «колее» (из нее многих выбили), а и в нем самом. Если б его не выбили, если б не коллективизация и оккупация, все это зло все равно сидело бы в нем (преуспевшие больше тебя всегда найдутся), но дремало бы, не развившись. При всей его неприязни к советской власти, разбившей ему жизнь, которая проявлялась косвенно, но ощущалась явно, ему нравилась власть как таковая. И быть понятым при обысках и арестах (это и доныне входит в обязанность дворника) ему тоже нравилось. Нравилось ему падение людей, устроив-

шихся лучше его, с этажей, которые, вероятно, и воплощали в его глазах эту устроенность. Нравилось больше, чем не нравилась сама советская власть. Но когда запахло другой властью...

Помню его ликование во время первых налетов немецкой авиации на Киев. Помню, как утром, на третий или четвертый день войны, над нашим домом с ужасающим рокотом на малой высоте прошло два, кажется, звена немецких самолетов — безнаказанно, не нарушая строя, не обращая внимания на эскорт безопасных для них пока зенитных разрывов. Помню собственное чувство незащитности, неожиданное в человеке, уверенном в «нашей непобедимости», и помню, что творилось в этот момент с Кудрицким. Он был вне себя — от счастья и страха одновременно. Он был в восторге от собственного страха перед силой приближающейся непобедимой власти. Он орал нечто нечленораздельное, что, с одной стороны, могло означать заботу о соблюдении порядка (загонял всех в подворотню, чтоб не убило), а с другой — ликование (он и загоняя в подворотню, чтоб не убило, — этим еще с удовольствием демонстрировал мощь наступающей силы). Не знал он, что это ликование и по поводу собственной гибели. Предвкушал он только, как будут погибать другие. Рад ли я, что он расстрелян и порок наказан, что случилось по пословице: «Не копай могилу другому — сам в нее попадешь»? Да нет, пожалуй. Мне страшно, что люди могут быть такими.

А может, таким он не был, а только его довели до потери человеческого образа? Ведь то, что он радовался концу советской власти, это более, чем естественно для человека, согнанного ею с земли. И даже то, что больше всего его радовала открывающаяся возможность безграничного сведения счетов, тоже еще как будто естественно. Но выражение «сводит счеты» неизбежно предполагает вопрос: «С кем их сводить?»

Действительно, с кем он собирался сводить счеты? С советской властью? Но это существо для мести слишком абстрактное. Счеты можно сводить только с конкретными людьми — с непосредственными обидчиками и теми, кто направлял их деятельность. Но ни тех, ни других рядом быть не могло. Первые — рядовые — либо остались в деревне, либо могли попасться ему только случайно, ибо (уполно-

моченные, политотдельцы) были рассеяны в неопределенности. Ну а тех, кто направлял их деятельность, представителей центральной власти, в его дворе и быть не могло, а если бы были, уехали бы в эвакуацию. Даже люди, верившие, что «во всем виноваты евреи», не могли не понимать, что это явно «не те евреи», которые не смогли или не захотели эвакуироваться. А он не был идиотом и был дворником, т.е. прекрасно знал, кто есть кто на контролируемой им территории. Следовательно, «мстить» он собирался не обидчикам, а тем, кто попадетсЯ. После этого теряют всякий смысл все рассуждения о счетах и мести. Речь идет просто о злобе, которая искала любого выхода. И это — в наиболее «идеальном» случае. Короче, он собирался вовсе не мстить, а только мучительством невинных сладострастно, садистически «отводить душу» или «срывать зло». И от немцев он ждал безнаказанности в реализации этой своей потребности. Ничего больше.

И не надо выдвигать соображение о простом человеке, которому трудно было разобраться в сложных хитросплетениях советской жизни. Все, в чем ему надо было разобраться, было вполне в пределах его опыта и доступно его пониманию.

А срывал он свое зло страшно. В нашем большом дворе оставалось не больше двадцати евреев. В нашем маленьком домике, кроме дяди с тетей, остались еще две семьи — Этингеры, поступившие так из тех же побуждений, что и мой дядя, и жившие в одной с ними квартире мой ровесник-ремесленник, о котором я уже рассказывал, и его мать. Но эти, как и большинство оставшихся евреев, просто по каким-то причинам не смогли сдвинуться с места.

Не мог, например, сдвинуться с места из-за дебильной дочери Веры мой демиевский дядя Иосиф (тот, с которым я спорил о Боге). К несчастью, когда пришли немцы, он тоже оказался в нашем доме. Получилось это так. В Голосеевском лесу над Демиевкой высадился немецкий десант, и жителям приказали ее покинуть. Вот дядя с семьей и переехал к сестре, в нашу опустевшую квартиру.

Всем оставшимся евреям нашего дома пришлось от Кудрицкого солоно. Но точно мне известно только то, что он вытворял в нашей квартире. Об этом я и буду говорить.

Итак, в квартире жило пять человек: два дяди, их жены и дебильная Вера. Дяди — оба пожилые, оба бородатые, оба верующие. Пожилыми и верующими были, естественно, и их жены. Это должно было говорить само за себя. Тогда еще не было прирученных церквей и синагог, и верующие не могли восприниматься как опора власти. И еще насчет большевизма — Кудрицкий, конечно, не мог знать, что один из этих дядей, как и он, ждал немцев — он ведь и сам об этом вслух не говорил. Но он не мог не знать, что этот дядя раньше владел домом, а потом вынужден был его сдать, т.е. что не он раскулачивал, а его раскулачили. Да и вообще он ни на минуту не мог предположить, что эти люди как-либо связаны с деяниями советской власти, что ему есть за что им мстить.

Кстати, насчет раскулачивания. Ему очень нравилось, когда дядя вынужден был сдать свой дом. Он с удовольствием и важностью тогда выступал от имени советской власти, этот дом принимавшей. Еще один человек, тем более еврей, утрачивал преимущество перед ним. Нет, не социальные мотивы руководили им. Конечно, он был патологическим антисемитом. Но главным в нем была патологическая злобность, а антисемитизм был наиболее удобной ее канализацией.

И он тешил душу. Ежедневно, ежеутренне являлся он в нашу квартиру, как злой рок, как знак возобновления мук, с единственной целью — надругаться. Он издевался над этими стариками многообразно и изобретательно, избивал их, заставлял руками чистить дворовую уборную и делать многое другое, всегда унижительное, часто непосильное. И за недостаточно хорошее исполнение наказывал. Он был господином их каждой минуты и ему нравилось быть таким господином.

Легализация погромного антисемитизма пришлась многим на руку. Подонков на земле всегда много, и в такие моменты им вольготно живется, «грабят награбленное». Вероятно, врывалась к ним и уличная шпана, отбирала, что могла. Почему б не обидеть беззащитных стариков, если власть разрешает. Думаю, что и Кудрицкий охулки на руку не клал, бессребреничеством он не отличался. Но главное его наслаждение, главная его корысть была не материаль-

ной, а духовной. То, что он делал, было не спорадическим хулиганством или грабежом, а перманентным садизмом.

Все было так страшно, что тетя Хаита в отчаянии умоляла соседку, Анну Семеновну Колесникову, к которой всегда относилась с симпатией, но с которой близких отношений у нее все же никогда не было, спрятать ее мужа. Нет, не от немцев, Боже сохрани, — от издевательств Кудрицкого. Анна Семеновна была вполне порядочной, интеллигентной и доброй женщиной и сочувствовала несчастным старикам. Но она, смущаясь и стыдясь, отказала им в помощи. Боялась. И опять не немцев — Кудрицкого. Да и попросить об этом можно было, только потеряв голову от отчаянья, — ну кто мог от него кого-нибудь спрятать? От гестапо было бы много легче. А у нее самой с точки зрения «нового порядка» было рыльце в пушку — сын в Красной Армии. Кудрицкий наводил на весь дом страх и трепет. В том и состоял его звездный час. Конечно, его боялись и потому, что за его спиной стояла вся мощь вермахта, СС и гестапо, но в данном случае он их использовал, а не они его.

Немцы вошли в Киев 19 сентября, расстрелы в Бабьем Яре начались 29-го. Все эти десять дней родные мои жили под властью не столько Гитлера, сколько Кудрицкого. У Гитлера были еще другие заботы, у Кудрицкого, видимо, только эта. Он устроил им персональный Освенцим на дому и ему было не лень следить за его «распорядком» — чтоб не забывались. И хотя погибли мои родные не от его руки, но изымательства его были таковы, что, вполне возможно, эту гибель они восприняли как освобождение. От него. То, что он им устраивал перед смертью, было, по-моему, страшней, чем сама смерть.

Я не знаю, какова степень его страданий во время коллективизации. Вероятно, не самая крайняя, раз он смог поселиться в Киеве и никем не преследоваться. И, вероятно, все же не малая, раз он вынужден был покинуть деревню. Да и не было этой малой степени в таком страшном деле, да еще на Украине. Но, по-видимому, жажда мстить вообще определяется не мерой страдания, а склонностью к таким занятиям.

Мне рассказывали об одной здоровенной бабе, которая остановила на дороге из Кишинева в Одессу уходящих пешком от немцев бабушку с четырехлетней внучкой и велела

девочке снять и отдать туфельки. Девочка сначала не поняла, чего от нее хочет эта громадная взрослая тетя. Но бабушка ей ласково объяснила, что надо сделать. Дальше девочка шла босиком по горячей каменистой дороге.

Не знаю я, что за плечами у этой бабы. Но что бы ни было, она — образец жестокой изменности. Но по сравнению с Кудрицким бабища эта — ангел непорочный. Ей ведь только туфельки и было надо. И занималась она обыкновенным грабежом, даже мелким. Кудрицкий этим не ограничивался. Ему для удовлетворения и крови было мало. Надо было еще и мучить.

Когда немцы взяли Киев, мы, находясь в эвакуации, естественно, очень испугались за своих близких. Мы ничего еще не знали ни о Бабьем Яре, ни об «окончательном решении еврейского вопроса». Знали только, что немцы развязывают антисемитизм. И больше всего беспокоило нас в связи с этим то, что это полностью отдает их в руки именно Кудрицкого. Мы почему-то, в целом, знали, чего от него можно ждать. Чувствовалась в человеке изощренная эта злобность.

История наша трагична. И я понимаю тех, кто во время войны оказался с оружием в руках на другой стороне. Я не думаю, что это было мудро или правильно — хотя бы потому, что «другая сторона» своей сущности и своих намерений в отношении нашей страны не скрывала. Но я никого за это не осуждаю. Как я могу осуждать, например, раскулаченных крестьян и их детей? Или тех, кто был в Белой армии, не смог с ней эвакуироваться и жил потом двадцать лет с засекреченной биографией, как бы не существуя — даже если был зарегистрирован, говорить об этом не рекомендовалось. Приход немцев для таких людей был реальным освобождением.

Но в данном случае речь идет не о них, а о подонках, которых в изобилии разными сочетаниями пряника с кнутом производила советская эпоха и которых было достаточно по обе стороны фронта.

На Лубянке в 1947-м я даже формулу такую слышал от некоторых «нахально-репатрированных»: «При советской власти неплохо жил и при всякой — не пропаду». Конечно, есть в этой формуле и бесшабашность отчаяния, но в устах у некоторых это вполне звучало как нравственный принцип.

Мне приходилось читать в эмигрантских изданиях, что в РОА было много немецких агентов, сообщавших в гестапо все, что они видели и слышали вокруг себя, т.е. стучавших на своих чужим. А эти за какую коллективизацию мстили?

Далеко меня, однако, завела тема Кудрицкого. А ведь коснулся я ее в связи с жизнью нашего двора, чтоб передать ее атмосферу на фоне времени. Нескоро, очень нескоро стал задумываться я над этим. Лет до двенадцати таких осмыслений вообще не бывает, а потом его затмили широкие горизонты. Мы — говорю (словами Маяковского) о себе и своих романтических сверстниках — мы стремились во всем «рваться в завтра, вперед. Чтоб платье трещало в шагу». И презирали всякую косность как мещанское противостояние сталинскому «новаторству», которое обнимало все стороны жизни, распространяя на него аксессуары искусства и без спросу — впрочем, как и многие западные интеллектуалы — меряя все и всех этой приблизительной мерой. Хотя и мучали несоответствия.

Впрочем, и здесь я забегаю вперед. Все эти мои мысли и заблуждения еще впереди. И даже из Маяковского я читал пока только «Возьмем винтовки новые...» в «Пионерской правде» и недоумевал, почему в стихах этого великого, как он назван в той же газете, поэта слова так трудно складываются в строки. Года через три я это пойму, а лет через тридцать опять перестану понимать. Но все это не будет связано с жизнью двора, а сейчас речь именно о нем.

Я скоро уйду из него. Уйду без всякого сожаления, не оглядываясь, гордясь, что расту, что выхожу на свою колею. Хотя сегодня я отнюдь не убежден, что так уж это хорошо — уходить, не оглядываясь. Некоторые мои сверстники так и остались людьми двора и улицы (конечно, не в мамином понимании слова «уличные»). Навещая после войны своих вернувшихся в Киев родителей, я мог не раз в этом убедиться. Работали они в разных местах, а жили во дворе и по соседству: все связи, вся «светская жизнь» у них была здесь. Это их жизнь. Чище она или не чище какой-либо другой, знает только Бог. Презирать ее за мещанство? Но я давно уже не болею этой опасной детской болезнью русской и мировой интеллигенции.

Нет, это не покаяние. В моем уходе из нашего двора не было ничего надменного. Меня увели новые интересы и

увлечения, все, что сделало меня потом самим собой и в конечном счете научило понимать и то, что я сейчас говорю — о том же мешанстве, например. И что повернуло мой интерес назад, к двору.

Впрочем, как уже знает читатель, — это поворот в конкретном смысле несколько запоздалый. Ни нашего двора, ни его жизни больше нет. Все ее участники разъехались по новым квартирам и живут иной жизнью. Как им живется в этой новой жизни — пусть более уютной, но и более унифицированной, отдельной — мне неизвестно. Да и не до того было. Но вот теперь вспомнил — и захотелось знать. Это ведь тоже часть моей жизни, часть меня, тоже мои истоки. Не говоря уже о том, что пережитое здесь людьми — это тоже часть нашей истории, нашей общей трагедии. Часть всего, что меня всегда интересовало. Но почему-то не здесь, где прошло мое детство. Может быть, этому и были причины, но не думаю, чтоб это меня обогатило.

Связано у меня с детством еще одно впечатление. Появился вдруг в нашем дворе Гаррик Городецкий. Мальчик моего возраста или чуть моложе. Явно интеллигентный. Появился не один, а с Ваней, приемным сыном своих родителей, парнем по моим тогдашним понятиям (мне было лет одиннадцать) совсем взрослым, лет восемнадцати, наверно. Был он, видимо, как говорили раньше, «из простых», но не украинец, а великоросс — таких вокруг больше не было. Подозреваю, что Ваня был подобран отцом Гаррика во время коллективизации в деревне, куда его посылали по партмобилизации. Такое случалось. Впрочем, это мой домысел. Мне этого никто не говорил. Говорили Ваня и Гаррик как-то не по-нашему, не по-киевски. А.А.Реформатский называл Киев «фабрикой порчи русского языка», но мы этого не знали. Мы свое произношение и лексику воспринимали как норму, а остальные — как экзотику. Ваня опекал Гаррика. Он был вполне покладистым парнем, но умел за себя постоять. Он поступил на расположенный рядом завод «Червоный двигун» («Красный двигатель») и стал кадровым рабочим. Когда вскоре после событий, о которых я сейчас расскажу, Гаррик с матерью уехали из Киева, Ваня остался в одной из комнат их квартиры и стал органической частью нашего двора. Что с ним было во время войны (по-моему, его мобилизовали в один из первых ее

дней) и после нее — не знаю. Знаю, что он был симпатичным и, как я сказал бы сегодня, оценив его поведение во время тех же событий, надежным и устойчиво-порядочным человеком. В наше время качество не столь уж частое.

Жизненный уклад этой семьи ощутимо отличался от уклада всех известных мне семей какой-то естественной интеллигентностью и тем, что я бы сегодня назвал неуловимой столичностью. Все остальные семьи, считавшие себя интеллигентными, были только мещански добродетельны, что, как я теперь понимаю, тоже не так уж мало. Правда, и материальное положение этой семьи было выше, чем у всех вокруг.

За отцом Гаррика (он был крупным работником трикотажного треста, как я потом узнал) ежедневно приезжала персональная легковая машина — явление по тем временам неординарное и волновавшее воображение дворовой детворы. Пока не начались события и за ним однажды не приехала машина отнюдь не персональная и не увезла его в тюрьму, что в те годы было явлением неординарным только для нас, детворы. Оповестил громогласно об этом радостном для него событии весь двор, как обычно, дворовый герольд дворник Кудрицкий. А скоро мы узнали из местных газет, что начинается суд над шайкой жуликов, орудовавших в трикотажном тресте. Среди прочих фамилий значилась и фамилия гаррикиного отца — Городецкий. Я был ошарашен. Семья никак не была похожа на жульническую. Но как я мог не верить газете?

Только здесь, в эмиграции, я прочел (в «Большом терроре» Р.Конквиста), что процесс трикотажников в Киеве был обычной сталинской провокацией, звеном в цепи фиктивных процессов, связанных с «чистками», то ли их предтечей, то ли составной частью. Мне даже кажется, звеном он был самым остроумным. Трест этот был своеобразной ссылкой для неугодных партийцев средней высокопоставленности.

Писали о жуликах, но дело было не в них, хотя жулики, наверно, тоже были к нему подключены. Но нужны они были организаторам этого процесса не сами по себе, а чтоб связью с ними скомпрометировать неугодных Сталину и по этой причине в этот трест сосланных (небось радовались, что столько приятных людей в одном месте) работников.

Пикантно, что трест этот был не областной, не всеукраинский, а всесоюзный, и его перемещение из Москвы в Киев (из-за чего Гаррик и появился в нашем дворе), вероятно, и было предпринято для того, чтоб отдалить этих людей от центра, а, может быть, даже и для удобств задуманной судебной расправы над ними. Все-таки подальше от знакомых, от тех, кто знал этих людей. Остроумие процесса заключалось в том, что, убирая неприятных ему людей (может, бывших оппозиционеров или кого-то в этом роде), Сталин в то же время вроде оказывался совсем ни при чем. Дело ведь вообще не было политическим — ну спутались где-то в Киеве отдельные «партийцы» с жуликами, моральное разложение, тогда это часто бывало, особенно в провинции. Кроме того, населению убедительно объяснялось, почему и из-за кого в магазинах страны не хватает трикотажа. Как всегда Сталин одним преступлением убивал нескольких зайцев.

Я видел этих людей в день начала суда над ними возле здания на Красноармейской, где он должен был проходить. Я бегал туда с толпой дворовой ребятни глазеть, как из тюремных карет выводят подсудимых. Выводили их по одному. Дорога между каретой и входом в здание была ограждена двумя цепями милиционеров, так что каждый из подсудимых шел как бы по пустому пространству и был хорошо виден. Выглядели они вполне прилично, приветствовали близких и были по-деловому озабочены. Видимо, действительно верили в свою невиновность и надеялись что-то доказать суду. Только по ходу процесса они, верней, самые проницательные из них, могли понять, что доказывать что-либо на этом суде — зряшное занятие. Вряд ли они были наивными людьми. Те из них, из-за кого это было затеяно, уже прошли политические огни и воды и знали, чего можно ждать от Сталина. Но ведь суд был не политический. Это не могло не сбивать с толку. Поразительно, как, когда надо было дурачить людей, масштабная дьявольщина перемежалась у Сталина с мелкой чертовщиной. Ему все было не лень. Как дворнику Кудрицкому.

В свете сегодняшнего опыта совершенно ясно, что их не могли оправдать хотя бы потому, что уже все вокруг знали, что они жулики и из-за них в магазинах нет трикотажа. Но тогда еще несмотря на «дела», подобные шахтинскому, к

такой юридической логике (особенно, если дело касалось партийцев) не совсем привыкли, поэтому подсудимые и ждали чего-то от суда. Впрочем, может, им даже повезло. Может, заклеившая их «бытовая» статья их неожиданно и защитила во времена ежовщины от более смертельных. Если, конечно, сам Сталин вдруг не вспомнил о ком-либо из них. Так что, может быть, и Гаррикина семья потом смогла где-то притулиться и выжить. Дай-то Бог. Особенно его матери. Почему — станет ясно чуть ниже. А тогда то, что подсудимые на что-то надеялись, чувствовалось по всему их поведению и очень меня удивляло. Среди многих «всех», читавших газету, я тоже (вопреки собственным впечатлениям от этой семьи) знал, что отец Гаррика — жулик. На что ж он мог надеяться?

Но и «зная» это, я продолжал дружить с Гарриком — до суда, во время и после него — до самого его отъезда. Я, конечно, ему сочувствовал: ведь тяжело быть сыном такого человека. Но против моих ожиданий ни он, ни его мать, ни Ваня вовсе не сгорали от стыда — наоборот, в их поведении ощущалось сдержанное достоинство людей, з н а ю щ и х то, что другим недоступно. Не только то, что все, что о них говорят и думают, — чушь, но и вообще еще нечто такое, о чем другие и не догадываются и чего им даже нельзя объяснить. Их от других отделила та же черта, что когда-то (теперь я понимаю, что недавно, а тогда мне казалось — давно) отделяла от нас плачущего Владика Федченко. Конечно, определение это сегодняшнее, но ощущение тогдашнее.

В последующие лет восемнадцать эта черта возникала в моей жизни не раз — вокруг других и меня самого, и я давно понял, что это такое. А тогда я еще ничего не знал ни о ней, ни о личном достоинстве, ни о личной порядочности, только чувствовал что-то. Не эти качества пропагандировались пионерскими газетами и журналами, до которых я был большой охотник и которым верил уж конечно больше, чем Гаррикиной маме и Ване. Но поведение их мне безотчетно нравилось, нравилось как раз достоинство, хоть оно было явно личным, а не общественным. Они и виду не подавали, что у них несчастье.

Впрочем, то, что они никогда не говорили о нем при мне, было еще и естественно. Понять я их все равно тогда не мог, а разболтать — хотя бы в удивлении от необычного

отношения к жизни — мог. Но однажды Гаррикина мама сорвалась — и сорвалась довольно опасно. И благодаря этому я получил первый в жизни жесткий урок естественной порядочности, реальной иерархии ценностей.

Произошло это так. Я рассказывал Гаррику очередную вычитанную из пионерской газеты глупую байку о героическом пионере, который раскрыл и предотвратил козни каких-то врагов, кулаков или еще кого-то, в том числе чуть ли не родителей — подглядел, подслушал и — «раскрыл». Бестактности своего поведения я начисто не понимал и пел соловьем. К ужасу своему, не поручусь, что это не было скрытым подбодрением товарищу: «дескать, не все еще потеряно, у тебя еще есть возможность остаться в наших светлых рядах». Но может быть, я сейчас и клевету на себя — все тогда могло быть с незащищенным ребячьим, 9—11-летним сознанием, облучаемым пионерскими газетами. Потом, в Москве, я видел кое-кого из этих «облучателей» — властителей моих тогдашних дум. Уровень их был невысок, но иногда это были даже неплохие люди, которые сами были облучены диалектической «идейностью». Потом во время чисток они сами были репрессированы «в общем порядке». Они, по-моему, и до сих пор, если живы, не знают, что они с нами делали. Впрочем, то же самое раньше сделали с ними, и уж безусловно во времена досталинского коммунистического энтузиазма. Сталину вполне сгодились плоды досталинского революционного воспитания.

Они и звучали во мне, когда я пел соловьем у Городецких. И тут мать Гаррика, которая обычно в наши разговоры не вмешивалась, оторвалась от того, чем была в этот момент занята, посмотрела на меня и каким-то подчеркнуто-обыденным голосом, как бы между прочим, спросила:

— А разве это хорошо — подслушивать, подглядывать и доносить?

Вопрос этот прозвучал для меня как гром среди ясного неба. Сравнение затаскано, но именно так он и прозвучал. Так же неожиданно и так же сильно. Как видите, я запомнил его на всю жизнь. Если бы я был тогда человеком чести, он прозвучал бы как пощечина. Но я был не человеком чести, а мальчиком, читавшим пионерские газеты. И тогда он меня больше смутил, сбил с толку, чем потряс абсолютностью. Нечто подобное я мог слышать и дома, но ведь

на моих родителях были «родимые пятна» капитализма, а тут это говорила молодая, блестящая, явно современная женщина, говорила убежденно и как само собой разумеющееся. А как же тогда все, чему меня учили? «Мы и враги», «свои» и «чужие», «общее» над «личным», «верность классу» и все прочее? Эта женщина явно «вела мешанские разговоры», явно не могла подняться над личным (а мне казалось, что это не только хорошо, а и просто), но, тем не менее, несимпатична мне не была. И я никогда и никому не рассказал об этом разговоре. Постарался забыть. Видимо, подвиг Павлика Морозова привлекал меня только теоретически.

А ведь тому, что это хорошо, учило все. В том числе и вся литература, не только пионерская. Помню чей-то рассказ о Гражданской войне. Один молодой коммунист интеллигентного происхождения выдает ЧК приятеля своих родителей, которого те прятали в своем доме. И помню, как иронично воспринимает герой трагическое (по мнению рассказчика — трагикомическое) недоумение своих родителей: «Как? Ты мог донести? Ты доносчик?» Как же! Ведь герой как раз сейчас получает «пролетарскую» закалку, избавляется от мелко-буржуазной интеллигентской мягкотелости. Наоборот, он чувствовал бы себя предателем, если бы сокрыл это от своих новых товарищей. Мысль о том, что тайна эта была ему известна только потому, что ему ее доверили как своему, просто для него не существовала. А ведь открыто, сознательно, по убеждению порвавший с революционерами и перешедший на сторону правительства народоволец Лев Тихомиров в письме, в котором он каялся и просил о прощении, тем не менее, предупреждал адресата, что никаких доверенных ему бывшими товарищами тайн, при всем отвращении к ним, он не выдаст, и именно потому что ему их доверили. Это могло поставить под сомнение его искренность и затруднить его положение, но иначе он не мог. У героя же этого рассказа вместо личной совести была классовая, точнее партийная. Как же тут Сталину было не развернуться?

Это уже в «Литературной газете» 70—80-х годов, когда ею руководил один из самых непорядочных людей нашей эпохи Александр Борисович Чаковский, на каждом шагу можно было встретить слово «порядочность». Иногда его

употребляли порядочные люди в честных целях, иногда слово «порядочность», придавая ему противоположный смысл, использовали — призывали к ней — брежневские гэбэшники. Но авторитет этого понятия уже признавался всеми. В 1930-х же это слово воспринималось как наследие «проклятого прошлого». Другое дело — «беззаветная преданность делу революции и непримиримость к ее врагам» — это я понимал. Я потом — конечно, через много лет — не раз с благодарностью вспоминал этот разговор. Думаю, что и без этой ее фразы я бы все равно не стал ни подлецом, ни доносчиком.

Могут сказать — но ведь эта женщина еще недавно была женой видного члена партии, то есть сама принадлежала к той среде, которая собственно и научила меня говорить глупости, вызвавшие ее отповедь. Помнила ли она об этом, когда ее произносила? Сказала бы она мне эти свои слова годом раньше? Я не хочу об этом думать. Может быть, и думала, может, и сказала бы: в конце концов видным членом партии была не она, а ее муж, а она могла и не придерживаться партийной морали. Да и есть такая вещь, как покаяние — когда человек, которого оболгали и обидели, не только огорчается за себя, а начинает понимать, что и сам он лгал и обижал других. Может, это и произошло с ней? И даже с ее мужем? Что я вообще знаю о них?

Но что б у нее ни было раньше, как бы сама ни заблуждалась, в чем бы ни была виновата — все равно я ей благодарен. Все-таки именно она в этот сложный для себя момент впервые продемонстрировала передо мной нормальное отношение к вещам, величие человеческого достоинства. Даже если восстановление этой истины далось ей самой только в результате превратностей ее собственной судьбы, все равно это тогда было подвигом. В дни, когда со всех трибун и полос прославлялся «бесстрашный» сибирский пионер Павлик Морозов, донесший на родного отца, ее слова шли вразрез со всем, что внушалось, и произнести их было непросто. Могут сказать: подумаешь, подвиг! — каждый, кого «сбрасывают с раската», становится защитником порядочности и справедливости. На основании невеселого нашего опыта я могу твердо на это ответить: нет, не каждый. Ох, не каждый...

Кстати, интересно и то, в каком именно преступлении был, согласно внушаемой легенде (истинность ее под сомнением, но внушали именно ее), с помощью Павлика Морозова изобличен его отец. В самом страшном. Будучи председателем сельсовета, он помогал контрреволюционерам «заметать следы». Каким именно? Газеты об этом писали вполне откровенно. Речь шла не о политических деятелях, не о террористах, не о диверсантах или шпионах, а о крестьянах, сосланных в эти места в качестве кулаков и подкулачников. Отец «юного героя», председатель сельсовета, выдавал им фальшивые справки, позволявшие им, как якобы местным жителям, покинуть место ссылки и, к слову сказать, влиться в социалистическое строительство. Вероятно, отец большей частью оказывал эти услуги людям за соответствующую мзду, но в такие времена взяточник фигура гораздо более моральная, чем моралист, свято соблюдающий бесчеловечные правила. Тем более, что взятка здесь — плата за риск. И немалый...

К сожалению, у «юного героя» нашлись последователи, о чем всегда сообщала «Пионерская правда», стоявшая во главе этого «движения». Одну из его последовательниц газета отыскала и в нашей школе. Звали ее Таня Бойко. Приятель познакомил меня с ней. Оказалась она симпатичной живой девочкой из параллельного украинского класса. Дело было еще в 95-й украинской школе, и мы оба были третьеклассниками (т.е. десятилетними). Связан был ее подвиг с широко тогда известной, воспеваемой в стихах и прозе (в том числе и в поэме позднее расстрелянного Бориса Корнилова) «трипольской трагедией» или гибелью «героев Триполья». У этого события есть две истории. История самого события и история его освещения.

Начну с события, как оно видится из сегодняшнего дня, т.е. без революционно-романтического флера, которым оно было окутано во времена моего детства и отрочества. Летом 1920 года под Киевом вспыхнуло большое крестьянское («кулацкое», как его актуально обзывали газеты в начале тридцатых) восстание, руководимое атаманом Зеленым (или Элэным) с центром в селе Триполье, расположенном на правом берегу Днепра, километрах в 30—40 южной Киева. Настоящих воинских частей для немедленного подавления восстания в городе не было, и из местных комсомольцев

был сформирован особый полк. Полк отбросил восставших от Киева, куда они уже подобрались, и на второй или третий день вошел в Триполье. Крестьяне, среди которых было много фронтовиков, применили военную хитрость. Они спрятались вместе с семьями в погреба и другие укромные места, так что село выглядело пустым. А ночью, когда полк, расположившийся в центре села на площади у церкви, заснул, вылезли из укрытий и уничтожили незадачливых карателей-идеалистов. Спаслось только шесть или семь человек.

Убивали комсомольцев картинно. Связав руки, сбрасывали в Днепр с высокого обрыва и расстреливали из пулемета. Хорошего в этом мало, как во всякой жестокости. Но ведь и идеалисты приходили к мужикам не с Евангелием, а с оружием, чтоб заставить их покориться и сдавать продразверстку во имя нужной идеалистам, но никак не мужикам мировой революции. Так что ожесточение мужиков понятно.

Конечно, дело этим кончиться не могло. Против повстанцев послан был из Киева пароход с другими карателями, но мужики его потопили первым же выстрелом из орудия (вероятно, отнятого у идеалистов). Но плетью обуха не перешибешь. Подошедшими войсками повстанцы были частью рассеяны, частью уничтожены, а в дальнейшем опозорены. Само же событие в большевистском освещении, но с сохранением канвы было, так сказать, «вписано в книгу героических деяний комсомола».

Правда, потом с канонической легендой происходили удивительные метаморфозы. Я два раза ездил на экскурсию в Триполье (там был до войны открыт музей, как теперь сказали бы, мемориал — в честь этого события) и каждый раз слышал разные версии о составе участников. Во второй раз, после 1937 года, «в духе времени» все семь уцелевших оказались самозванцами, командир полка — предателем, все остальное — в том же духе, но само событие оставалось нетленным. А после войны эту трагедию просто отменили и мемориал не открыли вовсе... Классик советской литературы и государственный деятель А.Е.Корнейчук объяснял это моим знакомым приблизительно так: «Большинство погибших в Триполье — евреи (что естественно, раз отряд формировался на еврейском Подоле. — Н.К.), в то время как

большинство погибших на Украине за советскую власть — украинцы. Только погибли они не здесь, а в других местах. Поэтому мемориал в честь этой трагедии нарушал бы справедливость».

Объяснение смешное, но выводы меня устраивают. Мемориал в честь трипольской трагедии открывать не надо, грешно. А если открывать, то действительно в честь украинцев, но не украинских комсомольцев, погибших в других местах, а украинских крестьян, защищавших себя от любых комсомольцев и разбитых армейскими частями. Их трагедией это и было.

Но в дни, когда Таня Бойко совершала свой «подвиг», обстановка была такова, что никакому Корнейчуку в голову бы не пришло ни вообще вылезать с такими обоснованиями, ни просто ставить под сомнение «героев Триполья». Все вокруг пело им осанну: радио, газеты, киножурналы и школа.

А дядя Тани Бойко, выпивая с друзьями, хвастали тем, что это именно они учинили расправу над этими героями. Они были родом из Триполья. И о советской власти дядя тоже выражались вполне неласково (дело ведь было после коллективизации и голода). Доставалось от них за рюмкой и евреям, с которыми у них ассоциировалась эта власть (а у Тани в школе были друзья-евреи). Мудрости в их филиппиках, возможно, и впрямь было меньше, чем озлобления, но кое-что из личного опыта они бы могли привести в подтверждение своих слов. А они ведь были не философами, а только крестьянами, согнанными с земли. Все это стало известно только потому, что об этом ТАМ, ГДЕ НАДО (как названо это учреждение в романе В.Войновича), рассказала сама Таня.

Почему она это сделала? Я читал, что дядя ее плохо с ней обращались, напившись, били, заставляли много делать по дому. Но, с другой стороны, они как-никак, пригрели сироту, содержали как могли. И, судя по всему, обращались не плохо, а как вообще с девочкой в крестьянских семьях. Кстати, как и с кем она жила, «разоблачив», то есть погубив дядьев, я не знаю. Повторяю, она вовсе не выглядела несчастной, когда я с ней познакомился, подколодной змеей она тоже не выглядела.

Думаю, что дело или не в этом, или не только в этом, а еще и в том, что я раньше назвал противостоянием школы

и двора. Дядья в этом смысле, естественно, выступают в роли двора. А Таня ходила в школу. Вероятно, обстановка в доме была действительно не особенно радостной и светлой. Как могла она быть иной, если хозяевам надо было скрывать свою биографию и сущность, скрывать как позор то, чем гордились? А в школе было сравнительно празднично и нарядно, никто не пил и не ругал ее. К тому же в школе перед ней открывались широкие горизонты и перспективы. И «герои Триполья», которых дядья ненавидели такой безысходной и бессильной ненавистью, составляли органическую часть этого манящего, праздничного мира. В школе их чтили. Так что и они оказались на светлом школьном берегу — не там, где дядья. Они погибли, но были для нее там, где свет и сила, а дядья — там, где мрак и бессилие. Расправа над героями, водка и грубость сплелись для нее в один отталкивающий образ. Мысль о том, что выглядевшие в ее глазах так дядья могут быть в чем-то и правы, просто показалась бы ей тогда несуразной. Они не выглядели правыми. Надо было — нас всех учили, что это обязательно — сделать выбор, с кем она. Для нее это был выбор между светом и мраком. И Таня его сделала, как ее учили.

В сущности, такой выбор стоял тогда перед всеми нами и такое предательство совершали тогда все мы — выбирали свет ценой забвения тех, кому была навязана роль представителей тьмы. И никто не понимал, что потом можно так же предать забвению нас самих, когда роль представителей тьмы на тех же основаниях начнут навязывать нам. Под словом «мы» я разумею кого угодно.

Это легенда, что молодежь — та, которая тянется к осмысленной и интересной жизни, а в Тани школа эту тягу, безусловно, пробудила, — всегда настроена бунтовщически и непримиримо. Это бывает только тогда, когда, в худшем случае, ведет к временным неприятностям, иногда даже к мгновенной героической гибели, но не к прочному отстранению от жизни. Молодежь вообще интересуется не столько правота, сколько само обаяние жизни, которое проигравшая, задавленная правота часто теряет. Именно поэтому она часто переходит на сторону победившего тоталитаризма и в жажде принять его слепую и тупую силу за творческую занимает в нем порой крайние позиции. Это не то же, что сервиллизм. При Сталине за защиту этой крайно-

сти платились головой, но отрекались не всегда. Сталинский тоталитаризм любил менять личины, но не любил, чтоб его ловили на этом, а они — ловили. Но когда они выбирали этот путь, они выбрали то, что утвердилось в жизни, а не то, что заведомо задыхалось; участие в игре, которая еще может вестись — пусть даже и с невыигрышной позиции, — а не в той, которая как бы исчерпала себя. И это естественно. Молодежь хочет жить и отталкивается от всего, за чем не чувствует жизни. Ей трудно поверить, что истина и правда не там, где жизнь. Таню тоже этим заразили. В ее представлении тоже, как и у многих других, грамота и свет стали неотрывны от людоедства.

Конечно, таких страшных стрессов, как у Тани, у большинства, в том числе и у меня, не было, ибо не было и такой ситуации. Я был таким же учеником младших классов, как и все вокруг. Может быть, только был менее ловок физически и поэтому выглядел нелепей большинства. И внутренние претензии мои были большими. Впрочем, откуда мне знать, какие были у других, если, в чем именно состояли мои, я знал весьма приблизительно. Действительно, в чем? После конфуза с плагиатом (о нем никто не узнал, но я-то помнил!) на «литературу» я больше не претендовал. Донимала романтика — хотелось быть профессиональным революционером, этаким Че Геварой. Везде ездить и везде кого-то от чего-то освобождать. Получалось благородно и интересно. Это хорошо компенсировало меня за все мои нелепости и неловкости. Дескать, погодите, узнаете!

Я понимаю, что лью воду на мельницу того московского «просвещенного антисемита», интервью с которым (при отповеди А. Синявского) было опубликовано когда-то «Синтаксисом». Я как бы иллюстрирую собой то его положение, что евреи стали рваться в литературу после того, как их вытеснили из политики. Но на самом деле тот романтический бред, который меня занимал, может быть назван политикой только с очень большой натяжкой. Скорее в политике для меня сублимировалось то, что должно было вести к поэзии. Впрочем в тридцатые годы это можно было отнести не только ко мне или даже ко всей советской культуре, а и к мировой. Но об этом потом. Речь пока идет о временах, когда я еще вряд ли знаю, что есть проблемы культуры.

Больше всего меня все-таки занимает революционная романтика, и я жду не дождусь, когда меня примут в пионеры.

Помню, как я был оскорблен, когда поначалу меня не включили в первую группу учеников нашего класса, принимаемую в эту организацию. В нее включили только отличников. Мое же положение в классе было всегда странно-межеумочным — я помещался где-то между отличниками и кое-как учившимися. Да и поведение в классе у меня сильно «хромало», хотя опять-таки к хулиганскому крылу я не примыкал. И помню, как я был счастлив, когда меня все же включили в эту патрицианскую группу. Ибо идеяность моя была уважена, справедливость восстановлена и тщеславие мое, в котором я себе не признавался, тоже компенсировано. Впрочем, вскоре в пионеры приняли и всех остальных. Наш класс, как и все другие в стране, автоматически стал пионерским отрядом.

Принимали нас на партийном собрании одного из цехов завода «Червоный двигун» («Красный двигатель») — тогда еще почти все окрашивали именно в красное. Завод этот — кстати, тот самый, на который устроился Ваня, — был шефом 95-й школы, где мы тогда еще учились, и расположен был на Жилянской как раз напротив. Другим концом заводской двор выходил на Совскую. Все в двух шагах от моего дома.

Выстроившись на сцене, мы звонкими голосами продекламировали текст «торжественного обещания» — еще досталинского, выдержанного в революционно-интернационалистических тонах. Мы обещали отдавать все силы борьбе за освобождение рабочего класса всего мира — не меньше. После чего наша вожатая, студент-филолог Галя Калининченка, повязала нам заранее купленные каждым для себя пионерские галстуки, и нас проводили бурными, хотя и снисходительными аплодисментами. Домой мы вернулись пионерами. Мечта нескольких предыдущих лет исполнилась.

Но на самом деле вступил я уже не в ту организацию, о которой читал и мечтал. Я оставляю в стороне то, что не нашел в этой организации тех идеальных пионеров, о которых читал в пионерских газетах, журналах и даже книгах — вряд ли они и раньше существовали. Я говорю о самом характере этой идеальности, о ее, так сказать, направленности. Из этой направленности был тихо, на ходу, уда-

лен революционный дух, к которому я тогда тяготел, и заменен межеумочной абракадаброй. От прежней оставался пока еще только текст «торжественного обещания», но и тот через год или два был приведен в соответствие с наступившими временами. Клялись, в основном, хорошо учиться (хорошо учиться требовалось и в гимназии — при чем тут красный галстук?) и быть верным некоему делу Ленина—Сталина (которое тем и хорошо, что оно дело Ленина—Сталина). Практически клялись в верности начальству. Верность ложной античеловеческой идее классового боя была на ходу подменена верностью не менее античеловеческой бессмысленной безыдейной борьбе неизвестно за что.

Так входил и захватывал жизнь бессмысленный дух сталинщины. Ее элементы проникали в жизнь как бы незаметно, как бы случайно, исподволь. Просто одни понятия или даже цели на ходу с шулерской наглостью, словно ничего не происходит, подменялись другими (как одни люди другими, а потом иногда третьими), так что могло поначалу показаться, что ты ослышался или допущена опечатка. Но не успевал ты опаметьваться, как видел, что эта «опечатка», приведя за собой массу соответствующих, уже получила все права гражданства и уже почти всеми вокруг воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Только вот от этого «разуметь» что-нибудь люди постепенно перестают, но это от них как будто как раз и требуется. Неполноценными себя чувствовали те, кто не мог перестать помыслить и думать.

Конечно, дело не в моих тогдашних скорбях об утрате пионерской организацией революционного духа. Мне давно ни к чему и этот дух, и сама идея создания из детей политической организации. Это нелепость, но она — составная часть другой нелепости, более общей — большевизма, его бури и натиска, его штурма небес и его святая святых — мировой революции. Конечно, нелепы групповые и массовые политические клятвы в десять лет, но идея допускать к этим клятвам в зависимости от академических успехов — вообще бессмыслица. Такая же, как выбирать в Верховный Совет за производственные показатели.

Нет, дело не в моих романтических скорбях. Конечно, в школе надо учиться, а не бороться за мировую революцию (даже если б она была делом стоящим). Я ничуть не скорб-

лю о том, что обязанностью школьников снова стало учиться, а не заседать в общественных организациях, как в двадцатые годы (хотя в детстве думал иначе). Но все это было связано с системой противоестественных ценностей, которая одна только — хотя бы субъективно — оправдывала эту противоестественную власть. Отказавшись от этой системы ценностей, но не отказавшись от порожденной ею системы власти (наоборот, усугубив и ожесточив ее), государство погрязло и погружало весь народ в прострацию.

Конечно, я в детстве так не формулировал. Но что-то чувствовал, какое-то несоответствие, дискомфорт. Долгое время мне казалось, что это происходит со мной одним. Но потом по некоторым реакциям понял, что неуютно в этой прострации чувствуют себя почти все. Во всяком случае люди близкого мне возраста. Именно поэтому ностальгия по идеологии и романтике мировой революции стала символом веры и основой духовности нескольких поколений. Это была ностальгия по смыслу и оправданию происходящего. Проявлялось это по-разному: и в убеждении, что Сталин эти идеалы предал, и в вере в то, что он более сложными и менее приятными путями («приятность» согласно большевистской традиции полагалось презирать) ведет к той же цели. У меня бывало и то, и другое. Но — позже. И каждый раз упоминание об этих материях волновало. Ранние стихи Симонова волновали именно этим. Он умел использовать государственный антифашизм для протаскивания прежней «идейности» и публике нравился.

Из всего сказанного, из того, что запомнилось, вовсе не стоит делать вывод, что в 9—11 лет я был настроен как-то особенно оппозиционно.

Нет, я был обыкновенным советским школьником, верящим, что живу в самой счастливой и справедливой стране, что партия заботится о всеобщим благе и служит высоким целям. А то, что меня иногда царапало, я старался заглушить как голос собственной недостаточности. Но иногда действительность ставила меня в тупик.

Например, однажды, году в 1933—1934-м, в конце коллективизации, в киевской украинской газете «Пролетарська правда» я вдруг наткнулся на материал под приблизительно таким странным заголовком (даю в переводе): «Уничтожить кулацкие колхозы!» Я оторопел — не мог понять,

что это значит. Если колхоз «социалистическим путем» разбогател, почему ж надо его называть кулацким и уничтожать? Разве не к тому «мы» стремимся, чтоб они все разбогатели? Вопрос так и остался без ответа. Не забылся, а отошел на дно сознания. Вспомнил я этот заголовок в 1961 году в Сибири, когда один настроенный вполне ортодоксально бывший коллективизатор рассказал мне свою историю.

Увидел я его впервые (он был тогда председателем сельсовета) на заседании дирекции совхоза «Северный» Северо-Казахстанской области. Вопросы там обсуждались исключительно практические и неотложные. Но вдруг поднялся пожилой человек в ватнике и с бельмом на глазу (это был он) и произнес громовую речь, предупреждавшую присутствующих о кознях классового врага. Все это было ни к селу, ни к городу, звучало странным анахронизмом, но присутствующие, люди очень занятые и деловые, не раздражались, а просто спокойно ждали, когда он кончит, привычно относясь к этому как к неизбежной ритуальной задержке, вызванной давно известной им слабостью уважаемого человека. А, дождавшись, продолжали обсуждать свои дела так, как будто его речи вообще не было. Его явно уважали, хотя я и не понимал почему. Косноязычный и многословный, он мне симпатии не внушал. Я представлял, что мог такой вытворять в те дни, когда эта его терминология не была анахронизмом. И, наверно, вытворял.

Отношение мое изменилось на следующий день. Я, кроме всего прочего, интересовался и прошлым тамошних мест. Неожиданно выяснилось, что в деревне нет почти ни одного старожилы, а те, кого я вижу, народ пришлый — почти все приехали недавно по случаю «поднятия целины» (которую там подняли, наверно, еще при Екатерине, да вот приходилось вторично).

И тогда мне посоветовали зайти к нему в сельсовет. Я удивился, но советовавшие говорили вполне серьезно. Но тут возникало еще одно препятствие — в понедельник утром я уезжал, а разговор происходил в воскресенье.

— Воскресенье? — переспросили меня — Да он этого не признает! Идите смело. Там он.

Чувствовалось, что здесь гордились таким диковинным председателем. Должен сказать, что это «не признает» сразило и меня. Стало ясно, что я чуть не упустил шанс позна-

комиться с реликтом минувшей эпохи. И я пошел смело. И он действительно был там. Правда, собирался уже уходить на обед, но из-за меня снова отпер сельсовет и вернулся. И я до сих пор благодарен ему за это.

Он действительно был реликтом. Прежде всего он действительно был идеалистом, которых много ведь было и в народе. Он действительно считал своим долгом отдавать все свои силы обществу и отдавал. Другое дело, всегда ли это шло обществу на пользу, но он ведь верил тем, кто пробудил его к сознательной жизни. У его большевистской ориентации была и личная подоплека — у него на глазах, когда ему было лет девять, колчаковцы расстреляли его отца. Я не знаю, за что, но на его глазах. Согласитесь, факт запоминающийся. После этого все его пути были только с советской властью. Он был одним из первых комсомольцев, горячим сторонником коллективизации — как пути к новой счастливой и чистой жизни. В каком-то смысле он таким оставался и поныне.

Но то, что мне рассказал этот горячий сторонник советского строя, отнюдь не желавший его очернять, не мог бы выдумать и злейший его враг. Фантазии бы не хватило. Ибо рассказанная им история, действительно, совершенно уникальна. А может, их было и не так мало, но просто хорошо позаботились, чтоб сама память о них развеялась в прах. Ведь вот и об этой я узнал совершенно случайно. А опоздай я минуты на три, не узнал бы и я. А значит, и вы. А значит — никто. Журналисты в те места тогда только за производственными показателями ездили. А местных жителей, повторяю, почти не осталось.

Начиналось как у всех. В период коллективизации к ним прислали в председатели по партмобилизации ростовского (ближе не нашли) рабочего, тридцатитысячника, по фамилии то ли Перх, то ли Берх, а скорее всего (мое предположение) Берг. Человек он, по словам рассказчика, был хороший, честный коммунист, одна беда — в сельском хозяйстве ничего не понимал. Из-за этого над ним местные подкулачники очень издевались. Доходило до того, что лошадь ему запрягали железными к телу. И она сразу кожу до крови натирала. Так или иначе — с этим хорошим коммунистом они быстро дошли до ручки, загубили почти весь скот и поголовье лошадей. Через год этого Перха, Берха

или Берга, к великой его радости, от работы освободили и разрешили вернуться в свой Ростов. А к ним прислали другого партмобилизованного, ленинградского рабочего, который по счастливой случайности оказался родом из деревни. И, видимо, обладал организаторским даром. И тут, собственно, и началось уникальное. С этим председателем они ожили. Разбогатели. Построили к 1935 году неимоверное количество мельниц, крупорушек, мастерских и т.д. Стали настоящей рекламой социализма.

Но оказалось, что социализм в такой рекламе не нуждается. Колхозу было предложено «раскулачиться» — немедленно сдать все, что нажили и построили. Собралось партбюро и, обсудив, приняло единственно естественное, а в наших условиях совершенно невероятное, решение: ответить отказом. Так и поступили. В ответ им поставили ультиматум, по истечении которого обещали отобрать все силой. Тогда партбюро превратилось в военный штаб и стало готовить круговую оборону. По кузницам и прочим мастерским распределили военные заказы — в срочном порядке готовить пики и другое оружие, что удастся. Кроме того, организовано укреплялись подступы к деревне. Короче, под руководством правления колхоза, комячейки и питерского пролетария, председателя-тридцатитысячника, колхоз подготовил и занял правильную круговую оборону. Подошедшие войска приступили к штурму мужицкой крепости. Крестьяне, руководимые коммунистами, отчаянно сопротивлялись. Но, как говорится, силы были слишком неравны. Противник бросил в бой не то танки, не то бронемшины, не то кавалерию, и героическое сопротивление крестьян было сломлено. Процветающий колхоз, краса и гордость социалистической сознательности, был стерт с лица земли. Крестьяне были рассеяны, а колхозное имущество, которое вроде хотели забрать, погибло. Важно было не овладеть им, а отобрать его. В когда-то густонаселенной деревне остались всего две семьи. Не сохранилось даже памяти.

Мой собеседник был одним из активнейших участников как коллективизации в их деревне (думаю, что тем, кого он честит «кулаками» и «подкулачниками», крепко от него досталось), так и этой беспрецедентной обороны социалистического хозяйства от социалистического государства.

Не знаю, что случилось с питерцем, не думаю, чтоб ему простили «измену» (хотя изменил не он, а ему изменили),

но у меня вообще создалось впечатление, что никого не ловили. Просто разорили и разогнали. Если мой собеседник и не миновал лагерей, то посадили его не за это и не тогда. Но, кажется, совсем не посадили. Не знаю, отнимали ли у него партбилет или вернули после реабилитации.

Некоторый свет на смысл этой кампании по ликвидации «кулацких колхозов» пролил Лев Копелев в своей книге «Не сотвори себе кумира». Это были, оказывается, колхозы, созданные действительными энтузиастами колхозного строя, часто до коллективизации и на основе добровольности. Сибирский колхоз с хозяйственным ленинградцем во главе относился к этой же категории. Копелев дал и объяснение этой «политике». Созданные энтузиастами и обязанные своим процветанием самим себе, независимые колхозы устраивали Сталина так же мало, как и независимые крестьяне. Ему нужны были крестьяне только сломленные, всецело зависимые, все и себя самих потерявшие, благодарные, что хотя бы позволили жить. Это очень удобно для ничего и никого не представляющей нелегальной власти. Это и есть «сталинщина».

Кстати, неожиданное применение термина «кулацкий» я встретил потом и в учебниках географии. Сельское хозяйство досоветских Литвы, Латвии и Эстонии базировалось, по их словам, на кулацких хуторах, а Дании и Голландии — на кулацких кооперативах. Потом я понял, что это значит: кулацким называется любая форма крестьянского хозяйства, существующая, а тем более, процветающая без «нас», т.е. без партократии. Это не очень устраивало и зарубежных коммунистов, а уж Сталина — и говорить нечего. Многие этой нелогичности не замечали — не до того было! — но меня это царапало. Все-таки нет более унижительного насилия, чем насилие над логикой и здравым смыслом, ибо людей принуждают проделывать эту операцию над самими собой. И надо быть абсолютно бесчувственным, чтоб не ощущать этого унижения. Я его ощущал, хоть и не сознавал это.

Впрочем, были у меня в детстве потрясения и другого рода, где выявлялись другие чувства. Когда я переходил в четвертый класс и в новую школу, я узнал, что наши родственники (близкие, правда, больше территориально) получили разрешение выехать в Палестину. Было это в 1936 году. Группа верующих евреев обратилась к «всесоюзному

старосте» М.И.Калинину с просьбой отпустить их по религиозным соображениям. Кстати, глава этой родственной семьи был раввином, но, как мне кажется, зарабатывал он тогда как-то иначе. Калинин прочел им нотацию в том смысле, что они пожалеют об этом решении, но — отпустил. Не знаю, что послужило причиной такой либеральности. То ли внешнеполитические соображения, то ли тогда еще выезд за границу не приобрел такого сакрального характера, как потом, и Калинин имел право самостоятельно принимать такие решения, — не знаю. Однако разрешил.

Представляете, какое это впечатление должно было произвести на мальчика, читавшего и мечтавшего о морских путешествиях. Ведь сначала они должны были ехать в Одессу, где я никогда еще не бывал и которая всегда волновало мое воображение тем, что там — море. А для них — это только начало. Там они сядут на настоящий морской пароход и несколько дней будут плыть на нем в какую-то экзотическую страну. Было от чего кружиться голове. Тем более что все это должно было произойти и с моей ровесницей (младше меня на год и на класс, но учившейся со мной в одной школе) дочерью раввина Адей. Но на этом кончается все, чему я завидовал. Вернее, я ей вообще не завидовал, я ее жалел. Ведь она уезжала от «нас» в капиталистическую страну! Путешествия меня волновали, но уезжать я никуда ни за что не хотел. Таким я тогда был. Поразительно, как я не ощущал закрытости общества.

Потом пришло письмо. Семья эта в Палестине не задержалась (была она явно не пионерского типа, да и вряд ли там было тогда много людей, нуждавшихся в услугах раввина) и переехала в Америку. Потом я вообще потерял ее из виду. И приехав в 1974 году в Америку, я ее не разыскивал. Телефон Ади я получил случайно лет через восемь после приезда.

Ответил мне добрый женский голос. Нет, она меня совсем не помнит. Русский язык тоже почти забыла (а была отличницей, доучилась до третьего класса). Меня это несколько удивило. Мы жили рядом (они — на Жилянской, сразу за 95-й школой), бывали у нас (у папиного брата, раввина) довольно часто. Конечно, я с ней не дружил (девчонка, да еще маленькая), но все же мы знали друг друга хорошо. И вот — совсем не помнит.

Нет, это не было с ее стороны стремлением отгородиться от участия в судьбе новоприбывшего родственника, которому полагается помогать. Во-первых, к тому времени я уже давно не был новоприбывшим, во-вторых, она пригласила меня в гости — сразу после наступавших тогда больших еврейских праздников, во время которых они все будут очень заняты. И приглашение это было вполне искренним и дружественным. И вообще чувствовалось, что человек она хороший и добрый. Рассказала мне о детях и внуках — все нормально, все по-человечески. И уж, конечно, все благополучно.

Нет, у меня уже давно нет романтического презрения к благополучию. А в ее устах оно не выглядело ни пошлым, ни самодовольным. Желая его всем, в том числе и самому себе, и рад за всех, кто его достиг, в том числе и за нее.

Но все-таки, говоря с ней, я вспомнил свое детское восприятие ее отъезда. И вот после того, как потерпело крушение все, исходя из чего я ее жалел, а сам я как бы последовал за ней в преклонном возрасте, и ждет меня неопределенная и отнюдь не безоблачная старость — после всего этого и зная все это, я все-таки почувствовал, что мое восприятие ее отъезда — пусть по другим причинам — остается все тем же. Я вспоминаю ее измученных сверстниц, выехавших и невыехавших, для которых каждое платье было (а для оставшегося большинства и остается) событием, которым многое открылось в жизни (хотя бы всерьез — что почем), а некоторым — сквозь все это — и подлинный смысл культуры и подлинная радость искусства. Я вспоминаю их и начинаю чувствовать ее несколько обделенной. Поэтому мне и становится ее немного жаль. Показалось мне, что она (не она, а за нее) сменяла Россию даже не на Америку, а на Бруклин. И дело было даже не в том, что она уехала из России, а в том, что жила так, что могла ее начисто забыть.

Все это достаточно глупо с моей стороны. Да и вообще я впадаю тут в романтическую гордыню, в демонизм, в снобизм. Разве так уж мало стать просто хорошим и добрым человеком, матерью большого семейства? Ведь сам я знаю, что горячка массового самоутверждения, охватившая мир, ни к чему хорошему привести не может. Разве было бы лучше, если б этой горячкой заболела и она?

Нет, я так не думаю. И, конечно, никак ее не осуждаю и не стремлюсь возвыситься над ней. Просто я люблю то, что я люблю. Мне просто захотелось выразить свое восхищение и любовь поседевшим девочкам и ослепительным женщинам моего возраста, интеллектуалкам с авоськами, рыщущим сегодня по опустевшим магазинам Москвы, Ленинграда, Киева и других городов в поисках продуктов, новых книг и билетов на Рихтера и Окуджаву. Дай вам Бог все достать и все вынести. Вам это мало теперь поможет, но я вас помню, люблю и никогда не предам.

Да, я никак не ощущал закрытости общества, но все же Адин отъезд был неординарным событием моего детства. Неудивительно, что я ее запомнил лучше, чем она меня. Она уезжала в мир, в который я не стремился, но все же и мне недоступный. И это тоже придавало, вероятно, что-то этому событию. Больше вокруг меня никто за границу не уезжал. Тем не менее, с отъезжающими за границу я столкнулся еще раз, чуть позже и в другой обстановке. Но на их отъезде уже явственно лежала печать времени, верней, сталинской руки, наложенной на время. Как говорится, атмосфера тогда непрерывно сгущалась. Но это неверно — ее непрерывно и намеренно сгущал Сталин.

Мой дядя Арон с тетей Шифрой снимали на лето комнату в Святошине (тогда оно еще было дачной местностью) и взяли меня с собой. Люди, которые сдали нам квартиру, только что ее купили, и сами еще в ней не жили. В сарае же рядом с домом, когда мы въехали в квартиру, обитали еще прежние хозяева. К моему удивлению они оказались итальянцами и собирались в Италию. В сарае они жили в ожидании отъезда. Помню, как стоя у этого сарая, окрестности которого были усыпаны мраморной крошкой, курил свою трубку глава этой семьи, чуть уже седоватый, высокий, стройный мужчина, дружелюбный и вежливый, похожий на стандартное изображение итальянца в учебнике географии (когда я был в Италии, я таких там уже почти не видел — видно, тип изменился). Итальянец был мастером по мрамору, и сарай этот раньше служил ему мастерской. Помню, что у них был еще мальчик Фино, любимец всей округи, года на три старше меня. Остальных членов семьи не помню. Жили эти люди здесь несчетное количество лет, сильно обрусели, были своими. Все это время они

были итальянскими гражданами, и никого это никогда не беспокоило. Но товарищ Сталин, превращая общество из просто закрытого в герметически закупоренное, такого безобразия перенести не мог, и им предложили на выбор — либо принять советское гражданство, либо выметаться. Они предпочли второе.

Во все глаза смотрел я на людей, добровольно уезжавших в фашистскую страну из страны социализма, и очень был смущен тем, что они мне не были неприятны. Сегодня, конечно, объяснять никому не надо, что бы с ними было, если б они поддались «пролетарскому интернационализму» и остались в СССР. Да самый этот факт был бы квалифицирован так: «добровольно остался в СССР с целью шпионажа в пользу Италии». Но тогда мне это еще видно не было.

Уезжали они через несколько дней после нашего переезда. Набежала вся округа, многие плакали, их любили. Приехала, естественно, и их старшая дочь со своим русским или украинским мужем, из-за которого она и оставалась. Что с ними было дальше — не знаю. Хотелось бы думать, что с ними ничего не случилось. Но на это мало шансов. Единственная надежда, что они были простыми людьми и о них могли и забыть. А так — ей прямая дорога в лагерь за шпионаж, а ему — за сообщничество и связь с собственной женой. А могли по отношению к ним обоим ничтоже сумняшеся обойтись и абстрактными и не требующими доказательств «буквенными» статьями «Контрреволюционная деятельность» (КРД) или — того интересней — ПШ — «подозрение в шпионаже» (все равно те же 10—15 лет лагеря). Это не юмор, не преувеличение, а печальная бытовая повседневность сталинщины.

Мы уже в ней жили. В этой связи мне вспоминается и та семья, которая купила квартиру у этих итальянцев и сдала ее на лето нам. Они явно не подходили под тип людей, сдававших в те времена дачные комнаты. Вида они были совсем не крестьянского, отца и матери у них не было, а главой семьи был у них старший брат Виктор. У него были младшие брат и сестра. У обоих были экзотические имена — Адольф (Дольчик) и Ванда. Они приехали то ли из Фастова, то ли из-под Фастова, и явно в спешном порядке. Жили пока у родственников. Виктор уже при нас устроился на близлежащий завод чертежником, а Дольчик и Ванда со-

бирались в школу. Ванда была красавицей, будившей романтические чувства, с Дольчиком я хотел играть и разговаривать о книгах. Но приходили они довольно редко, и, хоть были они вполне дружелюбны, по-моему, старший брат не очень хотел, чтоб они приходили и, особенно, чтоб подолгу разговаривали с посторонними. Только он зря беспокоился — они и так никогда ничего о себе не рассказывали. Какая-то тайна окружала их всех. И она соблюдалась настолько отчетливо, что я ни разу даже не задал им вопроса об их родителях или прошлом, хотя вовсе не отличался тактичностью. Подозреваю, что их родители были какими-то крупными деятелями и что приехали они вовсе не из Фастова.

В принципе я и сам кое о чем догадывался. У них явно был кто-то арестован. Думаю, что родители их были то ли интеллигентными партийцами, то ли просто интеллигентами, но до этих пор явно не преследовавшимися режимом. Возможно, они были поляками, и это тогда очень «актуальное» происхождение (за него сидело много людей) тоже сыграло свою роль — не знаю. Знаю только, что они были, как потом говорилось, «незаконно репрессированы», а тогда — «арестованными, как враги народа». И все это, в общем, я знал уже и тогда. Знал и, хотя все еще — пусть подавляя внутреннее сопротивление — верил газетам, всем этим людям сочувствовал. И не только от личной симпатии, а еще и потому, что то, что овладевало жизнью и их губило, было тупым, механистическим, подавляющим и мне враждебным. Я это чувствовал, хоть и не хотел в этом себе признаваться. Я им сочувствовал, хотя совсем не уверен в их сочувствии моему сочувствию. Принять его — значило принять противостояние, хоть мыслями я тогда и сам до него не дорос. Это противостояние было страшно тем, что отделяло от всего и всех даже больше, чем сам арест близкого человека. Мы уже жили в сталинской эпохе.

Детские игры

Меня всегда поражала спрессованность русской истории, XIX и XX веков. Ну, например, то, что Л.Н.Толстой жил при Пушкине, пережил народовольцев и Пятый год, дождался кризиса символизма и умер за четыре года до Пер-

вой мировой войны и за семь лет до 1917-го. А прожил всего восемьдесят три года. Срок жизни солидный, но не уникальный: некоторые и подольше живут. Да и он мог бы, если бы не драматические события в семье, вызвавшие его «уход». Но так видится из нашего времени. Конечно, жившим тогда, между двумя войнами, Отечественной и Крымской, время это особенно компактным не казалось. Все-таки целых 38 лет!

Когда я начал сознательно воспринимать жизнь — как я уже говорил, это произошло году в 1932—1933-м — мир тоже был совсем иным, чем сейчас. Многого из того, что потом вошло в жизнь (а теперь в России рискует из нее выпасть из-за развала), еще не было. Но кое-что уже было. И многое из того, что появилось позже, было как бы задано тем, что уже было тогда. Авиация уже была, и давно, даже коммерческая, но в жизни она еще не ощущалась. Громадных лайнеров еще никто и не представлял. Летчики от нас были так же далеки, как наркомы. Постепенно переставали казаться небожителями шоферы, которых еще недавно называли почтительно механиками.

Помню, как, будучи по делам в Киеве, заезжал к нам наш черниговский свойственник, ИНЖЕНЕР (это тогда тоже звучало гордо) на легковом автомобиле с шофером. Не помню даже, катался ли я на нем хоть разок (если и катался, то недолго — свойственник всегда спешил), но я все равно был горд и счастлив. Подумать только — к НАМ, именно к НАМ, а не к кому-нибудь, приехал легковой автомобиль! Мальчишки вокруг мне завидовали. О том, чтоб иметь собственную машину, нелепо было даже мечтать. Правда, как я потом узнал, некоторые имели. Например, летчики-испытатели в Москве. Но, во-первых, мы об этом не знали, а, во-вторых, они тоже были высоко и далеко, выше, чем их поднимали их аэропланы. Читал я однажды (в детской книжке типа «Сделай сам») и о «геликоптерах» — русского названия «вертолеты» тогда еще не было. Были ли где-нибудь уже сами вертолеты — не знаю. Вероятно, где-то «работы уже велись» — и в Америке, и у нас. Но во Второй Мировой войне они не участвовали. Радио уже дошло и до Киева, отец собрал маленький детекторный приемник, а у знакомого парикмахера я видел даже ламповый. По нему можно было слушать даже за границу. Я вовсе не нуждался тогда в иностранном вещании на русском языке (да и не

было его еще в природе), но просто это поражало воображение. Как потом воображение деда, у которого я в ссылке в сибирской деревне снимал квартиру еще в 1950 году, поражало, когда из установленного нами репродуктора раздавалось: «Внимание! Говорит Москва». «Ишь ты, ети твою мать! — простодушно восхищался дед, — в Москве говорят, а здесь слышно!» Дед не был ни наивным, ни глупым человеком, просто у него до сих пор не было радио. А ведь это на самом деле удивительно — что в Москве говорят, а в Сибири слышно. Просто мы привыкли и перестали удивляться. Но и репродуктор появился у нас не сразу — только году в тридцать шестом. Впрочем, к началу войны не только репродукторов, но и радиоприемников было уже довольно много. В городах особенно...

О высвобождении и использовании атомной энергии уже говорили, но казалось, что это еще далеко, а, может, и несбыточно.... Но некоторые физики, как теперь всем известно, не только говорили, а и работали над ней. Не было еще и телевидения, даже в Америке. Но о такой возможности уже писали, она предполагалась. Так же, как и телемеханика — дистанционное (по радио) управление машинами и приборами. Использование полупроводников, которые транзисторами у нас еще не назывались, уже тоже стояло на повестке дня. Но как бы вытекающая из всей этой электроники (радио, телевидения, телемеханики и транзисторов), базирующаяся на ней кибернетика показалась бы еще глупой сказкой почти любому.

Это уже было делом другой эпохи — эпохи НТР, плодами которой мы уже пользуемся (например, компьютером, на котором я это пишу), но ощутить очертания и возможности созданного ею мира до сих пор еще не можем. Это теперь, а тогда при всей нашей вере в технику, науку и человеческий разум — и говорить нечего. Неудивительно, что Сталин при ее появлении не поверил даже в ее военное значение, которое всегда было для него решающим аргументом, и объявил ее лженаукой. Предыдущую эпоху Сталин — то с пользой для себя, то во вред — обманывал и подминал, как хотел — он знал ее язык. Но кибернетика была языком иной эпохи, за ней он просто не мог угнаться и попытался прикончить ее привычным образом — расстрелять сзади веером от пуза, как ему удалось расстрелять революционную эпоху, языком которой владел в совершенстве.

Но язык менялся не только в этом смысле. Понятия и представления тех дней сегодня иногда труднее представить, чем мир без радио и телевидения. Психологически с той поры, с которой связано пробуждение моего сознания и начало моей биографии, мы пережили несколько эпох.

Эта разница эпох создает для меня определенные трудности. Упомянувшийся расстрел революционной эпохи, произошедший на моих глазах более полувека назад, совпал по времени с моим отрочеством и надолго определил содержание моей жизни, мои симпатии и антипатии. Сегодня я вижу тогдашние события совсем не так, как тогда. Возникает опасность как инерции тогдашних представлений, так и неофитского отталкивания от них. Поэтому я и говорю, что когда судно этого повествования войдет в пролив, ведущий через 1937 год, дальше надо плыть очень осторожно. Рифы на этом пути подстерегают с двух сторон, и нельзя приставать ни к одному из берегов — ни к Сталину, ни к тем, кого он уничтожил. Они — вовсе не одно и то же, как сегодня хотелось бы некоторым, но разнятся между собой не как Добро и Зло и не как правые и виноватые, как хотелось бы другим. И как казалось мне в детстве. Но всю жизнь я прожил под властью тех, кто уничтожил или точнее заместил уничтоженных, а не тех, кого уничтожили или заместили. Временами это приводило к абберациям в смысле чрезмерного сочувствия к уничтоженным и замещенным.

Но отталкивание от заместивших, точнее, от замещения, чрезмерным быть не могло. Дело не в людях, они были разные, но 1937 год, который их «выдвинул», — явление отвратительное. И сам по себе, и тем, что утвердил сталинщину. А она, что бы мы ни знали о тех замещенных, сама от себя наложила дополнительный страшный отпечаток на весь облик и дальнейшую историю страны, дополнительную тяжесть на жизнь людей.

Эпоха эта подбиралась к нам исподволь. Я уже говорил, как огорчала меня в детстве тихая подмена мировой революции странным «советским патриотизмом», в лучшем случае казенным антифашизмом, а романтика интернационализма дружбой народов СССР. Мыслители «Памяти» и им подобные могут увидеть в этом признании подтверждение своих взглядов — еврейское отчуждение от всего русского.

Но это неправда. Когда во время войны легализовался русский патриотизм, я его принял, сумел ощутить сквозь казенщину, без которой у нас ничего не бывало. С каким бы расчетом его ни легализовали, он был реальностью, волновал, а что касается меня, то и обогащал. Правда, и я при этом как-то увязывал его с идеологией, которой он, строго говоря, противоречил. Но что поделаешь! В таких отношениях с логикой мы все тогда жили. Но этот «советский патриотизм» был не только ложью. Он был подделкой без образца, чем-то без вкуса, без цвета, без запаха, без идеи и без любви. Он исподволь отменял ложную систему ценностей и заменял ее идолом из папье-маше.

Многих может удивить то место, которое занял в наших душах и судьбе пронизанный романтикой революции и Гражданской войны роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Теперь мне иногда кажется, что он и создал эту романтику или воссоздал ее на новом этапе для нас, родившихся в двадцатых. Хоть это, может быть, и аберрация. Я прочел его рано, лет в одиннадцать.

Я давно далек от революционной романтики и давно не заглядывал в эту книгу. Слышал от многих, кому верю, что написана она наивно — особенно по языку — и художественной ценности не представляет. Наверное, в этом много правды. Конечно, книга эта не относится к выдающимся произведениям российской словесности. Высота, на которую она была поднята — призрачна и искусственна. Но и теперь я убежден, что и в литературном отношении этот роман стоит выше, чем многие мастеровитые книги позднейшего периода.

Прежде всего, чем «Молодая гвардия» куда более талантливого, культурного и литературного Александра Фадеева. Я сейчас не о том, что Фадеев там по легкомыслию и цинизму преступно оболгал невинных людей, потом тяжело и долго расплачивавшихся за это. Роман этот был бы плох и без этого. В сущности это не роман, а развернутый газетный очерк тех лет. Просто потому, что в нем есть событие, но нет личного авторского замысла, который это событие раскрывает. Поэтому все его герои — не образы, а функциональные схемы, мастерски раскрашенные живыми внешними и бытовыми чертами. Все как будто индивидуальны — один красивый, другой вспылчивый, третий добрый, четвертый еще

какой-нибудь — но существуют только функционально. Никого из них ни в какой другой ситуации представить нельзя, в отличие, допустим, от героев его же «Разгрома», остающихся характерами при всей навязчивой тенденциозности, даже перевернутости авторского их освещения.

Павел Корчагин, — безусловно, характер. Он не только совершает поступки, он — живет, его тоже можно представить в любой ситуации. К миру его ценностей, к его реакциям и поступкам; даже к его личной жизни можно по-разному относиться; но они реальны. Для многих из нас он раньше был воплощением идеала, теперь он воспринимался бы как воплощение трагичности — кем-то запутанная и во что-то запутавшаяся душа, отдавшая все силы и здоровье, вложившая свои лучшие качества и надежды, все свое стремление к Добру в то, что Добром не было.

Об этой трагедии с тех пор уже писали неоднократно на ином уровне самосознания и представления о литературе (например, Павел Нилин). И еще будут писать — лучше, законченнее, мудрее и трезвее. Но в сгущающейся духоте середины тридцатых, среди тотальной имитации, она, искренне утверждая исчезавшие уже миражи и прелесть отменяемой эпохи, настаивала на их присутствии в настоящем (то есть на присутствии в нем, а значит, необходимости какого-то смысла) и воспринималась поэтому как глоток свежего воздуха. Это тоже было миражом, но другого рода. Но этого, несмотря на все свои «прозрения», я тогда еще не знал и не понимал. Я заглатывал с удовольствием обе наживки — и обаяние революции, и то, что оно распространяется и на наше время. Но вторую — все равно не очень глубоко и уверенно.

Конечно, и этот роман, и его автор тоже были не вполне безупречны даже в той системе ценностей, которая их пронизывала. Некоторыми частностями они вполне соответствовали тому, что требовалось тогда от всех. Об одном из товарищей Павла узнается, что он примкнул к оппозиции, и именно его нам тут же показывают «морально разложившимся», то есть пьяницей, развратником и т. п. Да и вообще книга прославляла тех, кого в это время облыгивали и расстреливали, прославляла так, словно они по-прежнему у руля, создавала ложное представление преемственности и коммунистической легитимности сталинского ре-

жима, обманывала. Но это — в частности. И все-таки за ней была некоторая историческая и человеческая реальность, реальность заблуждения. Но все же не всеобщее отвратительное, пустое и бездарное лицедейство.

А кем я тогда был сам? По причине возраста получилось так, что процессы тридцатых годов были первым преступлением Сталина, которое я воспринял сознательно. О процессах шахтинском, Промпартии, СВУ и других фальшивках против интеллигенции я ничего не знал — даже их официальные версии знал только понаслышке. Да и судили на них классово чуждых контрреволюционеров, с которыми, как меня учили, и полагалось бороться — их судьба меня не волновала. Коллективизацию я видел близко. Но впечатления от нее у меня были еще полумладенческими, отрывочными — вероятно, их безысходность располагала к тому, чтоб детское сознание на них не задерживалось. Потом и тут не было идеологического конфликта — «мы» всегда были против уродующей душу частной собственности, а борьба требует жертв. Не знаю, как бы я воспринял все это, будь я тогда чуть старше и имей друзей в деревне, но их не было. Все эти впечатления лежали без движения на дне сознания довольно долго. Я разделяю позор многих.

А тут судили революционеров за измену революции, а сама революция при этом оттеснялась ликующей песней о достигнутом счастье. Было от чего голове идти кругом. Поразительно то, что в это достигнутое счастье, в расцвет колхозов, я верил, только оно меня почему-то не удовлетворяло. Было каким-то самодовольным и скучным, куцым. Под стать ему была и тогдашняя «массовая» (то есть внушаемая массам) песня. Мне приходилось уже писать о той страшной роли, которую сыграли эти песни. Были среди них псевдореволюционные, псевдопатриотические, псевдолюбовные, были причудливо совместившие, перемешавшие в себе все эти элементы. Все они придавали реальность всему, что нам внушалось в замещение реальности, как бы создавали искусственную среду обитания, искусственную логику, историю, революцию и Россию. И тогда центром этого искусственного мира естественно оказывался Сталин. Песни эти вроде и не создавали этот мир — просто делали вид, что в глубине его рождались и из глубины его пелись, задыхаясь от счастья. Нельзя сказать, что я всегда тогда был

столь зорок, как в этих строках, я тоже загорался и пел со всеми. Я даже хотел приобщиться к этому счастью. И временами приобщался. Но все равно, не мог преодолеть ощущение в нем чего-то механического и скучного.

Особенно меня раздражала Катюша. Может, именно тем, что она была о любви. В ней некая Катюша и некий боец на дальнем пограничье состоят в некой переписке, а умиленный автор лирически предлагает им следующий баланс отношений — пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет, так за так. Ничего себе любовь, которую следует беречь, да еще на определенных условиях! Теперь я понимаю, что замыслил эту песню не Исаковский, а некто вроде ГлавПУРа — надо было внушить девушкам патристический долг хранить верность солдатам. После войны понадобилось будить в солдатах ностальгию, дабы не перебежали к союзникам. Отсюда в тех же учреждениях и родились замыслы песен «Летят перелетные птицы» и «Хороша страна Болгария»: М. В. Исаковский выступает здесь больше как исполнитель, чем как автор. Я охотно верю, что ему лично никуда не хотелось улететь, но не верю, что ему вдруг захотелось об этом петь или даже говорить. Его ведь никто и не выталкивал в дальние страны. Да не подумают про меня, что я согласно нынешней моде взялся «разоблачать» Исаковского. Скорее всего, такие задания он воспринимал, как почетные (я бы тоже тогда так их воспринял). То, что он писал, не противоречило его мироощущению и не содержало подлости. Кроме того, у него есть и очень хорошие песни, некоторые из которых останутся навсегда. И вспомнил я об этом только в связи с «Катюшей», с тем образом любви, который она внушала.

Я тогда еще не мог понимать, что именно такая любовь только и могла быть у выдуманного положительного героя великой сталинской эпохи! Она была под стать всем остальным обстоятельствам его искусственного схематического бытия, под стать всей остальной его безоблачно-счастливой, но без цвета, вкуса и запаха — жизни. В безоблачность этого счастья я на первых порах (лет в 11—13) верил, но не воспринимал такое «счастье» как достойное воспевания.

Впрочем, у меня бывали сомнения и в самом этом «счастье». Детское смешивалось в моем сознании с недетским. Помню, в книжке Голубевой «Мальчик из Уржума» (о дет-

ских годах Кирова) пожилой рабочий, рассуждая о тогдашнем (т.е. дореволюционном) социальном неравенстве, возмущался тем, что «у них» и бани свои, дворянские, и ложи в театре, и т.п. И когда на следующий день я читал в газете, что «в правительственной ложе появились товарищи...», это меня обескураживало. Официальное сообщение явно противоречило официально же внушенной мне идее равенства. Той идее, стремление к которой было одним из объяснений необходимости Октября и советской власти. Я не поставил под сомнение эту идею, но заподозрил измену. Я уже знал из своих книжек, что во всякой революции находились люди, присваивавшие себе ее завоевания, свергавшие ее с высоты. «Выходит, и у нас так, — думал я сокрушенно, — а ведь наша революция изначально была нацелена против такого оппортунистического исхода».

В религиозные Средние века любая оппозиция неизбежно мыслилась как религиозная, и иногда от безвыходности она становилась крайней. Нечто подобное происходит — особенно с молодежью — и в закрытом идеологическом обществе. Не зря дьявола когда-то называли — имитатором Бога. То, что со своим культом конечной цели (земного рая) и партии (образования более, чем земного и по земному изменчивого), идеология смахивает скорее, на языческое идолопоклонство, ничего не меняет. Но если идеология — имитация религиозности, то дух сталинщины, в свою очередь, — уже имитация самой идеологии. Если идеология — соблазн, то дух сталинщины — имитация соблазна. Соблазну я предавался, но имитацию остро чувствовал всегда. Как ни грустно сознаться, духовная жизнь нескольких поколений — и моя в частности — в течение многих лет состояла в отстаивании соблазна от его имитации.

Сегодня к этому можно относиться как угодно иронически. Но так это было. И не только у тех, кого лично задело. Ни в моей семье, ни среди моих близких, ни среди соседей по дому и всему двору никто этими репрессиями прямо задет не был. Во всяком случае так, чтоб я об этом знал. Отец Гаррика был не в счет — о том, что у его уголовного дела была политическая подоплека, я узнал только в эмиграции. Дальний свойственник-сионист тоже не в счет — он ведь и впрямь был сионистом, значит, контрреволюционером — тут не было фантастики. Да и связан я с ним не

был никак. Короче, никаких личных причин особо остро воспринимать «тридцать седьмой год» у меня не было. А в целом как явление я его воспринимал острее, чем даже дети пострадавших, а иногда, как я убедился много позже, и сами пострадавшие. Те часто воспринимали случившееся с ними как личную беду, как случайную несправедливость, допущенную по отношению лично к ним. Я же реагировал прежде всего на создававшийся из-за этого в стране моральный и идейный (напоминаю — тогда все для меня оформлялось только идейно) климат, реагировал на обязательную для усвоения наглядную ложь и абракадабру. Это не значит, что я с тех пор раз и навсегда стал противником Сталина, это не так. Временами (а это, может быть, хуже, чем не видеть) я даже оправдывал эту ложь и эту абракадабру — всегда были под рукой диалектика и сложность момента и прочие ухищрения телеологического сознания (а где было взять другое?) — но все-таки всегда знал, что это ложь и абракадабра.

Впрочем, и это пришло не сразу. Вначале я вообще воспринимал происходящее как все дети — занимали детективные сюжеты. Дешевые и поэтому доступные. Сильно хотелось самому поймать врага или шпиона. Очень скорбел, что живу не на границе, где, судя по пионерским газетам, юные пионеры чуть ли не ежедневно ловили шпионов-нарушителей. Вопрос о том, откуда сразу взялось столько шпионов, мне по малолетству в голову не приходил. Но многим взрослым тоже — спокойнее и респектабельнее было проявлять инфантильность. Как известно, потом, отвечая на этот вопрос, герой того времени, знаменитый пограничник Карацула, говорил, что все им задержанные нарушители пробирались не к нам, а от нас. Спасались люди.

Кстати, против реальных врагов режима, нарушавших границу, наши славные пограничники и чекисты оказывались бессильны. Член НТС Георгий Сергеевич Околович, ныне покойный, с товарищем аккуратно в это время, когда «граница была на замке», перешли границу в самом напряженном месте — у станции Негорелое в 20 км от Минска. Проникновение в страну оказалось сравнительно нетрудным, потому что все завалы (и остальные препятствия преграждающие путь нарушителю) были устроены вершинами к востоку — против тех, кто хотел убежать, а не «проник-

нуть». После этого они заехали в Питер, где Г.С. позвонил сестре по телефону, и, хотя, как потом выяснилось, сестра тут же с перепугу на него донесла (к счастью, она не знала, под какой фамилией он здесь появился), оба нарушителя благополучно прибыли на Кубань, нанялись на монтажно-строительный поезд, проработали несколько месяцев, а когда товарищ заболел, уволились и тем же путем вернулись обратно. И направленные на этот раз прямо против них препятствия опять не помешали — они были подготовлены к их преодолению. Конечно, Георгий Сергеевич был натурой героической, оба спутника были хорошо подготовлены к этой операции. Но ведь и славные органы вроде считались подготовленными к противостоянию таким людям, а не случайным перепуганным овечкам. Но только «вроде». На самом деле именно для противостояния овечкам и существовали тогда сталинские славные органы и только с этой задачей могли справляться. Во всяком случае, внутри страны. А может, это и было самым важным.

Но тогда, в детстве, я этого не знал и во врагов верил. Короче, несмотря на все, что меня царапало, участвовал в общем психозе. Верил, что враг народа Николаев от ненависти к нашим успехам (как же не успехи — вот уж год, как исчезли трупы с киевских улиц!) целил в ЦК и попал в Кирова. И в том, что Зиновьев и Каменев ему помогали, я тоже не сомневался. Их имена, как и имя Кирова, я услышал тогда впервые. Когда я начал читать, они уже не упоминались как вожди, но еще не проклипались как злодеи. Они так и предстали передо мной как убийцы Кирова. Впрочем, не обошлось без затруднений. В газетах почему-то стали печатать призывы всяких зарубежных социалистов к советскому правительству пощадить Зиновьева и Каменева.

Помню призыв Амстердамского Интернационала начинившийся словами «Дорогие товарищи!» У них получалось, что они оба невиновны. В то время как «все знали», что это не так. Получалась неувязка, особенно усилившаяся, когда этим призывам вняли, и Зиновьева с Каменевым не расстреляли (расстреляли большинство их «подельцев», но не их). Скоро, правда, справедливость восторжествовала — Зиновьева с Каменевым вернули, судили снова и после того как они во всем «сознались», благополучно расстреляли, но это — вскоре, а не тогда. А тогда я не мог понять, зачем

надо слушаться оппортунистов, когда всем известно, что они — лакеи капитализма. С другой стороны, эти лакеи называли нас «дорогие товарищи» и говорили вполне человеческим языком, вполне достойно. Я это чувствовал, и это меня озадачивало. Хотя очень скоро это надолго ушло на дно сознания. Как многое у многих. Все уступало дорогу психозу.

Дошло до того, что чуть мы не раскрыли врага и в своей среде. Кругом все орало, что врагом может оказаться каждый, и надо быть бдительными — верить нельзя никому, Вот мы и постарались. Один наш одноклассник, имевший репутацию хулигана, хотя был просто драчуном и шалуном, однажды мелом разрисовал все парты свастиками, в просторечии тогда именовавшимися «фашистские знаки». Это не было даже шалостью, просто выходом энергии на перемене. Кстати, свастики мы все иногда рисовали — из любопытства, в порядке игры, но его поступок совпал с какой-то особенно шумной антифашистской кампанией, а также с очередным взрывом «бдительности». И что тут поднялось! Каким благородным возмущением мы все вскипели! Жажда разоблачать была через край. Отец преступника был вызван в школу. Вел он себя сдержанно, но серьезность момента вполне сознавал — наше детское вдохновение тогда могло стоить ему головы. Слава Богу, все затихло, в раздувании этого эпизода не был заинтересован никто из взрослых. К тому же тогда еще много было «по-простому» порядочных людей — и среди учителей, и среди родителей.

Помню, как я поделился возмущением со своим отцом. Мы с ним гуляли, был какой-то праздник, город был украшен, и наша жизнь казалась мне особенно счастливой, а поступок человека, подрывавшего это счастье путем рисования фашистских знаков, особенно гнусным. В этом духе и я выразился — довольно высокопарно. Отец мягко погасил мое вдохновение — сказал, что это мальчик, он баловался, ничего в этом страшного. Думаю, что и другие взрослые — и родители, и учителя — вели себя так же. В общем, дело рассосалось. Все это происходило во мне, чередуясь с другими процессами, с отвращением от фальши, путалось.

Отдельный штришок времени. Летом, кажется, 1937 года, мы с матерью отдыхали в Сновске Черниговской области —

на полпути между Бахмачем и Гомелем. Городок этот только что был переименован в Щорс в честь новооткрытого героя Гражданской войны, «украинского Чапаева», комдива Николая Щорса, о котором много тогда шумели газеты и радио. Это произошло настолько недавно, что станция при этом городке продолжала еще называться Сновская. Место это не было и не стало курортным. Но все же были там лес, речка. А, главное, продукты на рынке были дешевле, чем в больших городах. Тогда еще в России на рынках продукты стоили дешевле, чем в магазинах — как во всем мире.

С нами в доме снимала комнату московская семья — отец, мать и дочь, девочка моих лет по имени Таня. Семья эта ни до, ни после этого никак с нами связана не была. Просто дачные знакомые. Вместе ходили в лес, пили чай с медом. Было еще и такое блюдо — масло, переваренное с медом, — считалось, что оно полезно детям, — его тоже вместе заготавливали впрок. Тогда еще очень заботились, чтоб дети за каникулы отъелись. Может, от голодных лет осталось?

Кем была по профессии Танина мать, я не знаю, не очень этим интересовался. Помню только, что это была приятная и красивая, уверенная в себе женщина. Но отец ее был фигурой вполне примечательной. Во-первых, он был профессором, вузовским работником, как тогда говорили. Что преподавал, не помню. Вроде политэкономии. Во-вторых, и это главное, он был политэмигрантом! Следовательно, иностранным коммунистом, бежавшим от преследований буржуазной полиции. Поражала меня некоторая, как я бы сегодня сказал, буржуазность этого пролетарского бойца. Буржуазность не в смысле мещанства (мещанство понималось мной тогда только примитивно, и он с ним не ассоциировался), а в смысле спокойной привычки к определенному уровню жизни, не очень все же доступному личному пролетариату. Впрочем, может, это и не так — я о нем мало знаю. Да он и уехал вскоре.

Вообще политэмигранты в нашей стране были кастой привилегированной. Наверное, считалось, что уж они-то точно верны Делу, и на них проще положиться. Да и вообще утвердилось убеждение, что пострадавший от наших врагов должен быть вознагражден (привилегиями, чем же

еще?) у нас. Боюсь, что отчасти именно эта логика привела потом к стремлению затушевать страдания евреев в оккупации. Наделять их привилегиями было бы нелепо, а отдавать дань страданию, не вознаграждая привилегиями, не умели.

Я ничего плохого не могу сказать об этом человеке, которого, судя по всему, ожидала тогда нелегкая судьба — политэмигрантов брали под метелку. Конечно, он был коммунистом, и это плохо. Но это болезнь времени, и не всегда этим полностью определяется человек. А чем на самом деле жил, что понимал, что чувствовал Танин папа — я никогда не узнаю. Со мной он, естественно, этим не делился.

Что было с этой семьей дальше, тоже не знаю. Тогда она была гораздо более уважаемой, чем наша: с воспоминаниями о елке в московском Доме ученых и о прочих подобных элитных развлечениях Тани и ее родителей. Это само по себе было бесконечно далеко от нас, казалось фантастикой. Но это было еще не все. Была еще эта семья, может благодаря политэмигрантству, в некоторой степени и близкой к «сферам». Потом, когда глава семьи уехал, в разговорах его жены с моей матерью замелькали совсем другие реалии. Правда, повод для этого был серьезный — газеты опубликовали обвинительное заключение по делу Пятакова, Радека и прочих. В том числе и вышеупомянутых Зиновьева и Каменева. О некоторых из них, в частности о Радеке, ей, как, вероятно, и многим в Москве, было и до этого известно, что они арестованы. Радеком она восхищалась как яркой личностью (как я теперь думаю, больше поженски, чем политически — он, вероятно, отдавал дань и ее прелестям), говорила, что его любит Сталин, и, видимо, надеялась, что все разъяснится. Все тогда были кроликами — и чем ближе к трону, тем больше, — особенно в этой среде, считавшей нормальным применение подобных методов — конечно, к другим. Поверить в то, что все это обратилось против них самих, большинство из них, особенно «колебавшихся вместе», было не в состоянии. Теперь она буквально впиалась в газету.

— Кто бы мог подумать? — сокрушенно повторяла она. — Радек был такой интересный, блестящий человек.

Каким человеком был Радек, сегодня может знать каждый — материалов есть достаточно. Если говорить о его моральных качествах, то пробы на этом «интересном», даже

«блестящем» человеке, негде было ставить. И это не идеологическая оценка, а обычная, человеческая. Не предавал он других (конечно, единомышленников, в том числе и друзей — враги ему не доверялись) только в тех редких случаях, когда не требовалось. Поразительна философская толерантность большевистских интеллектуалов (были и такие), в кругу которых он вращался, к этим его художествам — их рассматривали как причуду гения. Диалектика, «классовое сознание» и «принцип партийности» делали их бессильными перед любой ординарной подлостью, если ее объясняли политически или если подлец, по их мнению, был «полезен делу». На этом их и поймал и прищучил Сталин.

Но тогда я, конечно, ничего этого не понимал и не знал. Я только наматывал на ус, что в примитивной измене обвиняют столь блестящего человека. Назывались и фамилии других обвиняемых. По-видимому, женщина эта принадлежала пусть не к тому же уровню, но к периферии того же круга. Поэтому ее очень все это волновало, и она не могла сдержаться, все время шепталась с моей матерью. Кстати, это тоже кое-что говорит о нравах, о том, что распространенное мнение о всеобщем недоверии людей друг к другу и всеобщем стукачестве — неверно. Она ведь никогда до этого не видела нас, ничего о нас не знала, а о стукачах знала — в ее среде их хватало.

Сознавала ли она опасность, нависшую над ее мужем, а может, и над всей ее маленькой семьей? Не знаю. Не думаю, чтоб отчетливо. Но что-то ее очень тревожило, потому она и шепталась. Я не вслушивался в ее шепот. То, что наматывалось на ус, доходило до моих ушей само собой, случайно, урывками и наматывалось автоматически. Все-таки игры и чтение интересовали меня куда больше. Разматываться услышанное начало позже, и потом я очень жалел, что был невнимателен. Но ничего не поделаешь — сетовать на то, что был слишком юн, так же нелепо, как на то, что стал слишком стар. Мать мне потом об этой семье ничего не рассказывала. Только однажды в разгар репрессий высказала опасение за нее — в том смысле, что у них были опасные по такому времени связи, и неизвестно, что с ними теперь. Моя мать была весьма далека от политики, но что такие связи опасны, было ясно всем.

Не думаю, что и эта женщина — красивая, в цветущем возрасте — была особенно политизированной или идеологи-

зированной. Не более, чем в пределах нормы тогдашнего светского приличия, — тогдашнее светское общество было идеологизированным. Другого светского общества она не знала, ибо к «бывшим людям» (термин тех лет) она явно не относилась (и она, и ее муж были евреями), а по типу она была именно светской женщиной. Вероятно, была в ней и некоторая, сегодня издалека неопределимая доля интеллигентности. Без этого в таких кругах тоже тогда нельзя было. Вероятно, яркость тех людей, которые ей нравились, была тоже весьма относительной, но других вокруг не было, другой она не знала.

Такие женщины всегда стремятся к наличному высшему обществу и к наличной светской жизни, не задумываясь об их абсолютной ценности. Кстати, при Сталине и после него «в сферах» такого общества (отчасти политической богемы) уже не было: какова ни была его ценность, оно его раздражало, и он его уничтожил — всякое. Было начальство, но светской ценности оно не представляло. Светская жизнь все равно оставалась, но влачила жалкое существование и концентрировалась в других слоях.

В каких кругах вращалась эта женщина потом, я не знаю. Дай Бог, чтоб не в лагерных. Но тогда она еще жила по критериям своего круга. Такие яркие его звезды, как Радек, не могли ей не нравиться. Может, и она ему где-то понравилась — с ним бывало, — и в ее жизни это было событием. Тем труднее ей было примириться с обвинительным заключением. Но у меня нет твердой уверенности, что она тогда понимала всю его вздорность. Все-таки и Радек давал показания, и Пятаков, и Рудзутак, и все другие. Тогда еще не было известно, как эти показания добываются. Но что-то она чувствовала, что-то ее мучало. Рушился ее мир, и на душе ее было беспокойно.

Я очень не люблю этот мир, но женщин, летевших на счастье, как бабочка на огонь, мне все равно жалко. Плохо они ориентировались в этом вздыбленном мире, не те качества казались проявлением силы и связи с духом жизни. И те из них, кто выходил замуж по расчету (с женщинами это случается), тоже часто выходили не за тех, просчитывались, ошибаясь. Не в человеке, а в ходе истории. А их ли это было дело — угадывать этот ход?

Я сейчас не говорю о деятельницах, а просто о женщинах, о тех, кто в лагерях числился, как ЧСИР — «член

семьи изменника родины» — о людях, в массе вполне отменя далеких Но разве такой уж грех — любовь красивой женщины к яркости, к поклонению, к светской жизни (или более примитивной — просто к достатку), — чтоб ее за него всю жизнь мучить или расстреливать? Да и главное — а судьи были кто?

Конечно, это мои теперешние мысли, а не тогдашние. Тогда я был — во всяком случае теоретически, «внутри себя» — гораздо более ригористичен. Я относился к ним так, как Павел Коган к «дамочкам», весь маршрут которых был, по его мнению, от ГОРТа до ТЭЖЭ (от одного из тогдашних привилегированных московских закрытых распределителей до парфюмерного магазина треста ТЭЖЭ) и которых от имени тех же «мальчиков моей поруки», «в лице молочниц и мамаш» бивших «контру на дому», он проклинал как «чертову породу».

Я был моложе Павла Когана, позже начал мыслить и многое оценивал более трезво. А вот «дамочек» мы с ним оценивали одинаково ригористично. Это был вопль оскорбленного аскетизма (хоть мы оба не были аскетами), уходящего из жизни вместе с революционной эпохой. А на «дамочках» просто зло срывалось.

И что с них было взять, с этих «безыдейных дамочек», которые, как умели, защитили свою женственность от изначально покрытого ржавчиной «железного» века, уготованного им идейными мужчинами нескольких поколений? За голод на Украине ответственны их мужья, а не они сами. И мне жаль их. За все — и за то, что кто-то, кто никак не был лучше, ставил к стенке их мужей, тоже. Особенно тех жалко, кто этих мужей любил или полюбил. Может, не все они светочи мудрости и духа, но они женщины и вели себя как женщины. И этого вполне достаточно. В наше время надо было прожить длинную и сложную жизнь, чтоб уразуметь эту простую истину.

Но тогда я был бесконечно далек от такого уразумения, хоть очень редко — даже в пору наибольшей ригористичности — относился к людям плохо, исходя из принципов. Этой «беспринципности» я очень стыдился, но иначе не мог.

Разумеется, возникли эти мои мысли не тогда и не в связи с нашей временной соседкой. Тем более что отношения с ней были у моей матери, а не у меня. Хотя, как видел

читатель, кое-какую информацию от нее усвоил и я. К тому времени меня уже бессознательно влекло ко всему, что противоречило официальным версиям происходящего. Не то чтоб я уже тогда «все понимал» — совсем нет. Грубые детективные спектакли Вышинского и Шейнина еще поражали и мое воображение, но, по-видимому, незаметно для меня самого оскорбляли сознание. И все, что противоречило этому, вызывало мое жгучее любопытство. Сказывалось, наверное, и отцовское уважение к Бухарину — это уже в тридцать восьмом, во время последнего процесса. Знал я о Бухарине мало, но представить участником покушения на Ленина не мог, не вязалось. И многое другое тоже.

Но все же реагировал я больше на атмосферу, чем на факты. Однако и факты накапливались.

Арестовали отца моего друга (собственно, и подружился мы после этого ареста — до того иногда только стихи друг другу читали), нынешнего московского поэта Лазаря (Люсика) Шерешевского. Отец его был бухгалтером в обществе политкаторжан. До сих пор я полагал, что поэтому он и сгорел — что, когда все это общество возвращали в исходное состояние, под сурдинку прихватили и его. Теперь выяснилось, что все было еще проще — его имя, «сознаваясь» под пытками, назвал как имя сообщника в каком-то липовом деле (вымогали не только «дело», но и сообщников) арестованный раньше знакомый. Обошлось это ему дорого — полутонов тогда не признавали: «десять лет без права переписки».

Мы тогда еще не знали, что это означает смерть, — меня лично больше поразили десять лет. Люсику я сочувствовал уже сознательно. Однажды даже сопровождал его в приемную НКВД на Владимирской. Пока он писал заявление (без него, по-видимому, не принимали передач и не сообщали сведений), я смотрел по сторонам, видел лица родственников тех, кто уже попал под топор. Лица были как лица, только по-особому замкнутые. Рядом с нами что-то писала женщина с интеллигентным лицом. Взглянула понимающе на нас, улыбнулась, когда я что-то сказал Люсику. Здесь друг с другом не разговаривали. Потом Люсик понес то, что он написал, к окошку и получил информацию. Кажется, окончательного решения по делу еще не было. Мы вышли. Кажется, была весна. Во всяком случае, день был светлым

и нежным. Серый гранит фасада главного здания НКВД на другой стороне улицы выглядел внушительно и неприступно. Что тогда в тот момент творилось в кабинетах за этими стенами, я еще не знал. Но от всего вместе осталось несколько притупленное ощущение безысходной беды, свирепствующей где-то рядом и меня, к счастью, обошедшей.

Проникновение в суть происходившего шло у меня не через эти впечатления. Они только приплюсовывались ко всему остальному — к тому, что мне тогда, как здесь неоднократно отмечалось, вместо «идей» предлагали для поклонения бессмыслицу и муляжи, полную протрацию. Вроде того же новоорганизованного межеумочного «советского» патриотизма с отцом народов в виде его вершины, цели и смысла. Постепенно начинало меня угнетать и то, что на глазах менялась история революции и Гражданской войны. Думаю, что действовало это на многих, но я говорю о себе. Сердце жаждало выхода.

Тогда-то, лет с двенадцати—тринадцати, я опять начал писать стихи. Не то чтобы всерьез (что такое поэзия, я не представлял по-прежнему), но и не просто из тщеславия, а для романтического самовыражения.

Перечитывая написанное выше, я испытываю некоторое смущение — уж слишком мудрым и самостоятельным я выгляжу, несмотря на все оговорки. Неужели это уступка обычному соблазну мемуариста — стремлению прихорошиться перед объективом, тем более своя рука владыка? Вряд ли. Я не так уж сильно люблю себя в детстве. И потом цель этих мемуаров рассказать не о том, какой я был мудрый, а как путался в трех соснах.

В годы перестройки появилось много людей, утверждающих, что они «всегда все понимали». И, хотя о большинстве из них до этого и слышно не было, я, как ни странно, отчасти верю их хвастовству — конечно, если исключить слово «все». «Все» в какой-то мере было понятно только «простым» людям (к которым отношу крестьян, торговцев, ремесленников и т.д.), в наступившей жизни нечто существенное — ее крайнюю практическую несостоятельность, а часто и аморальность. Но к «комсомольцам двадцатых годов» (и тридцатых тоже), в том числе и к интеллигенции, сформировавшейся в это время, никакое «все», связанное

с абсолютной системой ценностей, отношения не имеет. В лучшем случае в хорошие минуты мы понимали подмену официально принятой, тоже ложной системы ценностей бессистемной абракадаброй, подмену, как сказано выше, соблазна его имитацией. О каком же «все» может идти речь, если этого, главного непонимания, мы в себе даже не подозревали.

Но и решиться на неглавное было очень непросто, тем более что оно — мне во всяком случае — казалось самым главным. Вероятно, многие могут вспомнить моменты, когда они кое о чем догадывались — ну, например, насчет процессов или что Сталин погубил и узурпировал революцию. Это теперь кажется неважным, а тогда это был невероятный — дух захватывало — порыв и прорыв к правде. И в то же время все это лежало на поверхности. И поэтому для того чтоб понять и не принять сталинщину, нужно было затратить гораздо меньше интеллектуальных усилий, чем на то, чтоб ее не понять и принять. Однако ситуация была такова, что многие не жалели усилий. Догадывались, но помнили недолго, заговаривали сами себя и забывали (теперь забывают, что забывали), потому что Сталин, как большевики в начале двадцатых, сумел овладеть ходом жизни — вернее, подменить его. И помимо страха перед репрессиями был еще страх идти одному против всей жизни, вовсе тогда не казавшейся изнутри бедной, — особенно нам, молодым, другой жизни не знавшим. Кругом цвела молодость, находя чем жить и для чего цвести, и одному идти даже не против всех, а просто не в ногу со всеми, в том числе хорошими людьми, казалось стыдной обделенностью. Это и приводило меня к непоследовательности и падениям. Впрочем, об этом тоже чуть позже.

А пока я, как сказано выше, занимался романтическим самовыражением — писал стихи на уроках. В основном, как потом это называлось, на историко-революционные темы. О том, как боролись и умирали революционеры при «проклятом царизме» и героические комсомольцы во время Гражданской войны. А также о том, как я сам буду бороться за мировую революцию и умру в боях за нее или от рук палачей-контрреволюционеров. Стихи были не только плохие. (что естественно при такой направленной тематике), но и очень неумелые — даже в смысле стихосложения. Да и откуда им

было быть другими — стихов я тогда, кроме попадавшихся случайно в учебниках и детских книжках, по-прежнему еще не читал, а с поэмами, если попадались (пушкинскими, например — тогда как раз с помпой отмечалось столетие со дня его гибели), мирился как с затрудненным пересказом прозы, интересовавшей меня гораздо более непосредственно. Впрочем, и в прозе я тогда мало что понимал.

Но ведь я и не собирался становиться поэтом и вообще литератором: свои стихи (я пытался писать и рассказы, но еще менее удачно) я рассматривал только как подспорье в своем будущем служении мировой революции. В чем будет состоять это служение и каким образом может ему способствовать мое нынешнее творчество, я представлял весьма туманно. Ясно только было, что оно не будет слишком скромным. Так я прожил третий, четвертый, пятый классы. В шестом началось нечто другое. Но пока это еще не началось, оторвемся ненадолго от художественной литературы.

Я как-то очень мало рассказываю о младших классах. Ну хотя бы об учителях. В первом классе у нас был учителем Израиль Самойлович, как говорили, студент-химик. Был он человеком, кажется, добрым, но нервным. Помню только его узкое лицо и коричневый трикотажный свитер — тогда никто особо не модничал. Это именно он попросил моих родителей посылать меня в школу как можно реже. Со второго класса нас вела Антонина Дмитриевна, маленькая и добрая интеллигентная женщина с трудной, как мне теперь кажется, женской судьбой. Неинтеллигентные учительницы в больших городах тогда еще были редкостью — даже среди учителей младших классов. Мы ее любили и верили ей. Характерная деталь тех лет — я не знал, что Израиль Самойлович — еврей, а Антонина Дмитриевна — русская, хотя их имена и отчества говорят сами за себя.

Четвертый класс, как я уже рассказывал, начался для меня с переселения наших классов в школу-новостройку №44 и с того, что незаметно исчезли наши китайчата Коля и Женя. Но Антонина Дмитриевна, перешедшая в новую школу вместе с нами, сказала нам, что они с родителями куда-то переехали, и мы перестали о них думать. Конечно, то, что с ними произошло, переездом можно было назвать только при известной натяжке, но что тогда можно было и даже нужно было сказать детям? Опасаться ведь надо было и за себя, и за них.

Но детство кончалось — мы стояли уже на пороге отрочества. И вступили в него 1 сентября 1937 года, придя впервые в пятый класс. Началось оно для нас с бунта, главным организатором коего был автор этих мемуаров. Надо сказать, что ко мне иногда прилипает репутация скандалиста — поскольку я резко высказываю свое мнение. Но скандалов и вообще неприятностей людям я устраивать не люблю и не устраиваю. Хотел я быть скандалистом только в отрочестве — в подражание Маяковскому, которого я тогда читал как возмутителя мещанского болота. Но это было чуть позже описываемых сейчас событий. Да и речь тут идет не о скандале, а, скорее, как уже сказано, о бунте. Дата этого бунта говорит в данном случае только о том, что и на фоне гибельных свершений, связанных в общем представлении с осенью тридцать седьмого года, тогдашние дети все равно были детьми, учились, переживали и принимали всерьез трепавшие их и досаждавшие и без того обескураженным взрослым бури переходного возраста, и это не имело почти никакого отношения к специфике этой даты. Хотя, по моим тогдашним представлениям, я только вступался за правду и дружбу — то есть как юный пионер вел себя вполне добродетельно. Как меня и учили.

А дело было вот в чем. Явившись в пятый класс, мы узнали, что из наших двух классов намереваются сделать три, из каждого наличного выделив по трети учеников для вновь образуемого. Исходили из принципа, что чем меньше в классе учеников, тем больше внимания каждому, в чем нет ничего плохого. Другое дело, что в общегосударственном смысле это, как и то, что в новой школе все десять классов могли учиться в одну смену, не соответствовало никакой экономической реальности. Это было очередной сценой из камуфлирующего спектакля — «Жить стало лучше, жить стало веселее», — пылью в глаза, показухой, ради которой фирма тогда на расходы не скупилась — надо было заглушить рев «черных воронов» и показать, какую счастливую жизнь хотят разрушить враги. Но возмущало нас отнюдь не это. Этого никто вокруг не понимал. Тем более что наша счастливая жизнь, а следовательно, наше право на новую школу были для нас несомненны — даже в Киеве, после трупов на улицах. Возмущало только «самоуправство» дирекции.

Надо сказать, что в нашем классе оно никого не обрadowало. Мы проучились вместе четыре года (из двенадцати — треть всей и большую часть своей «сознательной» жизни), сдружились и нам вовсе не хотелось расставаться. И пепел Клааса застучал в мое сердце, жаждущее борьбы за справедливость. Особенно когда я себя увидел в списке переведенных в 5В (а наш был 5А). Сначала меня поддержал почти весь класс. Я призывал чуть ли не к забастовке. Кажется, один раз мы таки пробастовали несколько уроков — пошли в кино. Оно и раньше такое случалось — вдруг мы снимались всем классом и убегали в кино (в Киеве это называлось «пассовать уроки»), но теперь это проделывалось с высокой целью. Постепенно все утихомиривалось, но я не сдавался — приходил в школу, но на уроки не шел или шел в свой класс. В конце концов администрация сдалась, и меня оставили в покое — в своем старом классе. Так что защитил я только свои личные интересы, а не общественные, как хотелось бы. Произошло это потому, что последних не оказалось — как-то сами собой испарились. После этого мне не раз приходилось выступать как не принято, но больше никогда в жизни не претендовал я на роль народного вожака или трибуна. Выступал в индивидуальном порядке. Иногда мне кажется, что многие народные вожаки конца XIX — начала XX века начинали свою деятельность с не более серьезных поводов, чем я в первый раз, но в отличие от меня не могли вовремя остановиться. Осознавали всю несправедливость классового строя, связывали с этим все свое честолюбие и опоминались — и то не все — только «в шкафу» без пола (где ни к чему нельзя прислониться — упадешь вместе со шкафом) на конвейерном допросе 1937 года.

Надо сказать, что это мое глупое противостояние дорого мне обошлось. Видимо, произошла слишком большая нервная растрата, и в конце полугодия я огреб единственную в моей жизни двойку за четверть. Была она по украинскому языку, который я тогда, до и после этого знал довольно неплохо. Не скажу, что двойка эта точно определяла мои знания, но в то же время она не была результатом придирок. Учительница украинского языка, женщина строгая, но умная и с педагогическим тактом, была нашим классным руководителем. Отношения с ней у меня были

хорошие. Но как-то так вышло, что получалась двойка — что-то, видно, тогда застопорилось в моем мозгу. У меня и арифметика тогда шла туго — знаменитые запутанные задачи пятого класса. Они легко решаются уравнениями, и многие считают, что нечего зря детей мучить, лучше подождать до алгебры. Я в этом не убежден. Я не считаю лишней гимнастику ума. К тому же после них острее понимается суть и значение алгебры. Я никогда не был особым математиком, но все же никогда не боялся этого предмета, а тут и он шел у меня очень туго. Впрочем, после зимних каникул, когда я отдохнул и слегка подтянулся, все мои учебные дела опять вернулись в свою колею. Эпизод закончился. Пятый класс, трудный для меня во многих отношениях, остался позади, завершился вполне благополучно, не хуже, чем все предыдущие.

В процессе преодоления этих трудностей, часто чисто возрастных, заканчивалось и мое детство. Помню, как мне впервые в жизни сказали «Вы». Это сделала именно в это время тетя Варя, торговавшая на углу Жилианской и Владимирской семечками, леденцами и «маковниками» — так в Киеве назывались маленькие квадратики из мака — то ли с сахаром, то ли с медом. Очень тогда это подняло меня в моих глазах. Я почувствовал себя взрослым. Наступило отрочество.

Неожиданно я набрел сейчас на эту тему — на частную уличную торговлю на нашем углу. Этот «пережиток капитализма» то замирал там, то расцветал, но никогда не исчезал. Торговали чем угодно — леденцовыми петушками или рыбками на палочке, всякого рода и вида конфетами из переплавленного сахара, часто зеленую, в сезон — вареными «пшенками» (так на юге называют початки кукурузы). По-видимому, даже еще в начале тридцатых это не возбранялось, их никто не гнал. Потом начались на них гонения, и я видел, как, услышав крик: «Милиционер!», торговки, подхватив юбки и корзины (обычно они сидели на корточках, скамеечках или кирпичках у своих корзин), спешно разбегались перед железной поступью пролетарской диктатуры. Видел я, и как милиционер появлялся неожиданно и сапогом расшвыривал корзины, и тогда несоциалистический элемент разбежался в панике, но все равно на ходу подхватывал корзины и спасал на ходу что можно из раз-

брозанного. Я не видел, чтоб их арестовывали — просто разгоняли. Печально, что все — и дети, и взрослые — относились к этим картинам как к естественным.

Торговками этими поначалу были исконно городские женщины (к ним относилась и тетя Варя), потом их ряды стали пополняться беглянками из деревни. От одной из них я впервые услышал по своему адресу «жид», причем оскорбление словом сопровождало оскорбление действием. Я вертелся вокруг импровизированного торгового ряда на углу (там всегда толпился народ и шли интересные разговоры). Деваха эта, по-видимому, была мне знакома, может быть, из нашего дома. Я что-то у нее спросил, а она вдруг рассмеялась, сказала, как бы отвечая мне: «жид». И, видя мое недоумение, схватила кусок бумаги и, смехом, окунула в него мое лицо. Ей было от этого очень смешно и весело, а я растерялся и так тогда и не понял, что произошло.

Не могу сказать, что этот факт запал мне глубоко в душу — не такие тогда были времена. Да я теперь вовсе не считаю эту деваху исчадием ада, а этот ее грех (издеваться над детьми — грех), безусловно, ей простится. Вспомнил я этот случай вовсе не для того, чтоб лишний раз опровергнуть утверждения, что в тридцатые годы не было антисемитизма. Все и так знают, что он тогда был, хоть и подавлялся. Только к слову: просто это еще одна деталь того, теперь уже забывающегося времени. Как и торговки на углу.

Стыдно вспомнить, но тогда мы не задумывались о том, кому они мешали, эти торговки, почему их надо было и по какому праву можно было преследовать и мучить, обрекать на ту полуподпольную, то ли собачью, то ли близкую к героической, но явно нелегкую жизнь, которую они вели. Их услугами пользовались все, всем они были удобны, в том числе и самым идейным, но к их судьбе все были безразлично безразличны — как из идейности, так и просто так. Через эти каналы входила в нас бесчеловечность. Потом она обратилась против всех. И то, что их гоняли — тоже. Гоняли-гоняли торговков, — во имя доктрины, которая не была нужна даже тем, по чьим приказам гоняли, — а теперь и торговать нечем стало.

Впрочем, ряды торговков постепенно редели. К началу войны оставалась почти только одна тетя Варя, торговавшая то одним, то другим. Некоторое оживление в этом смыс-

ле я застал после войны, приехав в начале 1946 года в Киев на зимние каникулы. По-видимому, это были неизжитые последствия немецкой оккупации или результат послеоккупационной разрухи, когда начальству было не до этого. Почетное место в этом воскресшем торговом ряду занимала все та же тетя Варя, постаревшая, но такая же острая и активная. К 1951 году, когда я посетил родной город после ссылки, социализм был полностью восстановлен в правах — торговли исчезли.

Но на всех их появлениях и исчезновениях, в сущности, на всем их существовании, мое внимание долго не задерживалось. Я ведь вообще не был приучен уважать старания людей, направленные на их личное (и их семей) благополучие, — с детской прямолинейностью я считал, что это, во-первых, отвлекает от общего дела, во-вторых, что это тем самым обедняет жизнь. К моему огорчению, все вокруг — и далекие, и близкие, в том числе и мои родители, занимались в основном только этим. Как-то сами собой закрывались глаза на то, что давалось им это нелегко. Впрочем, последнее даже усиливало традиционное презрение к мещанству. Казалось, что это все дается им так тяжело чуть ли не от социальной отсталости, а сам я рожден для жизни совсем иной. Такой, как в кино, где люди отдают все свое время исполнению долга, а бытовые вопросы у них то ли вообще отсутствуют, то ли их решает кто-то другой.

В этом я бессознательно следовал большевистской традиции, с первых дней своей власти странно связавшей воедино — в своем и общем представлении — особую идейность и бескорыстное служение с особым снабжением. Так что оно даже начинало выглядеть как-то романтически. Правда, при Сталине, когда ореол романтичности утратила сама «идейность» (то, что теперь стали называть этим словом, романтизации не поддавалось), развеялся он и над особостью снабжения. Правда, в нем уже и не нуждались, поскольку этой особости не стеснялись, а поедали недоступное другим с достоинством людей, чего-то в жизни добившихся. Но корни шли оттуда, из романтически-идейных времен.

Далеко, однако, завело меня это воспоминание об уличных торговках. Но тогда я о них не думал — не до них было. Но, неблагополучие — прежде всего уже упоминавшиеся ложь и внутреннюю пустоту происходящего — я ощущал. А

раз так — следовало искать истину. И я погрузился в основу основ — в чтение основоположников марксизма. Это многих славный путь. О том, что мысль человечества этим не исчерпывается, я, пожалуй, знал, но основоположники, как мне тоже было известно, переработали это до меня, и мне не было смысла в этом копать. Да и не готов я был к этому и не было у мировой мысли ответа на мучившие меня вопросы. Они требовали не столько силы ума, сколько мужественной незамутненности сознания. Начал я, естественно, с самого, как я полагал, начала — с «Коммунистического манифеста» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Сначала в одиночку, а потом (как меня учили книжки о революционной борьбе, на которых я воспитывался) попытался организовать марксистский кружок. Не один, а со своими друзьями Люстиком и Гришей Шурманом (теперь он издал повесть под псевдонимом Шурмак). Мы тогда учились с Гришей в разных школах. С ним связаны мои первые шаги в, если можно так выразиться, детской литературной жизни. Следовательно, это было уже не в пятом классе — в пятом я еще в «свет» не выходил, — а в шестом или седьмом.

Пригласили мы из обоих наших школ ребят, а, главное, девушек (может, они и были одним из стимуляторов нашего революционного энтузиазма?). Провели время хорошо, не помню, прочли ли вместе хоть одну страничку «Манифеста», но говорили про многое. Потом решили немного вместе погулять по Саксаганского, и там на нас напали хулиганы. Потом выяснилось, что они были подсланы нашим одноклассником Витей Ф., приревновавшим нас к одной из девушек, которую мы как раз презирали как дуру (дурой она не была — за глупость мы тогда принимали, как это часто бывает и у взрослых, отсутствие интеллектуальных интересов) и которую пригласили в наше высокоинтеллектуальное общество только из-за ее подруг. Недоразумение рассеялось, и больше столкновений не было. С миром, где девушек «завоевывают» таким образом, я столкнулся впервые. А он был кругом. Сам же этот Витька был вовсе не плохим парнем и хорошим товарищем. Так я думал и в школе, в этом утвердился, встретив его в Киеве после войны.

Это почти все, что я могу вспомнить о нашем кружке. «Антисоветском», как написал бы в дознании следователь тогдашнего ГУГБ НКВД, если бы узнал об этом. Тем более

что в нем одним из его «организаторов» (не один же я этим загорелся) был сын «ныне разоблаченного врага народа» — тот же Люсик Шерешевский. Но, слава Богу, он об этом не узнал, а то б у него был лишний грех на душе, а у некоторых из нас — сломанные жизни. Изучать марксизм можно и даже нужно было, но только в установленном порядке и в специально отведенных местах. С остальными же поступали как с теми, кто в Отечественную, если рядом не было регулярных партизанских армий, незапланированно партизанил сам по себе. Дело, может быть, и патриотическое, но, поскольку никто им этого не поручал, подозрительное — лучше посадить. Так же и нас могли посадить. Даже с большим основанием. И девочек наших, которые ни сном ни духом. Как теперь подумаю, какая каша могла завариться из-за меня, — оторопь берет. А тогда — ничего...

Тогда мы обо всем этом часто и подолгу разговаривали вполне откровенно с Люсиком, Гришей и со многими другими. Конечно, доверяли друг другу. Да и вообще товарищам. Забегая вперед, могу сказать, что это доверие никогда меня не обмануло. Распространенное представление, что в те или какие-либо последующие годы из трех собеседников один обязательно был предатель, моим опытом не подтверждается. Посадили меня в 1947 году отнюдь не из-за предательства. Но это к слову.

И вовсе не все время мы себя чувствовали в конфронтации с режимом. Чаше мы, как и многие другие, хотели не столько изобличить товарища Сталина, сколько понять его правоту. Нам не могло прийти в голову, что это недостижимо и наказуемо. Тяжесть ситуации, в которой оказалась страна, мы (во всяком случае я) все равно до конца представить себе не могли. Действительность была страшней и нелепей всего, что о ней можно было подумать. Но что мы вообще тогда понимали в жизни? Мы только чувствовали ложь и пустоту всепроникающей официальной пропаганды, которая постепенно становилась отравленной и душной средой нашего обитания. Колоссальной тратой национальных умственных и нравственных сил было даже противостояние этой атмосфере, а получалось так, что и до него надо было дорасти. А ведь возникали и колебания.

О том, как плясало наше мировоззрение, свидетельствует следующий почти забытый, но теперь внезапно всплыв-

ший в памяти эпизод. Однажды мы с Гришей познакомились где-то с женщиной среднего возраста. Ни имени ее, ни профессии я не помню. Она была родом с Демиевки, знала и почитала моего дядю Иосифа и, наверно, поэтому отнеслась к нам с доверием — вылила на нас все, что ее переполняло. Это характерно — она была большевичкой, а дядя ортодоксальным евреем, авторитет его на еврейской Демиевке был вполне «старорежимный», но вот — действовал! Подобное я наблюдал и у других малых народов. То, что ее переполняло — что Сталин уничтожает лучших сынов революции и партии, — по нормальным меркам не отличалось ни особым умом, ни, тем более, мудростью. Ни даже бескорыстием: у нее среди этих «лучших» были близкие, кажется, даже муж. Это был обыкновенный всхлип оскорбленного революционного сознания, отнюдь не осознавшего своих собственных грехов и преступлений.

Вообще личностью эта женщина, помнится, была не то чтобы блестящей — из тех, кого поднимает идея и причастность к «общему делу» (оценка, конечно, сегодняшняя, а не тогдашняя). Но тогда для того чтоб не то что говорить, а даже подумать такое, необходимо было внутреннее мужество. Взрослые люди, с которыми мы делились своими сомнениями, обычно — чаще всего это были неплохие люди — снисходительно и ласково объясняли нам наши «наивные заблуждения». Были ли они искренни? Как понимать это слово? Они искренне говорили и защищали то, что думали. Весь вопрос, думали ли они искренне и думали ли что-нибудь по этому поводу вообще (на некоторых вся эта проблематика сваливалась неожиданно), но все равно они точно знали, что мы ошибаемся. Многие ведь и не догадывались, что должны об этом думать — думать для них означало уяснить то, чему их учат.

Теперь я понимаю, что вообще не ко всем надо предъявлять такие требования, что люди могут быть хороши и без мнения по многим поводам, но, как ни странно для такого времени, нам непрерывно внушалось, что сознательным должен быть каждый. Конечно, термин «сознательность» понимался внушавшими прямо противоположно его значению, но мы понимали его буквально. И требовали сознательности от всех. И, касаясь этих тем, обычно налетали на конфуз. Люди не думали или не хотели думать, но — убежда-

ли. И мы начинали сомневаться в собственных чувствах и элементарной логике...

И вдруг взрослый человек разделяет наши самые смелые мысли и предположения! Радость нашего общения была безграничной. Это был пир духа. Договорились до того, что следует гораздо шире распространять наши взгляды, чуть ли не организацию создать, чуть ли не листовки печатать. Расстались вполне восхищенные друг другом.

Но потом у нас начался очередной перелом во взглядах. И поскольку — слава Богу, только теоретически — полутон в духе времени мы не понимали, то долг нам как будто бы велел сообщить об этой женщине, куда надо. Но делать этого нам совершенно не хотелось. Почему? Конечно, это можно объяснить воспитанием — тем, что наши родители были порядочными людьми. Но, с другой стороны, родителей мы считали то ли представителями мелкобуржуазной интеллигенции, то ли мешанства и вроде бы следовать их «отсталой» морали не стремились. Я помню прочитанный мной чей-то рассказ, относящийся к временам Гражданской войны, в котором сын потешается над «наивным» возмущением своих интеллигентных родителей, пораженных тем, что он выдал ЧК скрывавшегося в их доме человека. Автор сочувствовал сыну. Как же! Ведь не мог же он изменить своим новым товарищам, искавшим повсюду этого человека.

В таких понятиях о верности нас воспитывали — и не клеветы Сталина, а те, кого он прикончил. Он это только использовал и огрубил, лишил обаяния. При нем предателей было не меньше, а больше, но ими были только подлые или темные, а также изнасилованные, запуганные люди, действовавшие отнюдь не потому, что их осенило откровение. В каком-то смысле наши переживания по этому поводу более характерны для более старших поколений. Откровениям своим нам изменять очень не хотелось, но доносить почему-то не хотелось тоже. Мы и не собирались. Только долго и мучительно подыскивали аргументы, почему в этом нет никакой необходимости.

На помощь нам пришла сама эта женщина. Словно почуввав неладное, она нашла возможность снова встретиться с нами и мимоходом сказала, что все это, конечно, досужие разговоры и делать нам ничего не надо. Мы с облегчением согласились и расстались навсегда, опять довольные

друг другом. Раз делать ничего не надо, то и доносить не на что. Теперь уж мы могли не доносить как бы и не против совести. Такое тогда могло происходить с человеческой психикой, такие противоестественными могли быть «муки совести»!

Самое печальное то, что со Сталиным действительно надо было бороться, но этого никто не делал: но, видимо, в изнасилованной стране к этому не был готов никто.

К тому времени — ибо описанный выше эпизод имел место несколько позже, чем шестой класс, на переходе в который прервалась последовательность моего жизнеописания — уже вошел в мою жизнь Маяковский, и весь наш бунт при его помощи постепенно сублимировался в ненависть к мещанству, в чем, как нам казалось, мы выступали с властью заодно. И это тоже было не так. Но биографически это уже больше относится к другим коллизиям — к моему на этот раз серьезному и окончательному увлечению поэзией, которое началось тоже именно в шестом классе.

Начало

В дополнение к «Пионерской правде» и к республиканской пионерской газете на украинском языке (к сожалению, забыл название) в Киеве появилась всеукраинская пионерская газета на русском языке «Юный пионер» (в Киеве произносилось: «пионэр»). Газета эта была мне приятна тем, что как бы стояла ближе к жизни киевских школьников. Там чаще появлялись номера знакомых школ, названия улиц и т.д. Но, хотя в ней, как и в «Пионерской правде» печатались, заметки и даже стихи самых настоящих школьников, это никак не ассоциировалось с тем, что там могу напечататься и я. И даже когда там были напечатаны какие-то стихи Люсика, ничего для меня не изменилось. Все равно — так складно я писать не умел. Мистика печатного слова оставалась. Но стихи, из которых ни одного не помню (да их и нельзя было запомнить), я писать продолжал, хотя читать стихи все еще так и не начиная.

К тому времени мое знакомство с поэзией ограничивалось несколькими общеизвестными стихами Пушкина и Лермонтова. Попадались мне на глаза и отдельные, в оби-

лии издававшиеся тогда к юбилеям сборнички стихов, но внимания на себе не задерживали. Поэзии я еще по-прежнему не понимал. Даже Маяковского, которого я принял и полюбил раньше, чем Пушкина. Последнее может многих удивить. Но это неудивительно — он, как это ни странно, намного проще.

Должен сказать, что классическая русская поэзия вообще открылась мне только после современной — в основном 20-х годов — при всей относительности последней. Подозреваю, что это нормально — вход в поэзию, особенно для варваров, каким был в этом смысле я, лежит чаще всего через современную поэзию. Конечно, есть и исключения. Например, М.А.Булгаков, всю жизнь любивший и понимавший Пушкина, а поэзию XX века и на дух не принимавший. Но у него это было результатом любви и сознательного выбора, а я был просто неграмотен.

Но однажды я написал стихи, менее плохие, чем обычно, и кто-то из моих друзей — не помню точно, Гриша или Люсик — предложил мне пойти с ним вместе на занятие литкружка при газете «Юный пионер». Редакция газеты помещалась на улице Воровского, раньше носившей поэтическое имя Бульварно-Кудрявская, теперь восстановленное. Улица эта шла круто вверх от Еврейского базара и была, как почти все киевские улицы, вполне зеленой, что может объяснять, почему она «кудрявская», но не почему «бульварная». Не тем же, что у Евбазы она как-то соприкасалась с бульваром Шевченко». Наверное, этимология ее названия объясняется историей города, которую я плохо знаю.

Прежде чем приступать к дальнейшему рассказу, хочу объяснить одну особенность глав, описывающих мою киевскую юность. Особенность эта — превалирование еврейских имен — объясняется вовсе не принципиальным отбором знакомых и друзей, а тем, что я говорил и писал по-русски, а по-русски в Киеве в это время говорили в основном евреи. Учился я в русской школе, посещал русские литкружки и т.д.

Редакция «Юного пионера» находилась в одном из помещений комплекса зданий, где размещались все главные республиканские и областные газеты и журналы, только не в центральном старинном здании, выходящем фасадом на улицу, а расположенной чуть выше по улице пристройке,

на четвертом, кажется, этаже. Входить надо было не с улицы, а с торца...

Надо ли говорить, что на кружке меня в пух и прах разгромили: и стихи, и пьесу, и что-то еще — писал я тогда все. Но я не огорчился — литературских амбиций у меня еще не было. Все, что там говорилось, вероятно, было наивно, громившие меня имели весьма приблизительное представление о литературном мастерстве, но в отличие от меня они что-то об этом слышали, знали, что существует такая материя. И я впервые начал понимать, что все тут не так просто, как кажется. Руководила кружком Ариадна Григорьевна Давиденко (будущий писатель-фантаст А. Громова), с которой мы вскоре подружились на всю жизнь. Тогда она была молода, немногим старше нас, но уже закончила университет. Была умна, образованна, красива (все эти качества оставались при ней до конца). И была она уже тогда человеком явно литературным. После войны она жила в Москве. Громова — не псевдоним, а фамилия по мужу. С этого времени я постепенно стал нащупывать другой мир — свой.

В те же дни я с Люстиком — кажется, по каким-то его делам — опять побывал в редакции, где познакомился с заведующей отделом литературы или культуры Ниной Харитоновной Разумовской. Оба эти посещения редакции произвели на меня глубочайшее впечатление. Впервые в жизни я оказался там, где что-то печатают, на моих глазах ДЕЛА-ЛАСЬ ГАЗЕТА. Я озирался по сторонам, но ничего чудесного не видел. Входили и выходили какие-то люди, вида, в общем, вполне ординарного, небожительство и не пахло. Сегодня, с высоты своего долгого опыта, я понимаю, что такое впечатление таит в себе опасный соблазн. Попадая в круги журналистской или литературной молодежи, в мир редакций, где достаточно много людей вполне заурядных, но среди которых на равных бродят и люди отнюдь не заурядные, а иногда и уже приобретшие известность, случайный человек быстро проникается убеждением, что не боги горшки обжигают. И сам смело принимается «обжигать». Но по отношению к литературе, искусству и подлинной журналистике утверждение это ложное. Если он не понимает это вовремя — его жизнь разбита. Он или будет просто несчастен и жалок, или вдобавок озлобится, а то и просто

начнет — конечно, в таком обществе, как наше — проникать в литературу бандитскими способами. Впрочем, и от этого он не станет счастливым.

Но тогда мне такие мысли в голову не приходили. Еще и потому, что на моем пути встретились такие люди, как Ариадна Григорьевна и Нина Харитоновна.

Нина Харитоновна мне понравилась. Несколько грузноватая женщина (как я потом узнал, она была тогда уже очень нездорова), лет сорока, с большими серыми умными и добрыми глазами, она создавала вокруг себя то, что я сегодня назвал бы атмосферой культуры. Как ни странно, она с первого раза почему-то отнеслась ко мне, к тому, что я ей показал, очень внимательно и серьезно — не думаю, что мои тогдашние стихи давали для этого хоть какие-то основания. Да она, собственно, и не говорила о них ничего хорошего, но сказала, что я, наверно, когда-нибудь — будет время — напишу что-нибудь очень стоящее. Не сейчас, а когда-нибудь. Это был первый человек, так меня воспринявший. Что она тогда почувствовала во мне и моих стихах? Может быть, то, что я почти ничего не писал попусту — стремился духовно самоопределиться (тогда в романтике) и выразиться. Придало ли это мне тогда уверенности? Не знаю. Наверное, да. Но важнее всего для меня было то, что меня вообще не отвергли. Это было для меня важно само по себе. Я переходил в другую культурную среду — практически это уже начиналась юность. В отрочестве я больше года не продержался. Разумеется, полностью оно не исчезло.

Надо ли говорить, что и до отрочества, и в отрочестве я много читал. Ходил в детскую библиотеку имени Коцюбинского, на Большой Васильковской (Красноармейской), против стадиона, теперь Центрального. Там работали интеллигентные женщины, давали мне читать с выбором. Но вообще мое чтение было беспорядочным. В основном любил книги про Гражданскую войну, революцию и путешествия, но в поисках этого читал все подряд. Обожал я ходить в самый близкий к нашему дому книжно-канцелярский магазин на углу той же Большой Васильковской и Сакаганского, в просторечии Маринской. Я подолгу простаивал у прилавка и мучительно рассматривал книги. Муки мои состояли, конечно, в том, что у меня почти не было денег, буквально копейки. Но, как ни странно, и на копей-

ки можно было тогда купить что-нибудь хорошее, издававшееся сериями типа «Школьная библиотека». И я покупал. Сборнички Пушкина, Гейне, «Гобсек» Бальзака, даже «Простая душа» Флобера (видимо, потому что там речь о представительнице народа) и многое другое, не менее ценное, было мной куплено именно там. Потом я стал покупать там и сборники современных поэтов, которые тоже, как правило, стоили очень дешево.

Там, например, за копейки я купил небольшой сборник избранных стихотворений Николая Асеева «Наша сила», о котором здесь еще придется говорить особо. Этот магазин неоднократно доставлял мне неожиданную радость. Я благодарен людям, которые в то страшное время находили для себя отдушину, занимаясь выпуском этих книг, «пробивая» под любыми предлогами и печатая что можно, таким образом сея свет. Вряд ли эти издания были особенно прибыльными. И хотя я убежден, что и книжное дело должно подчиняться законам рынка, иначе за книги платит общество, то есть и те, кто их не читает, но все же, если экономическое положение в нашей стране стабилизируется, я считаю необходимыми такие издания, включающие несомненно ценные произведения мировой и отечественной классики. Они должны распространяться по дешевой цене за счет частной, общественной или государственной благотворительности. Чтоб их имели возможность покупать дети. Общество должно за это платить. Это необходимое культуртрегерство.

Но это отступление. А здесь я хочу только сказать, что книгоцеем я был давно. А теперь я начал запоем читать новых поэтов. И, конечно, писать — очень скоро писать совсем по-другому. Но об этом позже, сейчас — о чтении. Прежде всего, как знает читатель, я стал запоем читать Маяковского, кумира тогдашней молодежи. Он, а не Пушкин или Лермонтов, был моей первой любовью в поэзии. Только вот — в поэзии ли? Забегая вперед, ответу: дело, по-видимому, было не только в поэзии, но все же и в ней.

Впрочем, Маяковский занял слишком большое место в моей жизни, чтобы упомянуть о нем здесь только мимоходом. Тем более что дело никак не ограничивается мной. Громадное место он занимает во внутренней биографии нескольких поколений нашей молодежи (не только поэтичес-

кой, а вообще интеллигентной). Так что говорить о нем, о его роли и о месте, которое он занимал в жизни и поэзии, придется более подробно. Хотя то, что я скажу, никак не претендует на анализ и оценку его творчества. Это больше обо мне, о нас, чем о нем. Но в связи с ним.

Маяковский и наша жизнь (Вставное эссе)

Я давно уже не поклонник этого поэта, и претензии мои к нему отнюдь не «гражданские» (такие людям моего поколения лучше предъявлять к самим себе), а глубинно-эстетические, общекультурные. В чем-то они смыкаются с «мещанской» оппозицией к нему, которая существовала всегда и которая в юности только усиливала мое тяготение к нему. В чем-то совсем не смыкаются. Конечно, я уже давно не презираю «мещанский» здравый смысл, не считаю даже, что он вовсе чужд или противопоставлен всему поэтическому, но и не считаю, конечно, что поэтическое сводится к нему. Я ненавижу все попытки подавить авторитетом некоего высокого вкуса (часто только считающегося таковым) непосредственность читательского восприятия, естественность читательской потребности. И я не считаю читательским восприятие человека, который случайно заглянул в стихи, ничего в них с первого раза не понял и обвиняет в этом не себя, а автора.

С Маяковским, конечно, все было не просто, скорее запутанно. Трудности, которые при чтении его стихов испытывал рядовой читатель, не были трудностями обогащающими, обязательными. Они часто представляли собой неоправданное насилие над читателем. И опять — Маяковский к этому насилию, безусловно, не сводится. А в то же время оно органическая часть его поэтического мировоззрения, которое позволяло ему идти на поводу у самоутверждения.

В этом смысле большое впечатление произвела прочитанная мной в середине восьмидесятых книга Юрия Карачиевского «Воскрешение Маяковского», особенно ее первая часть о дореволюционном творчестве поэта. Там показывается, как это самоутверждение мешает читательской самоидентификации с автором, другими славами, сопер-

живанию, сочувствию. Это значит, что читателю для того, чтоб воспринять эти стихи, надо через что-то в себе переступить. Безусловно, эта демонстративная легализация самоутверждения (а вовсе не служение «атакующему классу») наложила свой глубинный (и неприятный) отпечаток на дальнейшее развитие русской поэзии. Говорят, сам Карабчиевский, по его мнению, эту свою работу перерос. Но я так думал и до его работы — он просто талантливо и точно сформулировал это понимание. И я не вижу смысла ее перерастать.

Но я пишу сейчас не о том, каким я вижу Маяковского сегодня, а об его роли в нашей тогдашней жизни. Странно — это было время, когда «лучшего и талантливейшего» «насаждали, как картошку при Екатерине» (Пастернак), но при этом он был для нас единственно доступным глотком воздуха. Может быть, даже не очень свежего, но воздуха, а не суррогата, от которого нас потихоньку поташнивало — независимо от того, сознавали мы это или нет.

Прежде всего он был для нас отголоском предыдущей, послереволюционной эпохи и залогом того, что она продолжается и сегодня. Тем более, что ведь сам Сталин его отметил. Тем самым, кстати (без всякой, впрочем, своей вины), поэт облегчал нам конформистские выходы. Но главное, чем он был привлекателен для нас, — это его тотальный антимещанский пафос. Под этим знаком воспринималось и его дореволюционное творчество, и его приятие революции, и все последующее. От мещанского царства таким образом защищалась и любовь. «Я с небес поэзии бросаюсь в коммунизм. Потому что нет мне без него любви». Эти строчки сыграли, как ни странно, большую роль в развитии моих представлений о природе поэзии и о личности поэта. Да и личности вообще. При всей общественной направленности моих интересов, становилось ясно, что в поэзии любые общественные чувства должны иметь личную (точнее, личностную) подоплеку. Надо сказать, что потом, когда я стал понимать Пастернака, это было блестяще подкреплено и его опытом. «Нет мне без него любви» — означало, что поэту нет любви в этом негармоническом мире, где человек зависим от «быта», от имущественных отношений, от всякой прозы. Эта романтическая ненависть к прозе было тогда свойственна не только Маяковскому и заводила порой очень далеко.

«Я ненавижу мир, где женщины рожают. Где скверных пьяниц рвет, где дважды два не пять...» — писал в начале двадцатых молодой Павел Антокольский. Роды женщин и рвота пьяниц — в одном антипоэтическом ряду. Очень в тогдашней молодой литературе разного качества презирались кухни, пеленки и все подобное, отрывавшее, по мнению одних, от общественной жизни, по мнению других — от поэтичности. Впрочем, в представлении многих это совпадало. Даже Пастернаку, которому по складу личности и дарования никак вроде бы не пристало отвращаться от прозы жизни, — и тому показалось тогда адом место, «где женщин в детстве мучат тети. А в браке дети теребят». Кстати, откуда взялись «тети»? Присматривали за девушками? Другими словами, делали то же, что потом иным способом дети — мешали женщине выполнять назначение более возвышенное — беспрепятственно окрылять?

В самом этом желании вечной гармонии, радости и высокости нет для поэта ничего зазорного. Оно, можно сказать, подпочва поэзии, причина боли, романтики трагической несовместимости с бытием. Но никогда это стремление к гармонии не выливалось в столь конкретные требования к бытию, выговоров ему. Это было в духе времени, когда люди стали «штурмовать небо», когда требование гармонии претворилось в утопические планы, когда невозможного не стало, ибо все жили для невозможного, а сомневающихся в этом считали низменными и, возмутившись, порой даже убивали сгоряча. Гармония стала утопией, утопия — критерием оценки жизни и требований к ней...

Так что фраза Маяковского о том, что без коммунизма ему нет любви, сегодня мудрой не кажется и сочувствия не вызывает. На свете жило и живет много поэтов, которым «была любовь» и без коммунизма, которые переживали ее драму в этом негармоническом мире. Более того, именно в противостоянии дисгармонической действительности особенно остро ощущалось обаяние поэзии.

Все это так. Но тогда только таким образом я мог получить представление о необходимости гармонии. Да, здесь она подменялась и огрублялась утопией, т.е. реальным стремлением ее воплощения в жизни, но ведь очень много было на свете стихов, где и в подтексте не было ни гармонии, ни ее заменителя, а просто рассказывалось о перипетиях лич-

ной или общественной жизни. Для меня не удивительно, что на коммунизм клевали иногда подлинные поэтические личности во всем мире (Назым Хикмет, Поль Элюар) — заложенная в них тяга к гармонии соблазнялась утопией. Кстати, в творчестве эта тяга к гармонии могла оставаться самой собой. Как ни странно, соблазн коммунизма (конечно, если коммунисты не у власти) не всегда противоречит творчеству. Но все равно ведет к трагедии, к разладу, потому что гармония — естественная потребность, а утопия — ложное обещание, обман. И все-таки место гармонии (хоть я не знал еще этого термина) в поэзии я начал понимать на творчестве Маяковского. Через него мне потом открылись и другие поэты, включая Пушкина. Не говоря уже о том, что именно в связи с ним я вышел на Блока, Ахматову и других, больших и малых, в том числе и «революционно попутнических» поэтов XX века. Но это уже не его заслуга — другие выходы для меня, провинциального мальчика из средней семьи, были если не просто закрыты, то плохо освещены, не видны. В связи с Маяковским всплывали их имена и строки, вспыхивал интерес.

У его популярности была еще одна причина, отчасти связанная со многим, о чем сказано выше, со специфическим для того времени восприятием антимещанского пафоса, о котором уже шла речь. Но речь идет не о глубинном бунте против нормального бытия, а о самом наглядном неприятии «советского мещанина», к которому глубинный бунт при желании только подверстывался, как исток. Этого мещанина мы ненавидели, хотя принимали за него нечто другое.

Надо сказать, что и тут мы хватали лишку. Насмешка над советским обывателем, захваченным врасплох идейной властью, определение ценности его личности и даже ее права на жизнь, исходящая из требований, которые представители этой власти вправе (и обязаны) были бы предъявлять только к самим себе, кажется мне сегодня противоестественным хамством. Кстати, как и вечные жалобы «идейных» на «примазавшихся» (слова-то какие инфантильные, Господи!), — дескать, все дурное от них. Если кто-то захватил и подчинил своей идее всю жизнь страны, не оставив никому никаких дорог, кроме как с ним, если практически вынудил каждого жителя как бы оправдывать свое право на

существование не только обязательной лояльностью, но и тем, что его жизнь полезна этой не своей «идее», то этот «кто-то» не вправе жаловаться, что к нему «примазываются». Какими бы ни были эти «примазавшиеся» и как бы мы к ним ни относились, в том, что они вынуждены были к нему «примазываться», виноват он сам. А поскольку в большинстве случаев обыватель жил и чувствовал не совсем так, как выходило по «идее», достигался еще один, может быть поначалу побочный, но оказавшийся полезным для власти эффект — этот обыватель всегда чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. Таков самоубийца Н.Эрдмана, таковы герои М.Зошенко. Все эти соображения я привожу здесь только для того, чтобы задним числом не участвовать в этой позорной травле обывателя.

Но Маяковскому мы были благодарны именно за нее. Обыватель, мелкий буржуа, бездуховное и безыдейное мурло мещанина, — это было именно то, что погубило революцию и в то же время то, в отрицании чего, как мы были уверены, мы все были заодно с властью. Другими словами, злом, против которого можно было выступать (и к которому, что самое главное, можно было легально сводить все, что нам не нравилось). Это было нам очень нужно — особенно когда мы диалектически переходили на сторону власти...

Правда, мы и тут ошибались. Антимещанский пафос интересовал предыдущую формацию власти — Бухарина, Луначарского, Троцкого — вообще «революционеров». Они требовали идейности, а безыдейность ассоциировалась с мещанством. Инфантильный термин «примазавшиеся» — слово из их лексикона. Сталин же, при котором мы жили, не только этому антимещанскому пафосу не симпатизировал (конечно, отнюдь не их тех соображений, из которых исхожу сегодня я), но относился к нему враждебно. И, надо сказать, имел для этого все основания. Он расставлял повсюду других людей, никакими идеями не обремененных, часто имевших весьма смутное представление о том, что такое идейность, но дисциплинированно готовых усвоить любое толкование и «выполнить любое задание». Из таких и формировался его аппарат — в центре и на местах — его номенклатура. А ведь они-то с точки зрения ортодоксального большевизма в массе и должны были считаться «безыдейными», «мещанами» и даже «примазавшимися».

В принципе такая «верноподданность» — вещь нормальная для чиновника, а чиновники нужны любому нормальному государству. Но беда в том, что сталинское государство не было нормальным, что «чиновники» эти обязаны были быть стражами «идейности», что очень часто они были случайными, а то и малограмотными людьми и что проводить они должны были странные, чреватые страшными последствиями мероприятия. И приспособленный к уровню их понимания «идеал». Конечно, в нашем антимещанском пафосе было отрицание и этого «идеала», и его носителя, в сущности — номенклатуры. Даже когда мы оправдывали Сталина, эти люди мыслились как безыдейные мещане, пробравшиеся на важные посты. Но Сталин лучше знал, как и благодаря кому они «пробрались». Именно на таких он и ставил. Так что неудивительно, что он подверг разгрому фильм «Закон жизни» по сценарию известного тогда, обласканного самим Горьким писателя Александра Авдеенко о комсомольском работнике-мещанине. С той поры номенклатурные и партийные работники должны были в фильмах и книгах выглядеть только положительно. И вообще борьба с мещанством не одобрялась. У нас не было больше мещан. Т.е. были, но в отдельных случаях.

Но Маяковский оставался лучшим и талантливейшим, а у него все это было в полной мере. Даже зачатки номенклатуры он заметил (стихотворение «Помпадур», пьеса «Баня») и говорил об этом прямо, хоть и с революционных позиций. Но они тогда были для меня естественны.

И каковы бы ни были мои сегодняшние претензии к нему, в поэзии он был очень цельной фигурой и моей первой любовью. Конечно, он очень талантлив. И неудивительно, что через него мне открылись и многие другие поэты, часто на него совсем непохожие... Он был живым воплощением противостояния поэзии «быту», в том числе и тогдашнему, которому надо было противостоять. И мы за него хватались как за соломинку. И то, что он был порой трудно читаем, нас не отталкивало — это мещане любят гладкопись, а нам в ее отсутствии открывается высокое причастие. Так чувствовал я; и не только я. И я ему подражал — и в стихах, и в жизни — даже старался вести себя скандально, хоть это и противоречит моей природе. Но зато — против мещанства.

Соблазны далекой запутавшейся (да и специально запутываемой) юности. Такую роль сыграл в нашей жизни Ма-

яковский. Он нас возвращал к бунтовщицким истокам и к культуре, располагал к непримиримости и к конформизму, к правде и к обману. И все-таки к какому-то духовному самосознанию. Потом оно у многих изменилось, но для того чтоб измениться, оно должно было быть порождено, сохраниться и утвердиться в то время как вся мощь сталинского оболванивания была направлена на его исчезновение. И в том, что оно не исчезло, есть и его заслуга. Волей судеб? Конечно. Но для того чтоб соответствовать этой воле судеб, надо было что-то и иметь. И сквозь все мое сегодняшнее неприятие его творческого направления я смиренно и с благодарностью признаю: что-то в нем было и есть. И это «что-то» — немалое.

* * *

Но все эти коллизии с Маяковским были потом — вскоре, но потом, а тогда я только начал его читать. Правда, все, что было со мной до войны, было «вскоре» — срок был больно короткий. Ведь она началась уже через два с половиной года после того, как я впервые в тринадцать лет шестиклассником пришел на занятие литкружка, началась, когда мне было неполных шестнадцать, и я перешел в девятый. Но очень многое вместились в эти два с половиной года, многое произошло во мне, со мной и страной.

За эти годы я навсегда ушел из жизни двора. Участие мое в жизни семьи тоже теперь сводилось к минимуму. Все мое время и внимание, кроме школы, занимали стихи, книги и разговоры с товарищами. Товарищами по школе и по литкружку. В сущности, это было одно целое, оно расширялось и перемешивалось. Я жил в городе, где у меня появлялось все больше и больше знакомых и друзей, с которыми разговаривали о том, что волновало. Становился шире и глубже круг моих мыслей. Во-первых, потому, что я становился взрослей, во-вторых, — к моим прежним размышлениям прибавились размышления о поэзии. Разумеется, мои тогдашние «мнения» как общественные, так и эстетические, были еще очень далеки от моего сегодняшнего понимания, но они у меня уже были. Даже о поэзии.

Впрочем, хотя кружок произвел на меня колоссальное впечатление, поначалу я по-прежнему не надеялся, что стану поэтом. Но стихи начал писать с каким-то невероятным упорством — как говорится, в школе и дома. Пробовал

себя и в других жанрах, писал еще рассказы и пьесы — из революционной жизни, конечно (другой я еще не знал). Впрочем, и о шпионах тоже бывало — как в тринадцать лет обойти эту увлекательную и насущную тему! Написанное ташил на кружок, где оно неизменно обругивалось. Но это меня не останавливало — к следующему занятию кружка я снова что-нибудь приносил. И все повторялось. Но кое-что и менялось. Ведь обругивали меня с самых «высокопрофессиональных» позиций, какие только и могут быть у неофитов. Каждый, кто впервые хотя бы на отдалении сталкивается с литературными кругами или кружками, немедленно становится неофитом профессионализма, начинает горделиво понимать, «как это сделано». Это может быть и на пользу, если человеку есть что сказать и он долго на этом не задерживается. Или безвредно — если человек в юности побалуется, а потом бросит. Это ведь литературная грамота. Процесс овладения ею в чем-то сходен с процессом овладения просто грамотой. Сначала человек не умеет писать вообще, потом, научившись, пишет везде, где удастся, и только в конце концов пишет, где надо. С той только разницей, что до этого последнего этапа литературной грамотности добираются немногие. Жалко тех, для кого это «как сделано» останется высшей и последней мудростью или лучшим воспоминанием, кто за этим так и не вспоминает о более элементарных вопросах — «что?» и «зачем?».

Но если на этом особенно не задерживаться, это необходимый этап. Мне тогда, во всяком случае, все это пошло на пользу. Рассуждения литкружковцев не могли быть особенно квалифицированы, то, что говорила Адочка (так мы называли между собой нашу руководительницу Ариадну Григорьевну), было вполне квалифицированно, но поначалу ее мыслей до конца по малограмотности еще не понимал я сам. Но все вместе это открыло мне одно: что все тут не так просто, как кажется случайному читателю, и что тут есть о чем думать. И этого оказалось достаточно. Развиваться в этом направлении я стал с этого времени очень быстро. Если в начале этого периода я не понимал, что поэма одного из моих друзей представляет собой подражание «Думе про Опанаса» Эдуарда Багрицкого (до этого я слышал однажды по радио «Смерть пионерки», но не задумался над тем, кто ее автор), то теперь я любил Багрицкого и оперировал этим именем вполне свободно. Очень высоко

котиrowался в моих глазах Асеев. Как друг Маяковского и как поэт антимещанского пафоса. Импонировала сама его формула приятия революции: «Да здравствует революция, прогнавшая власть стариков!» Впрочем, в те времена эти стихи Асеева, хотя сам он тогда был не только в славе, но и в чести, уже не печатались.

Была такая категория произведений 1920-х годов — они не преследовались, но, по возможности, и не печатались, а когда печатались (совсем их не печатать было нельзя — некоторые из них считались советской классикой), то искаженными, приглаженными, нафиксатуренными. В них не было никакой политической взрывчатости, но они просто не соответствовали эмоциональной атмосфере наступившей эпохи, напоминали отмененные времена, которые поэтому тем, кто их не знал, начинали казаться романтическими и чистыми. Отсюда и тяга к революционной, «попутнической» литературе 1920-х годов, к ее «настоящим» текстам.

В магазине, который уже здесь упоминался, я набрел не только на Асеева, но и на неизвестного мне тогда Александра Прокофьева. В шестидесятых среди ленинградской (не литературной, правда) интеллигенции о Прокофьеве как о поэте судили по его поведению в должности главы ленинградской писательской организации, поведению — что говорить! — очень непривлекательному, и поэтому считали чуть ли не бездарью, а он если уж чем точно не был, так это бездарью. Даже тогда, в момент наибольшего своего падения, когда он («секретарским» образом) печатал целые подборки невыразительных стихов, в них — пусть одно на десять — попадались стихи подлинные, первозданные. А когда я впервые прочел его предвоенный сборник, я просто был ошеломлен и поражен яркостью его стихов. Признаюсь сразу — Прокофьев никогда не относился к числу моих любимых поэтов. Его внутренний мир не требовал самоуглубленного лиризма, необходимого мне для полной самоидентификации с автором. Но он мне всегда нравился, всегда поражал и радовал меня каким-то лихим самоупоеанием самим процессом жизни, яркостью восприятия. Особенно в первый раз. К такому я не привык и такого не ждал. Это противоречило всем моим представлениям о поэзии. Но это было поэзией, в этом была сила поэзии. Я ее чувствовал, хоть не знал, почему это так.

Читал я и многих других поэтов. Старых тоже. Лермонтова, естественно, (болезнь возраста, хоть у некоторых этот возраст навсегда) предпочитал Пушкину. Пушкина, следуя Маяковскому, «сбрасывал с парохода современности». Это мне давалось тем легче, что я искренне верил, что в отличие от Лермонтова, у которого глубокие чувства, у Пушкина одна только гладкопись. Но потом это прошло — Пушкин все равно как-то исподволь проникал в меня и проники. Читал я и Ярослава Смелякова. Его «Любка» потрясла меня, как и многих своим хотя и комсомольским по сюжету, но все же неприкрытым лиризмом. Из-за чего она и считалась упадочнической. Особенно в годы первой пятилетки, энтузиазмом которой Смеляков оставался до последних дней. Тем не менее на ее исходе он был арестован — еще не НКВД, а славными органами ОГПУ (другими словами, до вакханалий «тридцать седьмого» — может, поэтому он и не был объявлен «врагом народа») за какую-то реальную или приписанную выходку (точно, в чем было дело, не знаю) и в описываемое время заканчивал свой первый лагерный срок. Пока он сидел, сменились эпохи, посадили тех, кто его сажал (конечно, не за то, что они это сделали), а он все сидел. Но по окончании срока он вернулся в Москву. Это было уже перед войной, перед новым кругом его мытарств, через год или два после моего знакомства с его стихами.

После того как в мою жизнь вошел литкружок, время для меня сорвалось с места и полетело. Скоро я уже не только читал стихи, но и писать их стал иначе, чем писал до этого, начал серьезней относиться к своему творчеству — стихи стали четче и определенной. И понемногу я начинал чувствовать силу. Да и другие стали говорить обо мне серьезней.

Тогда я написал первое запомнившееся мне стихотворение, представляющее собой хоть и юношескую, наивную, но все же собственную реакцию на жизнь:

Так спокон веку повелось —
Что умным в жизни счастья мало.
А дураку — где взгляд ни брось,
Судьба повсюду помогала.

Я разгадал секрет. И вот
Я говорю: к нам счастье строго,
Не потому, что не везет,
А потому, что надо много.

Стихотворение это, написанное мной в шестом классе, конечно, юношеское, неумелое. В нем «где» вместо «куда», «помогала» вместо «помогает», словесные неточности — вроде выражения «к нам счастье строго». Может удивить и нескромность отнесения «нас» (то есть и самого себя) к разряду заведомо умных. В принципе, как «ученик Маяковского», я тогда на такое был способен, но не поручусь, что и эта нескромность — не результат неумелости. По-видимому, имеются в виду не «умные», а «мыслящие», «взыскующие града». Впрочем, мне тогда понятия «умный» и «мыслящий» казались тождеством. Помню и такое четверостишие, где та же путаница:

О том, что нас мало, что будет беда,
 Жужжит мне дурак везде уже.
 Но сколько нас бродит по всем городам
 И влюбляется в умных девушек.

В этом четверостишии больше самосознания, ощущения поколения и даже четкости, но есть громоздкость, и всего стихотворения я не помню, так что приведенное раньше восьмистишие я так или иначе считаю первым своим стихотворением.

Но все больше занимаясь поэзией, все же главным образом я продолжал учиться в школе. И отнюдь не в старших классах — в шестом, в седьмом. Большого противоречия между школой и своим увлечением я долго не замечал. У нас была хорошая учительница по языку и литературе Мария Ивановна Семенович. Потом, в конце моего пребывания в этой школе у меня с ней вышел конфликт, но главного он не меняет. Она вполне соответствовала детскому представлению о том, что учитель литературы должен быть не только грамотным, но и культурным человеком, любящим и понимающим литературу. Она и сама писала стихи. Однажды, уступая нашей с Люсиком просьбе, даже прочла нам их в пустом классе, и они нам понравились. Вроде, если мне не изменяет память, в них тоже была романтическая печаль по «весне военного коммунизма». Во всяком случае они были вполне современны по интонации и поэтике. Так что особого противоречия между школьной и не школьной литературой я чувствовать не мог. Правда, рядом была учительница, которая, когда проявлялась, этих качеств не выказывала (а детский суд строг), но она преподавала не у

нас, и мы ограничивались тем, что презирали ее, как мешанку. Впрочем, в рамках школьного обучения она была, по-видимому, человеком сведущим — тогда еще в городах иное и не мыслилось.

Начались влюбленности. Мы с Гришей и еще несколько ребят были влюблены в его одноклассницу Тамару. А она «любила» не нас. Все это не мешало нам всем дружить самой нежной дружбой. Но все перипетии наших чувств отражались в стихах. Помню строки из забытого стихотворения:

Завтра — контрольная. Завтра — гроза.
Выучил я до нормы...
Но если из книги глядят глаза
Вместо химических формул!

Напоминаю: все это происходило во второй половине тридцатых годов. Несмотря на все мои подозрения насчет преданной Сталиным революции и уничтожения настоящих революционеров, а также насчет безыдейности комсомольских работников — я до конца не знал и не представлял, какие это годы. У Давида Самойлова сказано о его ровесниках до войны: «В них были вера и доверье». У меня вера была не всегда (часто сомневался), но доверие — было. И не только к людям — оно у меня осталось и редко меня обманывало. Но и иное доверие, допустим доверие к званию. Не только к званию учителя (что раз учит, значит, знает), но, несмотря на филиппики против безыдейных карьеристов, даже к званию партработника. Я полагал (иногда!), что некоторые из них чего-то не понимают, а иногда — поскольку держались они очень уверенно, — что они, вероятно, имеют в виду нечто, чего не понимаю я. Что они ведут себя уверенно, ничего, кроме последней установки, в виду не имея, а порой и не зная, что надо (или даже сознавая, что не надо) что-то иметь в виду, я мог себе тогда представить только отвлеченно, даже не теоретически, а риторически. При встрече с живым человеком это знание улетучивалось. И это способствовало моим переходам на официозные рельсы, тогда и позже.

Как я теперь понимаю, эти мои переходы на официозные рельсы были для меня, как это ни странно на первый взгляд, наиболее опасны. Когда я бывал «против», я все-таки бывал в какой-то степени осторожен, а когда «за», осторожность терял всякую. А этого делать нельзя было ни

в коем случае. Для Сталина и сталинщины своих не было, сторонники не требовались. Требовались холопы, не задающие вопросов и знающие свое место. Неудивительно, что и арестован в 1947 году я был, находясь на восторженно-официальных позициях. Нужны они были кому-то, мои позиции!

В детстве они были тоже никому не нужны, но я этого еще не знал (впрочем, как в юности и молодости). И поэтому полагал, что «антимещанские» пафос тогдашних моих стихов соответствует не только моим чувствам и мыслям, но и «линии», и должен быть близок и желателен тем, кто ее проводит. Кроме того, тут я следовал Маяковскому, превозносимому за это же до небес. Да и партию ведь, если она партия, не могло же не пугать, что ее «великое дело» может потонуть в море безыдейности. Представить же, что к тому времени это образование уже не было партией и его ничто не могло волновать, я тогда до конца еще не мог.

Мои представления о ней — это тот определяемый вовсе не возрастом инфантильный антропоморфизм, в который впадали, ища объяснения примитивным решениям, не только зеленые юнцы, не только ошалевшие граждане изнасилованной страны, но и государственные деятели независимых и даже враждебных государств. Не говоря уже об «интеллектуалах», для которых все примитивное — неправдоподобно. Всем человечеством мы придумывали объяснения и мотивы поступков Сталина и его порождений — ему и трудиться не надо было. Потому что то, что мы видели и что проявлялось достаточно открыто, было слишком нелепо, слишком низменно и слишком унижительно — хоть для меня, хоть для Черчилля (для него чуть менее — он не беспокоился о чистоте «идеи»).

Но тогда я все принимал за чистую монету, и неприятности у меня начались очень скоро. Все они происходили вокруг директора нашей школы Ивана Федоровича Головача, личности вопреки мнению многих, кто его знал, примечательной, представлявшей собой любопытный штрих того времени ну хотя бы потому, что в школу он попал, будучи по какой-то причине снят с поста редактора какого-то республиканского партийного журнала. Одно время он преподавал у нас украинский язык и преподавал хорошо, чувствовалось, что он к этому вполне подготовлен.

Пластов культуры за ним не чувствовалось, но квалификация была. Видимо, кончил нечто вроде Института красной профессуры. Повторяю: неграмотных учителей тогда в городах почти не было.

Но вернемся к директору. Оговорка насчет иного мнения многих не лишняя. Такой высокоинтеллигентный, порядочнейший и тонкий человек, как Ирина Владимировна Бошко, преподававшая тогда русскую литературу в старших классах нашей школы, никакой примечательности за ним не признает. Она вспоминает об его примитивизме (приставал к уборщицам) и хамстве. Ей приходилось выдерживать неприятные схватки с ним на педсоветах (в том числе и в мою защиту). Ее он тоже травил как мог, чувствуя в ней «животное иной породы» (она происходила из старинной интеллигентной семьи), и испортил ей много крови. И, конечно, все это характеризует его. Я и не утверждаю, что он был хорошим человеком. Но тривиальным — особенно для своего времени — он тоже не был.

Схватки мои с Головачом начались со стихов, которые я прочел то ли на школьном вечере, то ли даже на школьном литкружке, куда как раз в это время нелегкая занесла директора. Ей-Богу, они не были антисоветскими — что-то опять насчет мещанства. Или еще более глупые — против танцев. Танцы тогда перестали преследоваться и начали поощряться, даже пропагандироваться. Они символизировали достигнутое счастье, заглушали память о недавних трупах на улицах и «громыхание черных марусь» (они же — «черные вороны»). Людей уводили в никуда среди всеобщего счастья, символизируемого танцами. Кое-что из этого я, наверное, чувствовал и тогда, но главное, что я справедливо чуял в общем танцевальном ликовании — это противопоставление дорогому мне революционному пуританизму. Поэтому я всячески поносил тогдашних танцующих, за что сегодня запоздало прошу у них прощения, и разоблачал танцы как «скрытое лапанье», за что прошу у них прощения вдвойне. Во-первых, потому, что в танцах нет ничего плохого, во всяком случае гораздо меньше, чем в моем революционном пуританизме и идейности, во-вторых, потому, что слишком многое вскоре после этого легло на плечи этих тогдашних «безыдейных» парней и девушек — хорошо, что хоть потанцевали немного.

Тем не менее, директор уловил в этих стихах крамолу. Возможно, даже почувствовал то, чего я и сам не понимал, а именно — то, против чего я на самом деле протестовал. Он ничего не понимал в литературе, в общекультурных вопросах (и в этом смысле был тускл — тут Ирина Владимировна была абсолютно права), но политическую обстановку он, судя по всему, понимал тонко — не только нюхом чувствовал, но и понимал. Так или иначе, разразился скандал. На первый раз не очень крупный. Но с тех пор он буквально начал меня преследовать. Мог, встретив меня в коридоре с какой-нибудь бумагой в руках, остановить и вырвать ее для проверки. Со стороны (и из другого времени), вероятно, это выглядело бы смешно — крупный импозантный мужчина в сером костюме, борющийся с малолеткой-недомерком за какую-то бумажку. Но тогда это не выглядело смешно. Правда, и особой опасности я тоже в этом не ощущал. Может быть, по глупости. Вообще, оглядываясь назад, могу сказать, что судьба меня всю жизнь хранила, как лунатика. Лучше было бы сказать «Бог», но не хватает самомнения.

Однако ситуация эта должна была чем-то разрядиться, ибо писать я не бросал, а его это не переставало беспокоить. Он ясно чувствовал, а может, и сознавал существо нарождающегося строя и хотел к нему приспособиться. Может быть, это было связано с обстоятельствами, при которых он был снят с поста редактора, — не знаю. В сущности очень многие из пострадавших тогда партийцев больше всего хотели доказать свою продолжающуюся верность партии. К тому времени уже давно силой вещей вся вера коммунистов сводилась только к вере в партию, в объединение партийцев, в самих себя, как в фетиш, в тавтологию. Это был абсурд, но к нему привыкли, и он устраивал — и материально, и нравственно. Потерять это — значило потерять не только положение, но и оправдание жизни и кое-чего из содеянного. Почти все они хотели доказать свою преданность, но не всем была предоставлена такая возможность. У расстрелянных и посаженных ее не было (хоть и у них была такая потребность). Головачу — повезло. И он старался — по-моему, вполне сознательно. События не заставили себя ждать.

Однажды (это было уже в седьмом классе) на каком-то праздничном вечере я прочел свое новое, довольно длин-

ное стихотворение, точнее, романтическую балладу. Написано оно было от имени некоего партизана Гражданской войны и обращено к его боевой подруге, которую он когда-то любил и с которой он вместе боролся с врагами революции. Потом он был ранен, потерял ее из виду и обнаружил только теперь. И — о, ужас — какие метаморфозы:

Я смотрю и вижу,
И глазам не верю.
Барыня какая-то
Приняла меня.
Не она — работница
Мне открыла двери...
На диван сменила ты
Буйного коня.

Целиком я этого стихотворения не помню и не хочу помнить — все оно было написано в таком духе. Ритмически оно подражало смеляковской «Любке», но поэтически оно все было написано столь же наивно и неопределенно, как приведенные строки. Однако впечатление почти на всех, в том числе и на меня самого, производило оглушительное, как всеобщий крик души. Теперь я понимаю, что по тогдашним нормам оно, действительно, было на грани, хотя буквальное содержание не дает для этого никаких оснований. При желании его бы вполне можно было истолковать как дополнительный пинок в спину оттесняемым от сцены. Дескать, раньше-то вы, может, и «мчались в боях», а теперь омещанились, ожирели и все предали. Но так никто не истолковывал. В том числе — вопреки собственному сюжету — и я сам. И дело не в каких-то поэтических иносказаниях, — их тут и следа не было, — дело в контексте времени.

Конечно, советская начальственная барыня конца 1930-х ни на каких конях никогда никуда не скакала, она с самого начала выбивалась в барство или быстро привыкла к нему, когда «выдвинули» ее мужа или ее самое. Но всем важна была констатация того, что бывшее раньше высокой романтикой (знали бы мы тогда, чем оно на самом деле было!) теперь превратилось в бессмысленное барство, в обступающую со всех сторон бездуховность. Собственно, эта коллизия часто встречалась в попутнической литературе 1920-х годов, и тогда это вовсе не считалось крамолой. Подсознательно я только подражал этой традиции — конечно, не с

целью переадресовки обвинений. Но вне традиции я еще не умел ни мыслить, ни выражаться. Да и не было у меня еще жизненного опыта для того, чтоб почувствовать реальные черты антигероя наступившего времени. Через год разразился уже упоминавшийся скандал с кинофильмом «Закон жизни» по сценарию дотоле вполне ласкаемого Александра Авдеенко, впервые нащупавшего образ этого героя. Состоялась первая тотальная проработка писателя, с участием коллег «выяснилось» (у Сталина всегда все к случаю «выяснялось»), что свою, тогда знаменитую, книгу «Я люблю», написал не он сам, а Горький за него, словом, Авдеенко стерли в порошок. Таким путем всем дали понять, что этот герой неприкасаем, находится под особой охраной государства и партии.

А наш директор знал заранее, куда идет. Может быть, потому, что знал, откуда шло. Поразительно, что при всей травле он никакой личной враждебности ко мне не испытывал, скорее симпатию. И иногда потом разговаривал со мной вполне откровенно. Но это потом.

Я не помню, что именно он предпринял сразу, но какая-то атака была. Причем имела она целью, как вскоре стало ясно, выпереть меня из школы. Какую-то роль в этом сыграла (кроме баллады) и каким-то образом (не помню, каким) попавшее ему на глаза другое мое стихотворение — «Лирическое отступление» (подражание асеевскому). Его он счел упадочническим — было тогда такое слово. Дело вышло громкое. Дело усугублялось еще одним моим «преступлением» — я «проявил неуважение» к Герою Советского Союза, участнику боев на озере Хасан. Это была первая еще до боев в Монголии, схватка наших войск с японцами и тогда много о ней писали в газетах и говорили по радио. Пионеры клялись этими героями. А я... На самом деле никакого неуважения к этому герою я не мог проявить, ибо его не испытывал. Было другое.

Однако расскажу по порядку. Была устроена встреча нашего отряда с этим героем, тогда курсантом артиллерийского училища. Для этого мы с нашей пионервожатой приехали в училище на Соломинку. Нас принял довольно приятный рыжий парень, видимо, член комитета комсомола, отвел в какой-то класс, усадил, сел за стол, предупредил, что герой сейчас придет, и стал говорить что-то подобаю-

щее случаю. Мы, как положено в таких случаях, молча внимали. Когда появился сам герой (я помню его фамилию, но не хочу ее называть, ибо он тут вообще ни при чем). Рыжий сделал соответствующий знак рукой и вполголоса предложил: «Встаньте, ребята, встаньте...» Все встали, я не встал.

Вот и вся история. Почему я это сделал? Я вполне уважал героя и его героизм, но меня оскорбила преднамеренность, инсценировка такого дружного проявления этого уважения, словно его на самом деле не было, и надо было его имитировать. Конечно, в своих истолкованиях я был не совсем прав. Рыжий ничего не собирался инсценировать — его просто подвела военная ритуалистика, вполне уместная в армии, но не уместная на «гражданке». Но слишком много было вокруг фальсификаций, слишком они меня раздражали и слишком похож этот эпизод был на любую из них. Так что в каком-то смысле я был и прав. Но когда я вспоминаю, что было с этими хорошими ребятами года через полтора после моего «подвига», мне становится не по себе — лучше бы встал. Но независимо от моих чувств — тогдашних и позднейших — поступок этот тогда работал против меня, приплюсовывался к числу моих прегрешений.

Не помню, стали меня тогда гнать из школы или нет, но что-то произошло такое, что, возмущенный, я отправился искать правды и защиты в райком комсомола. С чего я взял, что секретарь райкома должен разбираться в поэзии и вообще в тех проблемах, которые меня волновали, сказать трудно. Часто потом мы в своем кругу издевались над невежеством всяких руководителей в наших делах. Но тут ничего нельзя было поделаться — им вменено было в обязанность нами руководить и нас учить, а они не отказались. Но я ведь шел сам, за поддержкой, уверенный, что если что-то понятно мне, то уж им, старшим товарищам, и подавно. По родству идей.

Наша школа находилась в Железнодорожном районе. Железнодорожный райком ЛКСМУ (комсомола Украины) тогда помещался возле самого вокзала. К его секретарю товарищу Миндлину меня пропустили беспрепятственно, хотя у него сидели какие-то люди. Обстановка мне понравилась. Люди в спецовках, гудки паровозов за окнами, гуща жизни. Тогда еще по инерции стиль поведения в райкомах ком-

сомола оставался внешне менее официальным и более простым, чем после войны. Я сильно приободрился — я ведь в отличие от булгаковского профессора Преображенского «любил пролетариат», даже был воспитан в духе романтизации этого класса.

— В чем дело? — повернулся ко мне довольно дружелюбно товарищ Миндлин. Я вкратце изложил свои обстоятельства. Несколько ироническое добродушие еще не покинуло его.

— Ну давай прочти, посмотрим. Добродушие покинуло его, когда он услышал эпитаф. Эпитаф был из асеевского «Лирического отступления»:

Я доволен буду малым,
Если грохнет он обвалом.
Я и то почту за счастье,
Если брызнет он на части,
Если, мне сломавши шею,
Станет чуть он хорошее.

Лицо товарища Миндлина посуровело.

— Это ты написал? — грозно спросил он, ткнув в мою сторону указательным пальцем, хотя перед чтением я торжественно произнес: «Эпитаф»... Может, он не знал смысла этого слова, а может, впечатление от этих «ужасных» строк вышибло это слово из памяти.

— Нет, — удивленно ответил я. Дескать, как можно не знать таких простых вещей. Тем более Асеева, певца молодости и новизны.

— А кто? — не снижал тона товарищ Миндлин.

— Асеев.

— Что? — взревел товарищ Миндлин. — А ты знаешь, кто это такой?

Бедный секретарь спутал Асеева с Есениным, который тогда официально не одобрялся, и просить защиты у райкома, принеся стихи с эпитафом из него, было бы наглостью.

— Знаю, — сказал я. — Поэт, друг Маяковского, его сейчас на Сталинскую премию выдвинули.

Тревога товарища Миндлина несколько улеглась. Но подозрительность осталась. И тут он задал свой самый знаменательный вопрос:

— Какого года издания книжка?

В этом вопросе — подсознательное признание произошедшего переворота. И даже его характера. Все книги, изданные до определенной даты в советских же государственных и партийных издательствах, — подозрительны. Мало ли что могли там эти «враги народа» напропускать. Хотя вроде мог и знать, что ни Есенина, чье авторство он заподозрил, ни упадничества, в котором заподозрил меня, эти «враги народа» и сами очень даже не жаловали.

Но он зря беспокоился. Книжка была самого недавнего года издания, куплена за недорогую плату в уже упоминавшемся магазине. Тем не менее камертон разговора был взят. Меня начали воспитывать, что-то мне объяснять, хотя мне до сих пор мне непонятно по какому поводу. От меня требовали скромности.

В принципе обвинения в отсутствии скромности я тогда вполне заслуживал. Думаю, что это объяснялось не свойствами характера, а возрастом и идеологией — ведь еще недавно всю молодежь воспитывали на том, что она все понимает лучше старших. Правда, уже несколько лет нас ориентировали на «авторитет учителя» (жертвой одной из кампаний по его внедрению я скоро стану), но это шло как-то параллельно. Кроме того, самомнения прибавляла мне и приобщенность к авангардизму и к творчеству. Да и мой любимый Маяковский располагал не к скромности. Но в данном случае требование скромности означало требование отказаться от самостоятельного мышления. В сущности, я ведь доказывал очевидное — что Асеев не Есенин, что он друг Маяковского.

Очень рассмешили меня тогда сказанные мне вполне серьезно и доверительно слова сидевшего рядом рабочего:

— Максима Горького читал? Там у него тоже... этот... сокол?.. Тоже высоко летал... Как бы и тебе так не кончить...

Тогда меня это насмешило. Как же! Истолковать «Песню о Соколе» прямо противоположно ее смыслу — как призыв не летать — это надо было уметь! За это ведь и в школе поставили бы двойку! Но сегодня меня это не смешит. Ну так этот рабочий не знал и не понимал литературы и даже Горького — что из этого? Зато он чувствовал, в какое время живет, и давал мне добрый совет. Конечно, можно спросить — зачем ему было быть при этом комсомольским акти-

вистом? Но на то и двоемыслие, мозги были запутаны не только у меня. По-разному, но у всех.

Так или иначе дело рассосалось.

Вероятно, на независимости моего поведения как-то сказывались мои относительные успехи в, если можно так выразиться, юношеских литературных кругах. Писали мы — я и мои друзья — все серьезней, наш вес в литкружке вырос, мы стали там доминировать. Однажды даже выпустили свой журнал и отправили на конкурс, объявленный «Пионерской правдой». Оттуда пришел восторженный отзыв Елены Ширман (отметившей, к слову сказать, всех, кроме меня). Но несмотря на этот отзыв, премии нам, по ее словам, не полагалось — мы не выполнили каких-то условий конкурса. Но это высшая точка нашего успеха. С увлечением поэзией, все более серьезным отношением к ней связан и рост интеллектуального развития. Вело это и к расширению круга знакомств, иногда очень ценных и интересных. Сблизились мы и с Ариадной Григорьевной, стали бывать у нее дома. Муж ее оказался очень интересным и необычайно образованным человеком, по любому возникающему вопросу у него можно было получить самые исчерпывающие и при этом нетривиальные сведения. Настолько образованных людей я до той поры не видел и не представлял.

Помню, например, рассказанную им биографию князя Васильчикова, секунданта Мартынова на дуэли с Лермонтовым. Оказалось, что этот князь был вовсе не светским хлыщом, а серьезным и мужественным, «человеком чести», осмеливавшимся противоречить и самому императору. По профессии Адочкин муж был журналист, но я почему-то считал, что он «только» фотограф, и это сбивало меня с толку. По дикости я тогда еще не знал, что бывают фотографы экстра-класса, художники. Впрочем, и сама Адочка, несмотря на молодость, была вполне ему под стать. Мне повезло, что с самого начала сознательной жизни я встретил таких людей.

Мужа Ариадны Григорьевны расстреляли немцы. Причем даже не за то, что он был евреем — хотя он и был им, — а как заложника, за несколько дней до окончательного решения еврейского вопроса в Киеве. Когда стали взрываться здания на Крещатике, немецкие солдаты ворвались в дом, где они жили, и увели оттуда всех мужчин. Так случилось. А

всего за год-полтора до этого, сидя у Адочки, даже такие «оппозиционеры» как мы и в страшном сне не могли бы себе представить, что немцы будут ходить по нашему Киеву и врываться в его квартиры. С этой стороны, хоть нам прожужжали уши тем, что будет война, и мы в этом не сомневались, мы почему-то чувствовали себя в полной безопасности.

Все, что нам предстояло хлебнуть, было еще впереди, а пока наши литературные связи расширялись и постепенно вышли за границы нашего кружка. И однажды мы — а именно Гриша и я — пришли на литкружок Дворца пионеров. В Киеве и в русскоязычной среде чаще произносили на украинский лад — Палац пионеров, или просто Палац. Помещался этот «палац» в бывшем Купеческом собрании (потом там была филармония), в него упирался Крещатик. Мимо него по Александровской улице (потом Кирова) шел трамвай №16 с Печерской на Подол...

О кружке при «палаце» мы уже были много наслышаны. Руководил ими Евгений Георгиевич Адельгейм, известный критик. Кружок вел хорошо и интересно. Происходил он из обрусевших шведов, но из-за своей фамилии он вынес потом на себе всю тяжесть антисемитизма, особенно во время «борьбы с космополитизмом». Впрочем, и до антисемитизма ему доставалось — он вполне справедливо разнес очередной шедевр Корнейчука — пьесу «В степях Украины». А она была сочтена нужной. Доставалось ему часто, хотя в герои он не метил. Просто был талантливым и культурным человеком — отчего и попадал часто «пальцем в небо» (если попаданием в точку считать угадывание «верховной воли»). Я помню его в тот день, когда вскоре после его статьи в украинской «Литературке» в «Правде» появилась статья, превозносящая разруганную им пьесу. Тогда я еще не знал, что означает статья в «Правде», — тем более что Адельгейма она и не поминала. А означала она, что критик ошибся, потому что вошел в противоречие с выяснившейся истиной. Такая мода, как мне кажется, только входила в жизнь, и до конца этого не понимал не только я, но и сам критик. Но, конечно, понимал он и чувствовал больше меня. Я, между нами говоря, ничего плохого в этой пьесе не видел — она высмеивала тех председателей колхозов, которые останавливались на достигнутом и не стремились из социализ-

ма дальше в коммунизм. Конечно, она оставляла в стороне вопрос о мировой революции, но все же — хоть что-то! Такая меня тогда волновала и такой, значит, тогда представлялась мне проблематика сельской жизни — расцветать дальше или остановить свой расцвет. Конечно, в одинаковые понятия мы вкладывали разное содержание, но тут мой инфантилизм сливался с государственным. Тошно мне иногда вспоминать о самом себе тогдашнем, о своей тогдашней бесчеловечной «идейной» логике, да что поделаешь — это было.

Тем не менее глаза и лицо нашего руководителя в этот день я запомнил. Мы вместе выходили из палата после кружка и кто-то завел разговор о правдинской статье. Мои старшие друзья (о них чуть ниже) были в отличие от меня согласны с ним, а не с «Правдой» — просто больше меня понимали в литературе. Он отвечал с горечью и недоумением и вовсе не делал перед нами вид, что пересмотрел свои взгляды — тогда этого еще то ли не требовалось, то ли люди еще не осознали, что требуется. Все уже были «опытные» и знали, что нельзя спорить с «политикой». Но ведь это была не политика. Потом все поймут — «не умом, так поротой задницей» (выражение А.Н.Толстого), — что все, во что вложены амбиции товарища Сталина, — политика. Но тогда в полной мере этого не сознавал не только я, но и сам наш руководитель. Он пока только недоумевал — ощущал некоторую растерянность от невозможности усомниться в тех элементарных вещах, которые были сейчас поправны. И я ему сочувствовал, несмотря на мое идиотское отношение к проблеме. Мне было отвратительно насилие над мыслью, хоть я этого не сознавал. Да и слов таких мелкобуржуазных тогда отнюдь не читил.

Но в тот день, когда мы пришли на кружок — это было то ли в конце 1939-го, то ли в начале 1940-го незадолго до экзаменов, — Адельгейм по телефону отменил занятие, и его не было. Не было и наиболее видных членов кружка. Правда, мы до тех пор о них не слышали, но здесь их уважали и, как потом поняли, уважали не зря. Хотя занятие было отменено, собравшиеся члены кружка предложили нам, как новеньким, почитать им что-нибудь для знакомства. Мы согласились. В те годы (и много позже) я был готов читать кому угодно и сколько угодно. Мы понравились.

Но это было одобрение без хозяев. Когда мы пришли в следующий раз и стали читать при полном кворуме, хозяйева обнаружили. Все они оказались старше нас, семиклассников. Это были десятиклассники Яков Гальперин и Марк Бердичевский, а также приехавший из Москвы на каникулы Муня (полной формы этого имени не знаю) Люмкис, тогда уже студент ИФЛИ. Был в их компании тогда и Толя Юдин, тоже уже ифлиец, и, кажется, я даже потом один раз его видел, но сейчас его тут не было.

До этой группы, развитие которой было прервано войной, была раньше в Киеве, как я узнал, другая, где видную роль играл Сергей Спирт, которого я тоже, кажется, однажды мельком видел, но стихов почти не знаю. Не знаю ничего и о других членах этой группы. Кроме Петра Винтмана, с которым я познакомился, когда он вернулся с Финской войны. Некоторые его стихи мне нравились, одно я даже запомнил, но ничего об этой предыдущей группе он не рассказывал — во всяком случае мне. Как и Сергей Спирт, с Большой войны он не вернулся. Многие из людей близких мне поколений откуда-нибудь не возвращались, — товарищ Сталин за все расплачивался щедро. Со Спиртом как-то был связан и будущий Иван Елагин — тогда Залик (Залкинд) Матвеев, с которым мы подружились в эмиграции и который как-то упомянул об этом. Но вскользь — ничего не приоткрылось. Поразительно, что мы с Елагиным оба жили в довоенном Киеве, писали и читали стихи и ни разу не соприкоснулись — даже кругами. А я ведь не жил замкнуто.

Но пора вернуться в Дворец пионеров. «Хозяева» поначалу оказались не очень любезны — окатили нас ушатом холодной воды, то есть изругали вдрызг и Гришу, и меня. Ругань была квалифицированной и несправедливой одновременно. Мы не были обескуражены (привыкли к ругани, хотя не к столь массивной), но были удивлены. Однако не сдавались — защищались, как могли. Собрание кончилось тем, что Люмкис прочел переводы из Рембо — он был очень хорошим переводчиком. Переводил с иностранных языков на русский, а иногда и с русского на украинский. Тогда он прочел перевод на украинский тютчевского «Лебедя». Мне все это понравилось. Тем не менее, я готовился к новым боям. Но их не понадобилось.

Однажды, вскоре после этого разноса, меня кто-то на улице окликнул. Я сначала не понял, что меня, ибо окликали не по имени. Но на улице народу было мало и больше окликать было некого. И кто-то явно за мной бежал. При ближайшем рассмотрении бежавший оказался Яшей Гальпериным. Он заметно хромал, однако передвигался очень быстро.

— Слушай, — сказал он, — где ты пропадаешь? Ты нам понравился, мы решили, что в тебе что-то есть.

Вот так! То обложили с ног до головы, то «что-то есть». Но я не обижался. Начался разговор, бесконечный разговор молодых поэтов об искусстве, вообще, бесконечный русский разговор о том о сем... Погуляли, а поскольку встретились на его улице (Маловасильковской, тогда Шота Руставели, идет от Бессарабки параллельно Большой Васильковской, но только до Жиянской), то зашли к нему. Кажется, у него уже кто-то сидел и в ожидании что-то читал. У Яши было много книг и много друзей, все старше меня, был даже один актер, любивший стихи, была прелестная невеста, одноклассница Надя Головатенко. Всех их я скоро узнал. Вообще он жил полной жизнью — как в таких случаях говорят: словно знал, что жить ему недолго.

У Яши я также встретился и с Марком Бердичевским. Выяснилось, что мы с ним давно знакомы. Когда мне было года три, а ему пять, наши матери целое лето вместе проработали в Феофании — монастыре, расположенном в Голосеевском лесу (за Демиевкой). Там в это время еще был монастырь, жили монахи, но, видимо, его потеснили какой-то детской колонией, где и работали наши матери. Ну и мы там жили при матерях. Я помнил, что там был «большой мальчик», а он помнил про маленького, но, конечно, мы друг для друга не ассоциировались с этим воспоминанием. Догадались родители. Короче, я стал часто бывать у своих новых друзей, вошел в эту компанию — не то как равный, не то как «сын полка», и был счастлив. Молодым поэтам нужны старшие товарищи.

Между тем учебный год, с которым связано появление в моей жизни новых друзей, постепенно шел к концу. Он был отмечен отнюдь не только радостными событиями и не только такими мелкими пока неприятностями, как мои схватки с Головачом или беседы с Миндлиным (хотя и за

ними стояло многое). Были события гораздо более крупные, которые касались уже многих и не должны были ни у кого вызывать радость. Но тогда эти события меня, как ни странно, беспокоили не очень, а если вызывали беспокойство, то какое-то причудливое и странное. А события эти были мирового значения.

За несколько дней до начала этого учебного года был подписан договор Молотова с Риббентропом. С вторжения Гитлера в Польшу началась Вторая мировая война. На семнадцатый день после ее начала мы вторглись в Польшу с Востока для «освобождения» Западной Украины и Западной Белоруссии (чтоб еще через много лет освобожденные вспоминали, как хорошо им жилось «за Польшей»). Уже во время нашего знакомства началась война с Финляндией. После ее окончания мы захватили Прибалтику, а также возвратили себе Бессарабию, принадлежности коей к Румынии никогда не признавали, прихватив в уплату за временное пользование ею и Северную Буковину.

Должен, к стыду своему, сознаться, что в отличие от мирового общественного мнения я к этим событиям отнесся одобрительно. В свете моего коммунистического мировоззрения в договоре с Гитлером не было ничего предосудительного. Обыкновенное лавирование пролетарского государства в капиталистическом мире. С моей точки зрения официальный антифашизм только отвлекал от классового сознания и чистого коммунизма — не все ли нам равно, каковы оттенки того или иного капитализма? Так что в каком-то смысле этот договор был чем-то вроде возвращения к революционным истокам. А вторжение в Польшу только подтверждало, что Сталин не на словах, а на деле проводил мировую революцию. Так же расценил я все остальные захваты и прихваты. И даже если бы я тогда узнал, что «финский обстрел наших позиций», послуживший поводом для начала открыто подготавливавшейся войны, происходил через головы финнов из нашего Ораниенбаума, я бы все равно не очень возмутился. Я и так не верил в официальное объяснение, но знал, что революция может потребовать и не этого. Мне самому от этого тошно, я таким не был, но так думал. Это и был «честный коммунизм» — тот самый, который и обеспечил победу нечестному. То есть догматическое сектантство — со своей частной моралью и логи-

кой, — другого не бывает. Не нравится догматизм — откажитесь от коммунизма. Приспособить его к здравому смыслу невозможно. Трансформировать в протрацию — нетрудно. Сектантская логика может принять и самоубийство.

Во всяком случае атмосфера от такого «возвращения коммунизма» не очищалась, становилось все душнее. В этой атмосфере преследовал меня Головач и интересовался годом издания книги Асеева Миндлин. Правда, к этому я еще мог относиться, как к частностям («власть на местах»). Но тут вдруг газеты стали всем объяснять, что в течение всей своей истории русский народ противостоял вовсе не немцам, как ошибочно считали раньше, а французам и англичанам, благо в истории хватало примеров, подтверждающих любое из этих положений. Согласно этой установке пересматривались программы по истории, то есть стремились вдолбить это нужное только локально представление навсегда. Этот с виду пустяшный факт показывал, что людей превращали — тотально, вместе с их психологией — в чурки одноразового использования, что я ощущал и с чем не мог примириться. Идеология — даже та чушь, которую я исповедовал, — претендует все же на более фундаментальное отношение к миру, не так уж зависящее от обстоятельств. Грех социальной инженерии трансформировался в локальное подсобничество. Такое воспитание больше всего изобличает в Сталине временщика, несмотря на всю его любовь к монументальности.

Страшнее всего для меня эта протрация выразилась в тотальной антипольской пропаганде после ввода войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Раздувалась ненависть уже не против польских панов, не против капиталистов и кулаков (все это идеология разрешала), а против поляков, вообще. Разговор велся так, словно польских трудящихся не существовало (идеология этого не разрешала). Странно и тягостно выглядело это движение к мировой революции. Из всего обильного печатного материала этому централизованному умопомрачению противостояло только одно стихотворение Николая Николаевича Асеева, которое я прочел в многотиражке киевского Дворца пионеров, а потом в сборнике — в периодике я его не видел. Там были такие строки (привожу без «лесенки»):

Не верь, трудовой польский народ,
Кто сказкой начнет забавить,
Что только затем мы шагнули вперед,
Чтоб горя тебе прибавить.

Мы переходим черту границ
Не с тем, чтобы нас боялись,
Не с тем, чтоб пред нами падали ниц —
А чтоб во весь рост выпрямлялись!

О соответствии этих строк реальности говорить не будем: к ней не имела отношения вся наша идеология — и моя, и Асеева. Трудовому польскому народу, безусловно, от «нас» досталось. Но досталось от «нас» и украинскому, и белорусскому, и всем прочим народам, в том числе и нам самим, кто б мы ни были. И с чем мы могли переходить границу, если интересовались, какого года издания книжка. Но тем не менее я до сих пор благодарен Асееву за эти не очень хорошие стихи, за то, что они настаивали на том, во что верили, хотя бы на идеологии, за то, что не поддались общему угару. Хотя угорели все остальные по негласной команде, о которой Асеев, как и я, наивно не догадывался. И, как я, удивлялся. Тоже до времени.

Была еще сторона, которая должна была бы заставить меня задуматься — поток вещей оттуда. Мальчишки выменивали у пленных на хлеб авторучки, которые у нас считались предметом роскоши, Мы почти целый год потом писали на реквизированных польских тетрадах. Все это показывало, что освобожденные жили гораздо зажиточней, чем освободители. Но это на меня не действовало. Зато за нами было будущее. И потом зато мы были сильны. И двигались к мировой революции...

Вот так они и жили. Но постепенно дело шло к экзаменам: для Яши и Марика выпускным, для меня — к подобию выпускных, за семилетку. Хотя я продолжал с ними видеться и дружить, в основном наша дружба развернулась в следующем году, в последний год перед войной. Когда они были уже студентами, а я — восьмиклассником...

Но до этого мне предстояло выдержать экзамены за 7-й класс. В целом я их сдал, как всегда, благополучно и без приключений, только чуть не засыпался на зоологии. Странные отношения у меня были с этим предметом. Препода-

вавшая его учительница, Наталья Михайловна, была хорошим человеком и хорошим педагогом. Относился я к ней, как и весь класс, очень хорошо. Но запомнить по ее предмету не мог ничего. Со стороны это было незаметно, ибо учил я его добросовестно и памяти на один урок у меня хватало. Но получалось так — выучил, ответил и опять забыл. А потом перелистываешь выученную книгу как нечитаную. Уж больно подробен и систематичен был этот учебник Цузмера, все эти строения раков и моллюсков, потом обобщаемые в семейства и классы. Я знал и не скрывал, что ничего не помню, а мне не верили. Но вот наступил экзамен. Он был последним. Но на подготовку, поскольку предмет считался легким, был дан один день.

День этот был прекрасным майским днем, мало располагавшим к занятию моллюсками. Открыв книгу, я отнюдь не неожиданно обнаружил, что все в ней для меня — китайская грамота. Я никак не мог найти себе место, сосредоточиться: угнетала невыполнимость задачи. Решил, что легче будет учить на свежем воздухе, отправился в парк. Но встретил там приятеля по одному из литкружков и до самой консультации проговорил о Маяковском. Консультация началась в четыре часа — все, что на ней говорилось, было для меня выше понимания. Ничего не понимал. Дома опять пытался учить и опять шло плохо. Пошел гулять. Придя вечером, счел за лучшее лечь спать. Встал в четыре утра, сел за книгу, смог сосредоточиться и освоил до девяти утра чуть больше половины учебника. Собирался, дочитав до конца, сдавать во второй группе после обеда, но пошел посмотреть, как там ребята и — была не была — пошел сдавать с ними.

Взял первый билет — не знаю ничего. К удивлению учительницы (отвечал-то я всегда хорошо), положил его на стол и взял второй. На что я надеялся — не знаю, но был спокоен. Прочел вопросы — знаю все (вопросы были из первой половины книги и начала второй. Ответил хорошо. Получил не то «хорошо», не то «посредственно» — за второй билет снижался балл. И — гора с плеч, полное ощущение счастья и весны. Мог я, конечно, сдавать и после обеда и обойтись без конфуза, но сказалось нервное напряжение. И потом — зачем? Все равно бы к вечеру забыл — не держалось это в моей голове. Хотя, как ни странно, общее пред-

ставление об этом предмете у меня осталось. Это был мой последний экзамен в этом году и в этой школе. В следующем году я уже учился в другой школе. Как это произошло — особая тема.

Последний предвоенный

Последний предвоенный учебный год начался для меня отнюдь не мирно, хотя первые его часы как будто не предвещали ничего дурного. Дело в том, что первый день вообще был тогда для нас не учебным, а праздничным. Он совпадал с МЮДом — Международным юношеским днем, который до войны широко отмечался. В этот день, как правило светлый, солнечный, теплый и нежаркий, «как бы хрустальный», занятий в старших классах не бывало, и все с удовольствием отправлялись на демонстрацию. У нас — у меня и моих сверстников — подошел возраст впервые участвовать в такой демонстрации — от этого наше настроение было особенно приподнятым. За что и против чего были эти демонстрации, сказать трудно. Скорее всего, это была инерция двадцатых годов, когда все это происходило под знаком КИМа — Коммунистического Интернационала Молодежи — и было как бы символической поддержкой коммунистической молодежи мира в ее борьбе с капитализмом. Теперь эта направленность слиняла, и если демонстранты несли лозунги, то просто дежурные лозунги, обращенные к молодежи. Но все эти лозунги существовали, так сказать, для порядка, для обязательного напоминания о нашем причастии дьяволу, ими никто не интересовался.

Волновала встреча после каникул, юность, радовал светлый хороший день. В рядах раздавались шутки, смех, подначки, настроение было самое беспечное. От этого, как говорится в древних повестях, «настало мне и кончение». За всем этим я забыл о том, о чем кричали все заборы, газеты и репродукторы, о чем всегда говорили в школе, а именно — что «враг не дремлет». Впрочем, если б я об этом и помнил, ничего бы не изменилось. Ибо мне предстояло впервые понастоящему столкнуться с тогдашней действительностью. Читатель может не ужасаться — кончилась тогда для меня эта встреча не так уж страшно, да и полный смысл проис-

шедшего я уразумел гораздо позже — мое тогдашнее мировоззрение не давало мне возможности понимать увиденное адекватно. Но несправедливость я чувствовал все-таки по-юношески глубоко, и стоило мне это происшествие довольно дорого.

А началось все с глупой шутки, которых было немало в тот день ввиду общей легкомысленной настроенности. Кто-то из задней шеренги, балуясь, неожиданно толкнул меня в спину, и я упал на идущего впереди, чем вызвал очередной взрыв смеха. Возможно, я тут же дал бы сдачи, но до этого не дошло. Нарушение увидел следивший за порядком завуч. В нашей школе он был недавно, я не помню, что он преподавал, забыл его имя. Производил он впечатление сухаря, был высок, худощав, смотрел на все строго и подозрительно, прозвище имел «глиста». За него вышла замуж наша Марья Ивановна, из-за чего совершила потом ряд некорректных поступков, что тогда меня возмущало — именно потому, что хорошо к ней относился. Возмущение давно прошло — от любящих женщин я уже давно не требую объективности. Но речь об ее муже. У нас он не преподавал, но ко мне он всегда относился настороженно, как к возмутителю спокойствия. Я теперь нисколько не горжусь тем, что в какой-то степени им и был — не так много было тогда у людей спокойствия, чтоб его еще возмущать, ставить людей в затруднительное положение. Но мне теперь шестьдесят пять лет, а тогда было пятнадцать. Но я никому специально досадить не стремился, а с ним вообще дела не имел.

Не успел я прийти в себя после толчка, как раздался его голос:

— Это кто тут хулиганит?.. Ах, Мандель!.. А ну-ка, выходи из рядов.

Я вышел.

— А теперь иди домой! Я запрещаю тебе дальше участвовать в демонстрации.

Вот тебе на! Меня толкнули, и я же виноват! Ведь все это видели. Но никаких и ничьих объяснений завуч не слушал.

— Сказано: иди домой, значит, иди.

Я опешил. Даже если б я был виноват, бросалась в глаза несоразмерность вины и наказания. Это выглядело капризом. За что мне портили праздник? Такой вопиющей не-

справедливости вынести я не мог. Я отказался и вернулся на свое место.

— Ну смотри! — пригрозил мне завуч, и угроза эта, как выяснилось, не была пустой.

День прошел так же весело, как начался. На демонстрации мы много шутили, кричали: «Да здравствует товарищ Кацнельсон!» — это была фамилия нашего классного вожатого-десятиклассника Левы. Вожатого мы любили, и почему было не побаловаться. Впрочем, при Брежневе за этот «лозунг» сионизм бы пришили, тогда этого не было, но и тогда кое-где, как я потом случайно узнал, отнеслись к нему серьезно. Стали копать. Вызывали украинского поэта Абрама Кацнельсона, с которым мы не были знакомы (приняли во внимание наше увлечение литературой). Что их взволновало? Неужто заподозрили попытку выставить собственные лозунги — впервые после известной троцкистской демонстрации 7 ноября 1927 года? Вряд ли. Но — бдили. Серьезными делами занимались люди в нашем Царстве Принудительной Инфантильности. Впрочем, ругать их особенно не надо — они ведь могли бы и группу из нас сварганить — во главе с тем или другим Кацнельсоном, а то и с обоими. Однако не сделали Дело обошлось без наших славных органов, об интересе которых я узнал только случайно. Но и без них оно было достаточно отвратно и показательно...

День закончился вполне безоблачно. А наутро я был снят с уроков и исключен из школы за хулиганство.

Я был потрясен. Меня обвиняли уже во всяких грехах, но чтоб в хулиганстве! Потом мне объясняли, что дисциплина есть дисциплина, и я все равно должен был подчиниться завучу. Но, жалея сегодня о многом, что я делал, я никогда не жалел о том, что не знал этого толкования дисциплины и не подчинился. Подводить логическую базу под произвол — и недостойно, и наивно. Сегодня, когда я впервые за много лет опять думаю об этом эпизоде, я с высоты своего опыта понимаю, что никакое подчинение мне бы тогда не помогло. Уж слишком не слушал ничьих объяснений завуч, слишком кричаще был он несправедлив. Если бы я ушел домой, зафиксированное таким образом «хулиганство» все равно было бы таким же образом наказано. Ибо дело было не в «хулиганстве», не в неподчинении, а во мне самом — в том, что Головач твердо решил от меня

избавиться и только искал удобного случая. А шестерка-завуч услужливо помог его создать, тем более это соответствовало его собственным чувствам.

Должен сказать, что Головача я, в общем, простил. И не только потому, что потом он был расстрелян немцами в оккупированном Киеве, — и по другим причинам. Он был человек, может, и грубый, но и сильно перепуганный своим снижением. Он хотел от меня избавиться, но я никогда не чувствовал его ненависти к себе или желания погубить. Цель его была проста. В самый разгар конфликта он выразил ее так: «Ты учиться будешь, но не в этой школе». Кстати говоря, когда я еще учился в его школе, в перерывах между схватками мы иногда с ним беседовали вполне конфиденциально о сложных вопросах современности — это вроде была воспитательная работа со мной, — и он никогда не использовал эти беседы для интриг против меня. И даже потом, когда я уже учился в другой школе и мы с ним случайно встретились в парикмахерской, у нас с ним произошел вполне доверительный разговор. Я заговорил о Сталине, сказал нечто вполне положительное — я тогда так и думал, а он оторвался от газеты, посмотрел на меня и вдруг сказал, что, конечно, все так, но судить еще рано, ибо многие всходы посеянного Сталиным еще не взошли. Это о божестве, не имеющем измерений! И кому — пятнадцатилетнему мечущемуся мальчику!

Но на поведении его в школе это не отражалось — он планомерно продолжал меня выживать. Привыкли они разделять личное и общественное. Культивировалась же в их среде, как доблесть, готовность топтать и предавать объективно вредных делу людей, не считаясь с личными своими симпатиями и личными их качествами. Правда, в данном случае «вред» от меня мог произойти только для него, а не для «дела», но навыки уже были выработаны. А ситуация и впрямь была сумасшедшая. Он имел все основания бояться моего «гражданского пафоса», ибо в случае чего, поскольку это произошло в «его» школе, мои грехи приплюсуются к его биографии, и ему не выплыть. Конечно, он действовал очень грубо, но ведь пребывание в партии, да еще неподалеку от ее относительных верхов (к тому же на Украине во время коллективизации), не приучали его к «белым перчаткам», в которых, по известным словам Ленина, не

делаются революции. Я отнюдь не оправдываю его, тем более, его гнусностей и вовсе не думаю, что он был хорошим человеком. Но сам режим, которому он служил, был изначально гнусен и становился все гнусней. Он был человеком, нравственно искалеченным партией и временем.

Вероятно, это же можно отнести и к завучу. В конце концов я о нем мало знаю, у него тоже могли быть обстоятельства, вынуждавшие его поступать так, а не иначе — в те времена у многих бывали обстоятельства. Но из того, что и как я о нем помню, этого не выходит, выходит мелкий человек, желающий угодить начальнику или способный почувствовать себя оскорбленным тем, что кто-то (пятнадцатилетний мальчишка) «много об себе понимает», готовый из мести или угодничества на низость, подобную той, о которой я рассказал. В жизни всегда было достаточно подлости, но все же не задача учителя — обогащать опыт учеников ранним общением с ней. Между тем он нам всем преподавал урок торжествующей подлости.

Искушенный современный читатель, даже уже не очень молодой, но лет на двадцать моложе меня, может подивиться моей наивности. У него почти с малолетства нет иллюзий. А у меня, росшего во времена массивированной подлости — раскулачивания, ягодщины, ежовщины, — ее и вовсе не должно было быть. Чему ж было так удивляться? Тем более наивно пытаться сегодня удивить кого-то былой житейской (во всяком случае, с виду) подлостью во времена покупных отметок, «зарезанных» по поручению начальства абитуриентов, мафий и рэкета. Верно. Но я никого не хочу удивить, я просто хочу рассказать, как к этому шло, как это было. А было именно так.

Удивляться было чему, хоть это были времена массивированной подлости, и полыхала она, как пожар, на громадных пространствах. Но общая подлость-времени очень долго людям непричастным (и незадетым!) не была ясна. В сфере политики, идей и т.д. никто не вмешивался, и многим происходящее там казалось драмой идей, пусть неблизких, пусть странных, но идей. А это не ассоциировалось с подлостью. Мгновенной проекции этой подлости на быт, в том числе и на школьный быт, не было. Это сказывалось, но постепенно. Скачкообразный рост компрометации моральных норм и утверждения бесчестья шел с политических верхов,

из сталинского окружения и распространялся медленно (путем подбора кадров прежде всего). До школы он дошел не сразу. Так что неудивительно, что, столкнувшись с открытой элементарной подлостью со стороны людей, считавшихся педагогами, я был ошеломлен.

Недостойные люди всегда бывали, но описанное выше поведение завуча и Головача раньше было невозможно. В гимназии за это просто можно было получить пощечину и тут же отставку, но и в советской школе оно было немыслимо — учителя все же ощущали себя культуртрегерами и не могли позволить себе такого. Впрочем, несмотря на тридцать седьмой год, тогда еще и в армии не допустили бы «дедовщины». При всем при том. Разложение вызывает медленно.

И, похоже, не только я считал такое поведение недопустимым. На педсовете Головачу некоторые учителя оказали сопротивление, но он его не столько преодолел, сколько проигнорировал. Я был еще больше ошарашен. Но по-прежнему был уверен, что это скоро разъяснится и справедливость восторжествует. Да и чему тут было разъясняться, чему торжествовать? Тем не менее ничего не разъяснилось, а восторжествовала прострация — глубокомысленный разговор о проступке, которого не было.

Ребята мне сочувствовали, поддерживали меня. Защищала меня и комсомольская организация школы в лице ее секретаря Левы Рабиновича, с которым я потом на этой почве сдружился. Что нас сдружило? Политическая оппозиция? Но ни он, ни я тогда в оппозиции не были — наоборот, мы вступались за советский порядок. Он просто знал, как было дело, а для того, чтоб не знать, надо было себя не уважать. Теперь я понимаю, что именно это, и только это, от всех и требовалось. Но тогда этого, тем более в такой окончательной форме, не понимал никто. В это втягивались, но не понимали. И я тоже не мог поверить в непрекращаемость абсурда.

Я появлялся в классе, на уроках, хотя было строго-настрого приказано меня не пускать. Одни учителя меня выгоняли, а я сопротивлялся, другие нет. Как говорится, шла борьба. Я и сам воспринимал это как борьбу за справедливость и намеревался, как меня учили, отстаивать ее до конца. Поразительно, что о справедливости я тогда думал боль-

ше, чем о нависшей надо мной угрозе оказаться на улице. А это вполне могло случиться. Дело происходило в начале восьмого класса, а обязательно тогда в СССР было только семилетнее обучение. Но такого уровня произвола я представить себе не мог.

Но все хорошо в меру — партизанская борьба в школе и неестественное мое положение начали меня утомлять, и я отправился искать справедливости выше — в областной комитет комсомола. Помещался он в самом центре города, на Крещатике, около Институтской, напротив обкома партии, то есть здания бывшей Городской думы, взорванного во время оккупации. Располагался обком комсомола в небольшом, но уютном двухэтажном особнячке. Комсомольские комитеты я все еще представлял себе по Николаю Островскому и подобной литературе. Так же представлял я себе и райком, когда ходил к товарищу Миндлину. Кстати, внешне его контора больше соответствовала моему представлению о «комсомолии», чем обком, — легче мне от этого, как видел читатель, не было. Не уверен, что и от внутреннего сходства кому-нибудь стало бы лучше. Однако у обкома не было и внешнего сходства с былыми временами — никакой «братвы», никакого «Даешь!» — учреждение. Впрочем, не до такой степени учреждение, как, допустим, в шестидесятых — нравы изменялись в эту сторону, но пока были еще проще, чем после войны. Хотя все уже было ничуть не менее лживо.

Из этого не следует, что лживы были все, кто там тогда работал. Если б я даже так думал, то скоро бы в этом усомнился. Секретарша направила меня к заведующей школьным отделом — Зое Федотовой. Я звал эту женщину по имени-отчеству, но сейчас ее отчество, к сожалению, забыл. Поэтому в дальнейшем мне придется называть ее по фамилии, хотя наши отношения не были столь далекими (как не были они столь коротки, чтоб звать ее по имени). Несмотря на все хитросплетения политики, несмотря на то, что она была функционером страшного и бессмысленного режима, несмотря на все официальное, что она иногда по своей и не по своей воле говорила, я сохранил о ней самые теплые и благодарные воспоминания. Она — во всяком случае, когда я ее знал, — была хорошим человеком.

В кабинете мне навстречу поднялась молодая светловолосая красивая женщина с очень милым и дружелюбным

лицом. По типу пионервожатая, вообще, активистка — тогда еще много было активисток из активности, а не из корысти. Корыстность (карьерная) появлялась у многих из них, уже когда их «выдвигали». Не знаю, что случилось с этой женщиной потом, почему-то мне не верится, что она стала сволочью, что могла активничать во зло, даже если бы верила «авторитетным товарищам», что так надо — а она была тогда склонна им верить. Скорее всего она просто отошла в сторону, стала учительницей или кем-либо в этом роде. Впрочем она уже, кажется при мне, ушла в газету Дворца пионеров — это она напечатала стихотворение Асеева о поляках. Правда, это могла быть и временная командировка.

С ней связан очень короткий, но важный период моей жизни, и роль она в ней сыграла вполне положительную. Более того, я кое-чему у нее научился Нет, не как у функционера или социального мыслителя — а как у живого и чувствующего человека, женщины. Да, она относилась с излишним доверием к системе, в этом смысле она понимала еще меньше, чем я. Но при всем этом и несмотря на все это, она гораздо меньше, чем я, отошла от нормальной шкалы человеческих ценностей. Например, однажды, выслушав мои романтически-фанатические бредни о мещанстве, она вдруг сказала: «А ты не умеешь уважать людей!» Конечно, можно иронизировать: представитель античеловеческой системы кого-то обвиняет в неуважении к людям. Могут найтись охотники использовать эти мои слова, начав доказывать, что тогда-то и приходили в систему нефанатичные человеческие люди. Неправда, система погружалась еще глубже в бесчеловечность, а не освобождалась от нее. Приходили всякие, а оставались человеческими немногие...

Похоже, это был первый день ее работы на этом поприще и я был первым, кто к ней обратился. Когда я рассказал ей, в чем дело, она мне сразу поверила, отнеслась ко мне сочувственно, ласково и обещала помочь. Я был благодарен, но не удивлен — ведь такое простое и ясное дело, да и факты были не только вопиющи, но и вполне проверяемы. Как ни странно, она тоже так думала. По политической неопытности не понимала, что простых и ясных дел в нашей стране больше нет. Каждое зависит от политической подоплеки.

Я приходил к ней несколько раз. Она меня даже водила к первому секретарю обкома Сизоненко, который только что вернулся из Москвы. «От Сталина», как говорила Федотова — впрочем, может, он и впрямь присутствовал где-нибудь, где тот выступал. Но звучало это как «с особыми полномочиями» или «с особым знанием». Думаю, что она и сама верила в это причастие.

Сизоненко оказался невысоким, худощавым, спортивного вида человеком, очень собранным — в общем, руководителем нового типа (определение сегодняшнее). Никакой «комсы», никакого запанибратства. Но и ничего отталкивающего в его облике не было. В принципе тип администратора, против которого я ничего не имею. Неестественно это только было в комсомоле (я тогда еще не знал, что неестественно само существование комсомола).

От него тогда в какой-то степени зависела моя судьба. Но никто не знал, что его самого ждала судьба, отнюдь не безоблачная. Он оставался в Киеве до последнего и застрял — не смог эвакуироваться. Не знаю, донесли ли на него или сам зарегистрировался, но немецкие оккупационные власти о нем узнали. Однако допросив, оставили в покое, и он продолжал жить в Киеве как частное лицо. Не сотрудничал с оккупантами и не боролся с ними. Надо сказать, что не ко всем членам партии немцы относились так либерально. Головача, который тоже оставался в Киеве до конца (работал по эвакуации) и тоже застрял, они расстреляли. Его, говорят, выдала одна из наших учительниц — не столько по политическим причинам, сколько из личной — и, вероятно, вполне заслуженной — ненависти. Не спорю, ненависть он умел заслужить, но такой способ сведения счетов ничего, кроме омерзения, вызвать не может. Так или иначе, Головача расстреляли, а Сизоненко, занимавшего куда более видный пост, — нет. По счастливому стечению обстоятельств его могли не посадить и наши (кажется, и не посадили), но карьера его после войны не возобновилась. Будем надеяться, что ему на пользу.

Сизоненко выслушал меня молча, но, как мне казалось, благожелательно. Дело, казалось бы, начало решаться в мою пользу.

Но мы все не учли одного мощного и уже упомянутого фактора: политической подоплеки, определяемой полити-

ческим моментом, то есть политикой партии в данном вопросе. А эта политика в данный момент сводилась к всемерной поддержке авторитета учителя. «Политика» в нашей стране вообще очень долго была делом инфантильно-серьезным. И опасным для окружающих, как бомба в руках ребенка.

Например, однажды, в начале семидесятых, был такой случай. Возле городка писателей «Красная Пахра» двое рабочих, хорошо известных в городке, были пойманы на том, что украли в расположенном поблизости колхозе или совхозе копну сена, а потом ее продали и пропили. Им грозила тюрьма. Писателям стало их жалко, они сложились и обратились за помощью к адвокату. Адвокат выслушал их и сказал, что сделать ничего нельзя. «Вот если б они трактор украли или грузовик — тогда б с дорогой душой, а они украли сено — тут я помочь ничем не могу». «Почему?» — удивились писатели. «А очень просто, — ответил знаток законов, — Леонид Ильич третьего дня в своем выступлении сказал, что надо беречь фураж. А про тракторы и грузовики он на этот раз ничего не говорил». В том и состояла «политика».

Так же и этот злополучный «авторитет учителя». К моему делу он не имел никакого отношения. Но он касался политики партии в школе, а дело тоже касалось школы, да и конфликт мой был с педагогами. Следовательно, в свете политики я никак не мог быть прав в этом конфликте. И партия с комсомолом не должны были меня «поддерживать».

Собственно, таковы были сталинские методы создания авторитетов. Один старый журналист с гордостью утверждал, что партия умеет создавать авторитет кому и когда ей надо. Например, он сам по поручению партии участвовал в создании авторитета С.М.Буденному (искусственного — сверх того, который у него был). Авторитет по-сталински означал внушение всеми средствами массовой информации искусственной популярности и высокого представления о данной личности или группе, а также о непрерывности ее власти и неприкасаемости ее имени или должности. Так же вождь создал и раздул до патологии «авторитет» самого Сталина. Собственного умения быть популярным у него не было и в зачатке.

С теми же навыками взялись и за восстановление ими же попорченного «авторитета учителя», не понимая, что это вещи разные. Авторитет Буденного или даже Сталина надо было внушить людям, абсолютные большинство которых ни того, ни другого и в глаза никогда не видели. А учитель или офицер имеют дело с теми, кто их видит ежедневно. Поэтому, хотя они действительно должны быть наделены естественными правами (например, ставить отметки по со-вести), свой авторитет они могут завоевать только сами. Но при проведении кампании кого интересует суть дела, она сама — главный смысл. И Головач был бы не Головач, если б этого не понимал и не подвел меня под кампанию — под «политику».

Но ни я, ни один нормальный человек этого не знал и не предполагал. Казалось, все идет хорошо. Но в один прекрасный день я узнал, что в республиканской комсомольской газете на русском языке «Сталинское племя» появился подвал, так и называвшийся — большой замысловатости в таких делах не требовалось — «Авторитет учителя». Помню я даже фамилию автора — Тартаковский. В нем рассказывалось и о нашей школе: Приводилась беседа с Головачом. И, конечно, речь шла обо мне. Говорилось примерно следующее...

Господи, сколько раз после этого читал я такие и похлеще инсинуации — о себе и о других. Сколько раз после этого на моем веку хулиганы публично обвиняли в хулиганстве мирнейших людей, грязные люди в грязи — чистых людей, а безыдейные устанавливали критерии идейности (подмена идейности намного отвратительней, чем она сама). Сколько раз после этого, но тогда это было со мной в первый раз.

Головач и здесь остается Головачом. Хотя бы в том, что, подло пришив мое дело к «моменту», выдавая меня за дурака и фанфарона, он воздерживается от каких бы то ни было политических намеков. То ли не любит, то ли понимает, что они — себе дороже. Говорилось примерно следующее: «В восьмом классе этой школы учился Мандель. Он писал плохие стихи и всех, кто ему об этом говорил, обзывал мещанами. Однажды он на демонстрации затеял драку, и, когда ему сделали замечание, в ответ нагрубил». Дальше шло о беспринципной позиции комитета комсомола и его секретаря, взявшего меня под защиту.

Все это было неприкрытой и глупой ложью. Впрочем, глупой ли? В тот день, когда появился этот подвал, я думал тоже, что глупой. Ведь это так легко опровергнуть! Федотова была возмущена не меньше меня. Но на второе утро она встретила меня поджатыми губами. Оказалось, что истина выяснилась, и мы с ней оба неправы. Оказалось, что так или иначе я должен был подчиниться, ибо, не подчинившись (чему виной самомнение), я грубо нарушил дисциплину. Все это, как стало мне ясно, разъяснил ей и другим один, по ее словам, оч-ч-чень авторитетный товарищ (слово «вождь», применявшееся раньше к руководителям такого ранга, теперь постепенно становилось атрибутом исключительно Сталина). При ближайшем рассмотрении этим авторитетным товарищем оказался тогдашний секретарь обкома партии Сердюк. Тот самый Сердюк, который в должности то ли председателя, то ли зампреда Центральной контрольной комиссии КПСС исключал П.Г. Григоренко, тогда верующего коммуниста, из партии. Пикантность была не в самом факте исключения — это дело естественное, — а в том, как этот «авторитетный товарищ» при этом открыто самовыражался и что его больше всего возмутило в тогдашней строго марксистско-ленинской концепции Григоренко. А возмутило его требование соблюдать «ленинские принципы». Во-первых, принцип оплаты высших функционеров и чиновников — чтоб получали не больше квалифицированного рабочего, и, во-вторых, принцип постоянной их сменяемости.

Принципы эти вполне наивны и утопичны — ни одно государство с ними долго не просуществует. От них потом, как и от самого ленинизма, отказался и сам Григоренко. Но «авторитетного товарища» возмущала не утопичность, а... несправедливость (его слова привожу по памяти, но за смысл ручаюсь):

— Нет, это он не своей сменяемости требует и не свою зарплату сокращает! Он ведь специалист — его нельзя сменять и ему надо платить. Это он о моей зарплате заботится и меня хочет сменять.

Вот в чем была истинная природа его праведности и возмущения «ошибками» Григоренко. Такова было подлинная «идеология» этого специалиста по идеологии, его культурный и человеческий уровень. Вслушайтесь в его слова —

это крик и боль души руководящего люмпена. В подобном положении оказались многие. Но те, кто поумнее, свои чувства камуфлируют, этот «авторитетный» простодушно, не ведая стыда, не понимая, как он при этом выглядит, выражает свои чувства вслух. Правда, простота эта хуже воровства и даже намного хуже. Привык человек к концу жизни, что на занимаемых им постах стыд не нужен — утрусся и стерпят. Но все же такое бесстыдное простодушие не говорит об избытке ума и воображения. И именно об этом человеке с таким придыханием и поклонением говорила Федотова. Видимо, стиль такой установился в этих кругах — горячо верить в авторитет выдвигаемых товарищей. Механизм тут простой — деваться все равно было некуда, а «товарищи» эти в массе были таковы, что верить в их достоинства и слова можно было только горячо, даже горячечно, чтоб заглушить реальное впечатление. Так понемногу втягивались в эту атмосферу. Откровенного цинизма тогда еще было мало, к нему только шло, но это — было. Ведь если подумать, то ведь и все мы о гениальности Сталина знали не больше, чем Федотова о мудрости Сердюка. Однако доказательства находили. Даже я временами и особенно перед арестом...

После сакрализации Сердюком поведения завуча и Головача вопрос о восстановлении справедливости, то есть меня в школе, отпадал сам собой. Тем не менее Федотова, отчасти предав себя, свой здравый смысл, все же и не помышляла о том, чтоб по-человечески предать меня, оставить на произвол судьбы. Конечно, за последние десятилетия у нас было много предательств и предателей, но большинство людей принципы, в том числе и справедливости, предавали легче, чем людей. Это симпатичней, чем наоборот, но вряд ли это хороший выход. Ибо тем самым предается общество, большое множество людей. Но бывает, что нет выбора. У нас с Федотовой его не было. И я должен был удовлетвориться тем, что был направлен в ГорОНО, с которым договорились о направлении меня в другую школу. Этим дело и завершилось. Но прежде, чем перейти к этой новой школе и чтоб покончить с этой историей, хочу рассказать здесь о том, как она еще раз мне аукнулась, на этот раз забавно.

Редакции «Юного пионера», при которой был наш литкружок, и напечатавшего инсинуацию про меня «Сталинского племени», помещались в одном коридоре, и сотрудники обеих газет хорошо знали друг друга. Ариадна Григорьевна потом очень сокрушалась, что не узнала об этой статье вовремя, ей бы ничего не стоило убедить автора выбросить абзац про меня. А потом нечто вроде литкружка образовалось и в комсомольской газете. И на каком-то занятии присутствовал ее редактор. В непринужденной обстановке слово за слово всплыла и эта история. Редактор (ему понравились мои стихи) несколько смутился и тоже выразил сожаление, что его не предупредили. Тогда ведь ничего не стоило все это вычеркнуть! А если б вычеркнули, не было б «политики», мнения Сердюка и меня бы восстановили в школе. Такая победа потом могла бы мне дорого обойтись, и хорошо, что ее не было, но это другая тема. Поражает же меня мистика сталинщины — вычеркнуть по знакомству мое имя из «принципиальной» статьи могли многие, но добиться справедливости после ее публикации — не мог уже никто. Так они и жили.

Но никто ничего не вычеркнул, и с направлением Федотовой я пошел в ГорОНО. О своих взаимоотношениях с этим ведомством я ничего не помню. Помню только приемную зав ГорОНО, где вместе со мной приема ожидали два учителя, судя по их внешнему виду, выгнанные за пьянство. От нечего делать заинтересовались мной. Услышав, что дело мое как-то связано со стихами, попросили что-нибудь прочесть. Я что-то прочел. Прослушав, стали беспомощно переглядываться друг с другом — отнюдь не заговорщицки, а в поисках подходящих слов:

— Это... это... как бы это сказать... это... анти... анти... — антисоветскими красноносому ценителю их все же назвать не хотелось, да и не были они такими, но явный беспорядок он чувствовал. — Это анти...

— Антиполитично, — пришел ему на помощь случайный товарищ по несчастью.

— Да, да... Антиполитично, — обрадовались оба удачно найденному слову. Но тут меня вызвали к начальству, и они освободились от необходимости объяснять, что это слово значит. Кстати, при том значении слова «политика», о котором я уже говорил, может, они и были правы.

Поскольку все было заранее договорено, я быстро получил направление в другую школу и ушел. Этой другой, наиболее близкой к нашему дому русской школой-десятилеткой оказалась тридцать третья. Та самая, бывшая еврейская, при которой когда-то был дневной санаторий. Только теперь она уже была русской (еврейским в ней оставался только один десятый класс) и помещалась в такой же новостройке как и моя сорок четвертая. Собственно, эта ссылка не была для меня особенно тяжелой. В эту школу только что перевели из неполной средней школы класс, где учился Гриша, где у меня было много знакомых.

Итак, я пришел в школу. Прежде всего, к директору. Им был товарищ Шнеперман, явно остававшийся еще с «еврейских» времен. Представлял он собой тип местечкового выдвигенца. По-русски говорил плохо, неправильно (все остальные учителя, перешедшие из еврейской школы, этого недостатка не имели, а некоторые вообще были очень интеллигентны). На уроке (он преподавал историю) вполне мог сказать, что древляне устроили в Искоростене много «пожарей». К величайшему, конечно, нашему удовольствию. Меня он встретил приветливо, сказал, что, может, я и очень умный (ознакомился с личным делом), но он надеется, что я буду дисциплинирован. Каким он был человеком, не знаю. Подлостей он не делал, но, и вообще в школе почти не ощущался.

Дальше все пошло еще легче. Гриша попросил классную руководительницу Софью Наумовну принять его товарища в их класс.

— Твоего товарища? — переспросила она. — Мне кажется, я хорошо знаю этого твоего товарища.

Это была одна из воспитательниц дневного санатория «хавертэ Шифра», товарищ Шифра (еврейское имя Шифра обычно в русской транскрипции звучит как Софья — правильно или нет, я не знаю). Оказывается, она была учительницей географии. И, должен сказать, очень хорошей требовательной учительницей. В восьмом классе проходят географию СССР, и эту географию мы знали. Она, кроме всего прочего, заставляла нас для лучшего запоминания перерисовывать из учебника подробные карты областей, и я до сих пор представляю карту нашей страны достаточно отчетливо. Практически я смог применить эти знания очень

скоро — в процессе эвакуации — лучше представлял, где и куда меня везут.

Но это было уже в июле 1941-го, через несколько месяцев. А сейчас на дворе был только сентябрь сорокового.

Класс встретил меня хорошо. Правда, отдельные шустрые индивиды, как обычно бывает, и не только в школе, не прочь были и поразвлечься по поводу новенького. Но их поползновения были мгновенно пресечены моими приятелями. Поскольку шустрым и самим не больно было надо, а ближайшее развлечение сорвалось, они спокойно покорились диктату, и воцарился мир.

Я уселся за последнюю парту у стены и очень скоро обнаружил за партой рядом — в центральном ряду — миниатюрную и очень активную девочку с косичками. Девочка одновременно стреляла из самодельной бумажной трубочки жеванными бумажками, следила за объяснениями учителя, отвечала на мои вопросы, подсказывала отвечающим у доски и веселыми остротами откликалась на все, что происходило в классе. Мы с ней подружились сразу и навсегда. Звали ее Женя Бирфирер. В Киеве всех Жень называли Жучками. Я скоро стал называть ее более ласково — Жуча. За мной последовали и другие. Потом я написал о ней стихотворение, которое почему-то очень понравилось Асееву. Поскольку ни в какие мои сборники оно не входит, приведу его полностью:

ЖУЧА

Вот прыгает резвая умница,
Смеется задорно и громко.
Но вдруг замолчит, задумается,
Веселье в комочек скомкав.

Ты смелая, честная, жгучая,
Всегда ты горишь в движении.
Останься навеки Жучею,
Не будь никогда Евгенией!

Стихотворение это я помню, хотя думаю, что все оно осталось в том времени, когда написано, когда все еще существовала внутренняя претензия на изменение экзистенциальной природы человека (зачем? по чьему проекту?). Сегодня этой тенденции не просто нет, а она и не кажется мне поэтичной. Мудрая грустная женственность, все время

обретающая и теряющая, для меня во сто крат поэтичней. А ведь доходил я и не до таких лирических откровений. Вот наиболее яркое:

8 МАРТА

Сегодня город упал в туман.
А у тебя — чисто женская боль.
Женщинам трудно — ты знаешь сама,
Мне говорить ли об этом с тобой.
Мне с этим никак примириться нельзя.
Вижу: ты смотришь большими глазами.
А все же обидно, что — не я,
Что больно тебе и что выйдешь замуж.

В точности пятой строки я не уверен, а вторая половина восьмой в одном из вариантов читалась «...и что все по-другому». Но все это — наивное доведение до абсурда не только большевистского равноправия, но и некоторых тенденций поэзии «Серебряного века», с большевизмом прямо не связанных. Речь идет о стремления отделить высокую поэзию любви от последующей расплаты прозой. В поэзии это всегда присутствует как неисполнимое и даже невысказываемое желание, но не как программа жизни, не как требование. Поэзия и утопия — вещи разные. Но здесь все эта нелепость доведена до степени интимности и лиризма, цельности внутреннего мира.

Все это было, теоретически говоря, давным-давно. Сегодня мне не больно от того, что Женя не исполнила моего глупого призыва и стала взрослой, стала «Евгенией». Слава Богу, что это так — тем более что она стала хорошим человеком и хорошей женщиной.

Из рассказанного ясно, что, подружившись с Женей, я скоро в нее и влюбился. Правда, неудачно. Потом с ней подружился и Гриша, и она влюбилась в него. О своих тогдашних чувствах сейчас говорить не буду — они понятны. Но произошла драма, не драма наших отношений с Гришей — мы все продолжали дружить как ни в чем не бывало, и я мужественно преодолевал горечь поражения, — а иная. Гриша однажды рассказал мне как лучшему другу, что они с Женей целуются, а я, потрясенный, записал это в спорадическое подобие дневника. Этот дневник обнаружила моя мать, прочла и, полная педагогической активности, отнесла его классной руководительнице Софье Наумов-

не, с которой была в хороших отношениях. Та не нашла ничего более умного, чем вызвать Жениного отца. Но на этом цепь местечковой «культурности» прервалась. Отец, человек разумный и серьезный, посоветовал учительнице не заниматься сплетнями, и дело заглохло. Но куда было деваться мне? Неудивительно, что мои отношения с матерью после этого никогда не были легкими.

Это тоже деталь времени — правда, связанная не только со сталинщиной, а с эпохой вообще. Набегание одна на другую разных культурных традиций и влияний создавало причудливое их сочетание в одном человеке.

С Женей я дружил и после войны, приходил к ней, когда бывал в Киеве, у нее была хорошая семья. Грустно, что ее больше нет. А так ли уж давно это было — девочка с косичками, стреляющая из самодельной трубки жеваными бумажками и одновременно спасающая кого-нибудь, гибнущего в это время у доски... злополучный дневник... И то, что все еще было впереди — и у нее, и у меня. А теперь ее нет — у нас теперь часто уходят слишком рано, — я задержался, но я далеко. К сожалению, это не только «путь вся земля», что тоже грустно, но на что роптать грешно, но и воздействие нашей изнасилованной жизни. Стране, с которой были тогда связаны наши надежды, грозит хаос. От этого и уходят рано — не в лучший мир, так в другую страну. Момент, как говорится, социальный.

Но тогда мы еще не знали будущего — ни своего, ни страны. Думали, спорили, но не знали. И даже Сталина еще не знали — даже мои старые друзья, даже я. Подумаешь — изменник революции...

В этом классе и кроме Жени были люди, которые так или иначе запомнились на всю жизнь. Между тем жизнь некоторых из них по условиям времени оборвалась очень рано. Необходимо помянуть Варшаву. Фамилия его была, естественно, Варшавский. Но так его звали только учителя. Имя его было как я недавно узнал, Миля, но так его не звал никто. Был он для нас просто Варшава, на это имя и откликался. Жил он с матерью-медсестрой в подвале на Саксаганского, ближе к «Евбазу» и Безаковской, ведущей к вокзалу (до моей эмиграции — Коминтерна), вход был по ступенькам вниз прямо с удицы, на которой с утра до ночи гремели и трезвонили трамваи. На нем был всегда один

и тот же неизменный, чисто выстиранный парусиновый костюм и такие же туфли. Впрочем, тогда, до войны, на счет нарядов вообще было негусто. Даже самые богатые из нас по теперешним нормам выглядели бы убого. А Варшава с матерью и по тогдашним меркам жили бедно. Но Варшава нисколько не унывал, вся его квартира была завалена всякой периодикой, ею же полон был его портфель — Варшава был ее усердным собирателем. Мы тогда все очень интересовались политикой, дело ведь шло к войне. Но не только поэтому — чтити заграничных коммунистов, следили за симптомами охлаждения нашей «дружбы» с немцами (цинизм по отношению к мировой буржуазии я принимал, но ведь не дружбу, о которой вопили все газеты) и т.п. Варшава был ходячим справочником по этим вопросам. У него были свои любимые словечки: «дескать», например. Он вставлял это слово, куда только можно. И всегда он светился добротой. Помню уже весной 1941-го военные занятия, маршировку вокруг военрука на площадке перед школой, зычную команду: «Варшавский! пряжку н-на-а пуп!» И помню, как высокий нескладный Варшава без тени смущения поправляет на ходу ремень на парусиновых брюках.

Однако когда пришлось, Варшава стал не только солдатом, но и сержантом. Гриша его встретил где-то на переформировании, когда Варшава уже стал бывалым фронтовиком. Он обучал необстрелянных обращению с пулеметом. То же добродушие, те же «дескать», но и забота о том, чтобы люди чему-то научились перед боем. Варшава погиб вскоре после этой встречи. Он не увидел и не пережил почти ничего из того, о чем я здесь буду вспоминать.

А вот другая трагическая судьба — Жора Сизоненко — фамилия, как у секретаря обкома, но человек совсем другого склада. Особой близости между нами не было, но были мы расположены друг к другу. Подозреваю, что особенно близок он не был ни с кем. Учился он очень хорошо, наверное, лучше всех, но был при этом скромн и мягок, неизменно и искренне доброжелателен ко всем. Было в нем то, что я бы теперь назвал врожденной интеллигентностью, может быть, даже аристократичностью, но это тогда мной не осознавалось. Жил он на Владимирской, между Жилианской и Мариинской. По дороге к нам из школы и из центра города Большеголовый, невысокий, плотный, но

какой-то при этом соразмерный и неуловимо-изящный, он приветливо окликал меня, стоя у двери своего дома, и мы с ним разговаривали — дружески, откровенно на всякие темы — его интересовала и литература, и наши в ней дела, — но почти всегда не очень долго. Его окружала какая-то тайна. Мы знали, что жил он с матерью и теткой, что они были медсестрами (может, кто-то из них и врачом), но думаю, что по-настоящему о нем никто ничего не знал, но как-то не замечали, что не знали. Стены вокруг себя он не выстраивал. Или она была прозрачной? Что он скрывал, где и кем был его отец — я не знаю. Тогда многие многое скрывали, многие в чем-то были «виноваты» перед мучающей их властью.

Почему не эвакуировались его родные — тоже не знаю. Не успели? не смогли? Надеялись, что пройдет необходимость скрываться яко тати? Знаю только, что и он оставался в Киеве и даже (о, ужас!) учился в мединституте. Но с немцами он не ушел — значит, не хотел (жаль, остался бы жив!), — такая возможность предоставлялась, даже навязывалась.

Дальнейшее я знаю из слов Жени. Она вернулась в Киев первая и сразу встретила его на улице. Он очень ей обрадовался, и они подружились. Она говорила, что он стал высоким и красивым парнем, возмужал. Говорила о его естественном благородстве. Дружба их, а это была именно дружба, прервалась неожиданно. Жору стали «куда-то» («куда надо» — по Войновичу) вызывать, в результате чего он стал мрачнеть и в конце концов кончил самоубийством.

У меня нет сомнений, что его запугивали с целью сделать осведомителем. Как же! «Вы жили в Киеве при немцах, даже учились в институте — теперь вы должны искупить свой грех перед матерью-родиной, доказать ей свою верность. А если нет — сами понимаете». А чего тут было не понимать — каждый день сажали и высылали «за оккупацию». А уж из института выгнать за это, поломав этим жизнь, могли запросто. Тем более и тайна какая-то была — то ли сидел или расстрелян был кто-нибудь в семье, то ли с белыми ушел — не от них же она была, эта тайна (я уже писал, сколько было в стране изначально «виноватых» людей с подобными «тайнами не от них»). Почему ж не поиграть? А небось не слушал «мещанских» разговоров, ждал —

свои придут. Вот и не выдержал. А ведь был бы хорошим человеком, крупным врачом, ученым. Ничего не стало. У ублюдков был свой план профилактики. И почему мы все время кому-то что-то должны были доказывать, чтоб иметь право жить!

Мне жаль, что я не застал Жору, не говорил с ним — я впервые приехал в Киев года через полтора после его гибели. Вряд ли это чему-нибудь бы помогло, но все-таки жаль. При всем моем тогдашнем идиотизме в своем отношении к людям я больше руководствовался «сердцем» (восприятием), а не догмами. Но что бы я мог сделать? Подбодрить? Да и то, если б он со мной поделился...

Были в классе и другие интересные люди. Шура Браверман, ставший выдающимся инженером, конструктором вертолетов, Володя Левицкий. Отец Володи был ученым-биологом, рудиментом кондовой украинской интеллигенции, разгромленной в начале тридцатых на процессе СВУ и в связи с ним. Володя — талантливый инженер, хороший человек, с которым я поддерживал самые теплые отношения до самой эмиграции, он жил и живет в Ленинграде. Теперь он, к сожалению, инвалид.

Но тогда, в сентябре 1940-го, я только встретился с этими ребятами и все эти мои дружбы только завязывались. А время продолжало меняться. Неожиданно грянул указ — обучение в ВУЗах и старших классах стало платным. То всей пропагандой жутко гордились великим завоеванием — тем, что оно бесплатно, то вжик — и нет. В принципе, и это не страшно. В мире много стран, где обучение не бесплатно, и ничего — живут. На свете ведь бесплатного ничего нет. Например, госквартиры у нас почти бесплатны, но их ремонтировать не на что. Правда, и к небесплатности образования в нормальных странах приспособляются — способный человек, желающий учиться и учится. Но наше общество не было нормальным, и плата стала взиматься не ради самой платы, а опять-таки из социального планирования — чтоб «перекачать» часть молодежи из студентов в рабочие. Вполне возможно, не всем у нас тогда это полное среднее было необходимо, и многие «тянули лямку» только потому, что такой установился стандарт — не в последнюю очередь благодаря пропаганде. Но сделано это было отвратительно. Когда я предложил собрать деньги для тех наших

товарищей, которые сами за себя заплатить не могли, мне намекнули, что это надо делать тихо. Вне зависимости от того, как дети учились, они подлежали «перекачке» из-за материального положения их родителей, после того, как были пролиты моря крови за социальное равенство. И если не в сознании, то уж точно в подсознании от всего этого оседало ощущение бессмыслицы.

Так что и в этой школе меня не оставляла в покое торжествующая сталинщина. А тут и у Гриши началась история. Началась она, собственно, раньше — с его речи на совещании юнкоров, куда нас умолила придти Адочка. Дело в том, что редактор «Юного пионера» Шмушкевич, личность примитивная и рутальная, после того как наш журнал, получив частное одобрение работника «Пионерской правды», тем не менее, не получил премии, заподозрил недоброе и стал в чем-то подозревать нас и ее. Появление наше на этом совещании в присутствии самого министра просвещения товарища Бухало должно было засвидетельствовать нашу лояльность. Засвидетельствовало оно прямо противоположное. Что-то там говорил и я, но в основном Гриша. Опять против формалистики проявлений. В том числе и комсомола.

И это аукнулось — дошло до школы. В основном ему сочувствовали. Особенно члены комитета комсомола Сеня Богомолец и Марк Розенблат — оба из десятого (еврейского) класса. Сеня погиб на фронте, Марк прошел войну, стал журналистом и до сих пор живет в Киеве. Но делу был придан надлежащий размах — давили райком и обком. Члены комитета конфиденциально сообщили Грише, что сочувствуют ему, но будут голосовать за его исключение — видимо, в порядке комсомольской дисциплины. Так мы и жили.

Каким-то образом к этому делу имела отношение и Федотова: смягчала, что могла. Хоть по доброту, а не из согласия. Но Гришу из комсомола исключили. Не знаю, затруднило ли бы это ему поступление в ВУЗ (как ни странно, тогда еще это учитывалось не так строго, как потом), но в те университеты, куда в очень скором времени предстояло попасть всем нам, принимали без выписок из «личного дела комсомольца». Меня чаша сия миновала, поскольку на закрытые собрания несоюзная молодежь не допускалась. Да и ребята не хотели моего участия — ведь я уже был «мече-

ный» и мог только ослабить их позиции. Возможно, это меня уберегло от новых неприятностей. Так что — все к лучшему.

В это же время Головач выгнал из школы и Люсика. Между тем мы все продолжали жить в самой счастливой и свободной стране, озаренной солнцем сталинской конституции.

История не останавливается, не делает перерыва для того, чтобы какое-либо поколение смогло «оклематься» — собрать по крупицам свой трагический опыт и спокойно осмыслить его. Все это относится и к моим воспоминаниям. Сейчас началась последняя декада января 1991-го года, и события не оставляют меня в покое. И если война против иракской тирании волнует меня только сама по себе (переживаю за судьбы летчиков и вообще за успехи Америки), не колебля моих представлений о мире и жизни, то события в Прибалтике и в Москве все же испытывают их добротность. Процесс, внутри которого мы жили и мыслили всю свою жизнь, приведя к чудовищным последствиям, еще не кончился, продолжает страшными конвульсиями трясти и без того давно уже усталую, измученную, истощенную болезнью страну, возможен летальный исход. Какое значение на этом фоне имеет, что понимали и чего не понимали интеллигентные юноши, читавшие друг другу стихи на улицах довоенного Киева?

Они что-то чувствовали, эти мальчишки, но почти ничего не понимали. Прежде всего в человеческой жизни, в жизни уже упоминавшихся «молочниц и мамаш», в том, как она тяжело дается, и в том, что скрывается за ее приземленностью. Грех Сталина перед революцией некоторыми сознавался, некоторыми отрицался или оправдывался, но проблема ощущалась всеми. Грех Сталина и самой революции перед страной не замечался вовсе. И только поэзия иногда выводила из этого тупика.

И все-таки все эти блуждания впотьмах имеют значение — хотя бы потому, что в конце концов — конечно, не скоро — привели к пониманию сути поэзии, а следовательно, и жизни. Конечно, не к разгадке ее «секрета», но к пониманию, что этот секрет есть. К более острому пониманию важности признания этого секрета и нелепости его игнорирования. А это вещи, нужные и сегодня, если наша страна и жизнь вообще будут продолжаться.

А тогда, в 1940 году, была юность, мне шел шестнадцатый год, и никто не знал, что полных шестнадцать мне стукнет уже не в Киеве, совсем в другом месте, при других жизненных обстоятельствах и другом жизненном опыте — в эвакуации.

В Европе война уже шла, но мы еще не воевали, хоть, конечно, знали, что чаша сия не минует и нас. Но это была пора нашей юности. Она несмотря ни на что была одновременно и тревожной, и безоблачной, мы пили эту безоблачность большими глотками, может быть, инстинктивно чувствуя ограниченность ее сроков. Но что война будет такой, как она потом была, мы и представить себе тогда не могли. Эвакуироваться, по нашим представлениям, предстояло немцам — если, конечно, успеют.

К этому времени меня уже больше всего на свете занимала поэзия. Все остальное — в связи с ней. И что-то существенное я стал в ней понимать. Каким образом — сказать трудно. Прежде всего, как уже говорилось, через Маяковского, стоящего в ней особняком. Потом — через близкую мне тогда по духу революционно-романтическую поэзию двадцатых годов (поначалу всегда понятнее ближайшие предшественники) — тоже явление хотя иногда и яркое, но межеумочное. Правда, начал я понимать и любить Блока, его лучшие стихи. Мое сегодняшнее отрицание некоторых тенденций его творчества, неоднократно мной выраженное, не изменило моего отношения к этим стихам. В большинстве из них он и теперь остается для меня великим русским поэтом. Открылся мне и Пастернак. Об Ахматовой и Мандельштаме я только слышал. Имя Цветаевой я впервые услышал только весной 1941 года, перед самой войной, от Эренбурга (об этом чуть позже). И все же сквозь всю эту и иную (о которой достаточно здесь говорилось) путаницу в голове я уже что-то нащупывал. Рождалось ощущение формы как выраженной цельности внутреннего замысла (у многих до сих пор заслоненное «работой над формой» или «овладением формой»), а также представление об обобщенности, о том, что этот замысел не должен исчерпываться поводом, вызвавшим его к жизни — все равно интимным или общественным переживанием он является. Формулы эти, конечно, не тогдашние, но ощущение в какой-то мере и тогдашнее.

А рядом с этим я ощущал себя и старался быть ярим «футуристом», новатором даже. А также назло «мещанам», собственной сущности и в подражание Маяковскому — скандалистом. Все это, особенно последнее, шло мне как корове седло. Правда, часто за «скандализм» и я, и другие принимали нежелание скрывать свое отношение к принятым нелепостям, попытки добиться справедливости и логичности в словах, с которыми к нам обращались. Или с такими эпизодами, как в военном училище. Так что скандал выходил делом чистым. Однако это не было скандалом. Но случилось мне и высказывать на всяких лекциях «О коммунистическом воспитании» с антимищанскими вопросами-тирадами — неадекватно резкими. А однажды выматерился в доме одной «барышни» (наименование в нашем кругу презрительное), сокурсницы моих старших друзей-студентов. Причем в ее присутствии, в чем и была вся соль этой выходки — этого тогда еще очень даже не полагалось. Именно для этого я и был приведен в этот гостеприимный (по их мнению, богатый) дом своими старшими друзьями — они считали эту сокурсницу глупенькой мещанкой. Вряд ли кто-нибудь из нас мог бы внятно объяснить, почему из-за этого следовало ее обижать, но в своем праве на это не сомневался никто. Возможно, она просто кому-то нравилась. Да и у меня самого она никаких отрицательных эмоций не вызвала. Но я считал своим долгом то ли комсомольца, то ли футуриста проявлять неуважение к нормам приличия и отчасти из-за этого купился, как говорится, на «слабо». «Сможешь?» — спросил меня кто-то, скорее всего Толя Баран, самый старший и единственно скандальный среди нас. «Смогу», — не колеблясь, ответил я. Вот и был приведен.

Когда дошло до дела, мне уже совсем расхотелось хулиганить. Тем более приятели заставили меня читать стихи, которые очень умилили хозяйку. Но не таков был Толя Баран, чтоб отказаться от своих планов. Он приступил к делу сразу же после чтения стихов и произведенного впечатления — прямо объявив, что вот он (то есть я) сейчас матюкнется. И повернулся ко мне: «Ведь матюкнешься, правда?» В ответ я и «послал» его куда подальше — совершенно даже искренне. Девушка рассмеялась и не обиделась. Может, сочла это новым веянием — ребята-то были поэты, элита

курса — вот и ошиблась, забежала вперед лет на двадцать, может, женским чутьем уловив чью-то игру. Не знаю. Что же касается меня, то удовольствия от этого своего антимещанского подвига я никакого не получил. Но остальные были этой проделкой (в пушкинские времена это называлось бы шалостью) весьма довольны и со смехом рассказывали о ней приятелям — молоды мы еще были все, даже самые старшие из нас.

Я говорю «из нас», потому что к этому времени моя жизнь протекала уже не только в школе и в литкружке «Юного пионера», не только среди старых друзей, но я стал своим и в этом студенческом обществе, «младшим из компании ребят», если говорить словами одного моего более позднего, уже послевоенного стихотворения. Вообще моя жизнь складывалась так, что я большей частью бывал членом не одного, а двух или нескольких дружеских кругов. Круги эти никогда не бывали антагонистичными, чаще всего потом перемешивались, люди сближались между собой и дружили без меня, но начиналось так. Тогда это было со мной первый раз.

Мне было очень приятно среди моих новых друзей. Бурсацкими проделками, вроде вышеописанной, они больше, насколько мне известно, не занимались. Я просто часто заходил к ним — особенно к Яше Гальперину, который жил неподалеку, на Маловасильковской (по мере того, как я подрастал городские расстояния для меня сокращались), и чуть пореже к Марку Бердичевскому, жившему дальше, на Банковой, в начале Печерска, над центром Крещатика. Кроме того, Марк занимался не только литературой — он учился на геологическом факультете и бывал больше занят.

Особенно мне запомнились встречи у Яши. Его семья состояла из четырех человек: его самого, его отца (которого я не помню, но Марк говорит, что и он наличествовал), матери и сестры. Они вчетвером занимали две смежные комнаты в коммунальной квартире, в бельэтаже. Обычно мы сидели с ним в задней, уставленной книгами. Иногда там набивалось много народу. Бывала там и Яшина девушка, его одноклассница Надя Головатенко, по-моему, она уже даже считалась его невестой, плотная и легкая, русоволосая, очень живая и милая, меня она звала Манделек. Были актеры из окрестного военного театра, еще кто-то, приез-

жал из Москвы и ифлиец Люмкис. Потом, когда ребята поступили в университет, появился и уже упоминавшийся Толя Баран и вернувшийся с Финской войны Петр (Пин) Винтман. Говорили больше всего о поэзии. Почти все эти ребята знали о ней гораздо больше, чем я, их поэтическая культура была гораздо выше моей.

Страшно подумать, что из всех этих ребят до конца войны почти никто не дожил, только Марк и я. Все, кроме Яши, погибли на фронте, Яша, которого не взяли в армию из-за хромоты, погиб в оккупированном Киеве. Мне много приходилось думать о том, как гибли в наше время люди — от насилий, от несправедливости, от террора. И, конечно, я знал, во что обошлась нам война. Но чтоб вот так сразу — комната, полная людей — молодых, талантливых, которые столько обещали, и — никого, только Марк и я, «младший из компании ребят», да еще, где-то далеко от нас, в уголке, Яшина невеста Надя Головатенко, о которой когда-то говорили, что она предала Яшу. Я в это не верю. Я не встречал ее после войны, но знаю, что она ее пережила и уехала из Киева. Знаю, что она отнюдь не избегала объяснений, а хотела их, даже сама на них шла. Но с ней не торопились объясняться — психоз первых послевоенных лет. Тем более, что по достоверным сведениям, они с Яшей перед его смертью разошлись, перестали встречаться. Другими словами, она оставила его в трудный момент. Я понимаю, что благородного человека, от которого мы узнали это, который до конца оставался яшиным другом и не предал его до конца, это оскорбило, но это ведь не доказательство такого страшного обвинения.

Правда, к сожалению, дело было не столь просто. Примерно за месяц до смерти, весной 1943 года, Яша встретил «парня со своей улицы», по фамилии Левитин, полуеврея-полуукраинца, работавшего переводчиком в гестапо. Они никогда не были близки, но были знакомы. Поговорили и разошлись. Друзья, когда он им рассказал об этой встрече, посоветовали ему «лечь на дно» и просто не появляться на улице. И он залег — на квартире своего одноклассника. Здесь он получил записку от Нади, несмотря на ссору зовущую его поговорить, пошел к ней и... не вернулся. Но друзья знали, что он пошел именно к ней, и потому к ней вскоре явился один из них, Борис Костелянчук (о нем позже), и

спросил без обиняков: «Где Яша?» Вся в слезах, Надя сказала, что он здесь был, что они поговорили, и потом он ушел. А когда она взглянула в окно, то увидела, как к нему подошел Левитин с двумя немцами и увел с собой. Связана ли Надина записка с Левитиным, заходил ли он вообще к ней (возможно, говорил ей, что она должна поговорить с Яшей и передать ему, как отвести нависшую над ним опасность) или вообще все это только совпадение, а Левитин просто выследил Яшу. Вероятно, сам всего боялся и выслуживался.

Сюжет показывает, что скорее всего этот Левитин запугал и обманул Надю, но никак не то, что она сама по каким-либо причинам его предала. Она была потрясена случившемся. Кстати, никто ей не мешал выдать и тех, кто его скрывал, — ведь она знала адрес. Да и Костелянчука как пособника тоже — вместо того, чтоб плакать перед ним. И никто не заставлял ее писать потом истерическое письмо Марку, где она клялась, что слухи о ее предательстве ложны, что она любила и любит Яшу. Тем более, что она этим открывала свой адрес (она тогда жила не в Киеве), а «сотрудничество с врагом» в то время толковалось широко и каралось жестоко.

Нет, она не предательница. А что касается претензий к ее личной жизни, к тому, что она рассталась с Яшей, то тут вообще надо быть осторожными. Во-первых, мы просто не знаем, по какой причине это произошло, не знаем даже, она ли бросила. Но я допускаю худшее: бросила она, и по самой стыдной причине — потому, что не выдержала тяжести, что у нее не хватило больше сил быть невестой человека, не имеющего легального права на существование. Но можно ли за это осуждать женщину? Ведь даже самая любящая женщина — такова ее природа — в перспективе вьет гнездо, и ориентирована на будущее. Возможно, был момент малодушия, когда Наде стало страшно и захотелось приспособиться к тому, что ей показалось будущим. Конечно, находились люди, — и женщины, и мужчины, — чья любовь выносила и такую, временами казавшуюся безысходной, тяжесть. Но это поведение, достойное восхищения и поклонения, а вовсе не норма. Людей, способных на такое, всегда мало. Никого нельзя третировать за то, что он до такого уровня не дотягивает. Судить — и любым судом —

надо тех, кто заставляет людей испытывать себя таким образом, а не тех, кто не выдерживает такого испытания.

И я вспоминаю Надю с нежностью и жалостью — помню только ее юность, ее смех, ее «Манделек», ее уверенность в будущем своем счастье и надеюсь, что жизнь не совсем обманула ее ожидания. Она тоже — часть нашей судьбы.

Но все эти проблемы возникли потом. А тогда цвела юность, цвел Киев, наш Киев с его парками, садами, по которым мы бродили, читая стихи, балуясь, аукаясь, ведя серьезные и несерьезные разговоры, заходя по дороге в его букинистические магазины, где мы искали Пастернака, а иногда и в кафе, в одном из которых, на Фундуклеевской, я впервые опрокинул в себя рюмку водки. Наш Киев, в котором мы все очень любили друг друга и были счастливы. Это счастье было настолько скоропалительным (для меня), что почти забылось и вспомнилось только сейчас, к случаю. Ибо вскоре после начала войны оно было заслонено потоком трагических событий, потом послевоенным антисемитизмом, особенно тупым и brutальным в моем родном городе, а потом внезапно и неприятно воскресшими более ранними воспоминаниями о Киеве, о которых здесь уже шла речь и которые никак не вязались с представлением о счастье.

Но тогда мы все-таки были счастливы. Несмотря на все страхи и сомнения недалекого ушедшего тридцать седьмого года. И, как это ни грешно, не было почему-то в нас никакого комплекса по поводу того, что наш Киев — это город, на тротуарах которого, как мы сами в детстве видели, еще недавно валялись умиравшие от голода крестьяне. Но тут мы не отличались от всех наших сверстников той поры, хоть это очень скоро аукнулось некоторым из нас более непосредственно, чем другим, очень страшно и совсем не справедливо. Вся жизнь после коллективизации была замешана на чудовищном грехе, и грех рождала в ответ. Но об этом я здесь уже писал и буду писать еще не раз, а сейчас я пишу о своей юности, которая у каждого человека одна, а у меня, как и у всех моих одногодков, она была еще очень коротка.

Жили мы все, точнее, наши родители, очень скудно и тесно. Квартирные условия Яшиной, например, семьи выглядели роскошно, а занимали они вчетвером (у него еще

была сестра сравнимого с нами возраста) две небольшие смежные комнаты в коммунальной квартире. Семьи большинства друзей тоже жили в коммунальных квартирах (отдельная из всех моих знакомых была только у Жени), но занимали в них по одной комнате. Правда, «снабжение» в Киеве, как в столице Украины, было хорошее. Это значит, что в магазинах были кое-какие самые элементарные товары, которые, правда, то исчезали, то появлялись, но они — были. Мне самому однажды пришлось занять с ночи очередь в пассаже (примерно в том доме, где после войны жил Виктор Некрасов), чтоб купить ботинки (обычные — я и тогда не был модником). Я полагал, что так живут везде. И только, когда во время войны я столкнулся с довоенными жителями других городов (даже таких «крупных пролетарских центров», как Днепропетровск и Свердловск), я понял, что довоенное снабжение Киева было исключительно хорошим. Но и узнав, отнесся к этому спокойно. И не только потому, что уже шла война, по сравнению с которой все было хорошо. Просто мы так относились к жизни. Я не говорю о старших — о тех, кто помнил другое. Помнить-то они помнили, но были подавлены — победная поступь иррациональности, захватившая их детей, давила их память и здравый смысл. Кроме того, все, что они могли сказать, было заранее дезавуировано пропагандой, объявлено результатом непреодоленных «родимых пятен» и вообще отсталости. Конечно, отсутствие представления об иной жизни помогало нашему «парению».

Но дело было не только в неведении. До войны мы получили возможность воочию убедиться в том, что даже в таких по общему признанию не очень богатых странах, как Польша, Прибалтика, Румыния, люди живут гораздо богаче, чем мы. Но это на нас не действовало. Говорю «на нас», потому что это не моя личная особенность. Как бы всем нам, людям близких мне поколений, не приходилось эмпирически барахтаться, а некоторым и ловчить (речь отнюдь не только о фанатиках, интеллектуалах или «идеологах», а обо всех), в целом мы, люди, начавшие жить и понимать в новую эпоху, относились к общим условиям жизни спокойно, как к данности. Не только не сознавали своей обделенности, но чувствовали себя во времени хорошо и свободно, гордились своей современностью и сознательностью.

Все это достаточно алогично. Иногда мне даже кажется, что имело место нечто иррациональное — например, космическое облучение, воздействующее на чувства и мысли (по профессору Чижевскому). Но, если это даже так, все равно действовало и представление о жизни как о некоей служебности и подсобности, а о всех ее благах — как об удобствах на биваках во время перманентного, вечно длящегося и вечно стремительного похода неизвестно куда и зачем. А что важно на биваке — переночевать, подкрепиться, и снова в поход. Сталину такая психология очень даже пригодилась, он умело использовал ее, старался внедрить как можно глубже, но выдумал ее не он.

Из этого можно сделать ложный вывод, что весь народ тогда вдруг ни с того ни с сего ударился в безоглядный фанатизм, чего и в «романтические» двадцатые годы не было. Тогда партия на это даже не претендовала (прямо признавалось, что в целом народ хотя и идет за большевиками, все же до высоты их идеологии пока «не дорос»). А уж при нас этого и подавно не было. Нет, большинство людей в своей частной жизни оставались самими собой, как могли, выкручивались и увертывались, даже помогали друг другу выкручиваться и увертываться от этой напасти, но — в индивидуальном порядке, не делая опасных, то есть жестоко наказуемых, обобщений. Так что нельзя отрицать и роли террора в формировании и поддержании такого сознания, такого представления о жизни.

Так или иначе, представление это все равно присутствовало в атмосфере времени, в подсознании. Не очень глубоко — потом в плену и в оккупации оно у многих на время или навсегда испарялось, — но присутствовало. Я ведь жалел девочку Адю за то, что ей предстоит жить при капитализме. Это года через два после трупов на киевских улицах. Как это получилось? Как ни странно, думаю, что это получилось в значительной степени само собой. Просто власть, контролируя коммуникации — а это она считала не только правом, но и обязанностью, — овладела языком общения, получила контроль над мышлением. Вряд ли это было результатом ее сознательно сформулированного плана — таких высот постижения законов психологии большевики никогда не достигали. Но они вышли к этому эмпирически, и многие из них сами потом оказались жертвами

возникшей в результате их деятельности реальности, точнее, антиреальности, возможности которой столь чутко уловил Сталин.

Антиреальность эта следующими поколениями не признавалась, но гнет ее они чувствовали. И единственной иллюзией освобождения от ее гнета, единственной возможностью противостояния — пусть только эмоционального — бессмыслице сталинщины была романтика. Любая. Отъезд по приказу и призыву (обязательно далеко, лучше всего на Дальний Восток), война в Испании, даже в Финляндии и т.п.

И вместе с этим протест против... покоя и сытости:

И мы уходим в синие дороги,
От сытых снов и сытого житья,

— писал Яша Гальперин. О том, какие были вокруг и позади нас тогда покой и сытость, здесь уже говорилось. Но что-то ведь имел в виду и автор этих стихов, а также все, кому они нравились. Конечно, кое-что шло от традиции, от дурной школы популярного тогда среди нас Багрицкого, но кое-что и от нашей, пусть причудливой, но все же реакции на жизнь. Ведь такие по духу стихи вполне мог бы тогда написать и я. Неприятие духоты мы принимали (и — что греха таить — хотели принимать) за неприятие сытости и мещанства.

Конечно, вскоре нам пришлось убедиться, что это не совсем так. Волей судьбы вскоре в «синие дороги» уйти пришлось нам всем (а многим на них и остаться). Они действительно были без всякого намека на сытость, почему часто и отливали синевой, но романтики в них не было, и от «мещанства» они не уводили. Конечно, встречались на этих путях, прежде всего военных, — и отнюдь не редко — и героизм, и благородство. Но были они неотрывны от житейской обыкновенности и земной грешности — короче, имело это все другой характер и иную природу, чем наша романтика. Это соприкосновение с народом для тех, кто выжил, было живительным и обогащающим. Но когда мы до войны говорили и писали об этом, мы, в сущности, не знали об этом ничего. Так же, как и тогдашние московские «студенческие» поэты, в том числе и погибшие на войне Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчицкий. И только с этим настроением было у многих связано ощущение

ние полноты и осмысленности жизни. Больше не за что было ухватиться. В Киеве больше всех отдал этому дань Яша.

Полуистлевшие расскажут фото
О наших лицах, смуглых и суровых,
Пластинки, уцелевшие от бомб,
Заговорят глухими голосами,
Отличными от наших голосов,
И рыжие газетные столбцы
Откроют наспех деланные сводки.

В глубокодумьи мемуаров сыщут
Крупницы наших мыслей и страданий.
Из строк возьмут тяжелые слова,
Рожденные в затишии боев,
И, верно, будут удивляться, как
Могли мы думать о траве и небе.

Но никогда сердцами не поймут
Ни нашей скорби по убитым, ни
Молчания умерших городов,
Еще дымящихся... Ни неуемной,
Как голод, ненависти... И ни той
Бесовской гордости, что нам одним
Дано и выстрадать и победить.

Настроение это было свойственно тогда многим молодым идеалистам. Вспомните строки Павла Когана о мальчиках будущего, которые, «проснувшись, будут плакать ночью (имеется в виду — от зависти. — Н.К.) о времени большевиков», или большое стихотворение Николая Майорова «МЫ» и многое другое.

Помню, как, приехав после войны в отпуск из армии, Борис Слуцкий, их ровесник и товарищ, все допытывался у меня, ощущаю ли я свое поколение (тогда еще возрастная разница между нами, сегодня незначительная, не только казалась, но и была существенной) просто очередным, «дежурным» поколением или, как ощущали себя он и его товарищи, поколением совершенно особым, которому выпала особая историческая роль. Но я ничем не мог ему помочь — такой «окрыленности» у меня и моих сверстников уже не было. Да и у его сверстников она значительно снилась. Кульчицкий успел еще в начале войны написать вполне антиромантическое стихотворение «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник». Д.Самойлов потом, вспоминая об этом

времени, говорил о ребятах, «что в сорок первом шли в солдаты/ И в гуманисты — в сорок пятом». Это существенная «смена вех» — в сорок первом эти «ребята» не были «гуманистами» даже по отношению к самим себе. Слуцкий «продержался» дольше всех. Но «продержался» чисто теоретически. Высшие достижения его творчества, коих, как известно, у него немало — а, следовательно, и его подлинная человеческая сущность, — совсем в другом, в прямо противоположном отношении к жизни и людям. Он был поэтом.

Сегодня все это уже в прошлом. Нет ни Самойлова, ни Слуцкого, ни Наровчатова, ни многих других людей, с которыми я потом так или иначе тоже дружил всю жизнь, временами нелегкую и опасную. Но во времена, о которых идет речь, я еще не обо всех из них даже слышал.

Но они доходили до нас всякого рода московскими «веяниями» через наших ифлийцев — Муню Люмкиса, Толю Юдина и Сарика Гудзенко. Сарика я потом хорошо знал в Москве, но в Киеве видел только однажды, мельком, Муню Люмкиса видел в Киеве и встретил в 1942 году в Свердловске (об этом в свое время), а видел ли когда-либо Толю Юдина, вскоре погибшего на фронте, я, вообще, не убежден. Но слышал о нем много, и только хорошее, хоть он единственный в этой компании не был поэтом. И слышал именно как о Толе, как об одном из нашей компании. Поэтому так запросто его и называю — «мертвые остаются молодыми».

Вероятно, «бесовская гордость» тоже была привезена в Киев кем-либо из этих ребят. Не помню, чтоб она тогда произвела особенно большое впечатление именно на меня, хоть по малолетству и под сурдинку я ее принимал, но Яшины стихи нравились. У него были еще хорошие стихи на эту тему, более залихватские (привожу, что помню):

Я говорю: быть может, скоро
Мы все подохнем, тамада.
И пепелищем станет город,
Где мы родились, тамада.
Опустится старинный ворон
На Золотые Ворота.

Мы слушаем тебя, страда!
Плоты стучат, и воздух горек.
Но что из этого — который
Мы тост подыдем, тамада!

Я говорю: когда беда
 Близка — с любимыми не спорят.
 К любимым рвутся, тамада,
 С которыми обычно в ссоре.
 Как рвется из консерваторий
 Рев струн и меди, тамада!

Дальше я помню только самый конец. Оказывалось, что
 «мы пьем»

.....
 ...За солнцем взятые просторы
 Взахлеб грохочущей весны,
 За зелена, за ветер спорый,
 Летящий наискось в весну.
 За то, что мы еще поспорим,
 Еще поспорим — за весну!

В этом стихотворении звучит та же жертвенность, что и в предыдущем, что и у Когана и Майорова. Но она не утверждается, из нее исходят как из очевидности. Мы выбрали эту судьбу, мы согласны погибнуть, но пока можно — мы живем, и давайте веселиться. И трогает это стихотворение упоением жизнью, каким-то трагически-мажорным тоном. И все-таки «мы» тут — не только жертвенность, не только «добровольный навоз истории», все-таки «мы еще поспорим, еще поспорим — за весну».

Впрочем, у Яши проскальзывали и другие тональности:

Вселенные рождаются и канут
 В небытие... Но ты вечна,
 Привычка умниц, — поднимать стаканы
 И не скулить в глухие времена.

Это из другого пиршественного стихотворения. Строки поэтически, может быть, и наивные (автору было восемнадцать, и он только начинал), но с попыткой иного самосознания. Тут уже не героические ужасы предстоящей последней войны за мировую гармонию, не бесовская гордость за грядущее участие в ней, а «только» пир «умниц», противопоставленный глухим временам. Но так далеко он заходил редко, заносили волна стиха и подспудное чувство реальности, естественная и непосредственная реакция на нее. В принципе Яшу, как Кульчицкого, Майорова, Когана и других, эта «бесовская гордость» тоже волновала и утеша-

ла, увлекало то же стремление уверить самих себя, что век наш хоть и суров, но не бессмыслен, что мы в трудных условиях и без пресловутых «белых перчаток» боремся за коммунизм, творим нечто небывалое. И более того, способны и имеем право нести свет своего опыта другим странам и народам. Впрочем, об этом умонастроении я уже здесь не раз говорил.

Эта неосновательная, воистину бесовская (но не нами, не нашей бесовщиной порожденная), безвыходная, как все бесовское, гордость, да еще в ее сталинском варианте, для каждого из нас в свое время рухнула и рассыпалась, обернулась стыдом и неловкостью. Яше в ее иллюзорности пришлось убедиться очень скоро, намного раньше, чем нам, его друзьям, и большинству людей его склада вообще. И в самых страшных для него обстоятельствах — в оккупированном Киеве. Судьба была на редкость несправедлива и жестока к нему.

Впрочем, его жизнь в оккупированном Киеве требует особого рассмотрения. Это несколько выбивается из хода моего повествования — это не моя биография и даже не моя память — во время оккупации меня в Киеве не было. Но я видел многих людей, которые тогда в нем жили, видел их по обе стороны советской границы, знал Яшу и знаю, что происходило со страной. Этого мне кажется достаточно для той отнюдь не беллетристической и не повествовательно-бытовой реконструкции, которую я хочу предпринять. А судьба его хоть по сюжету и не типична, но очень существенна для понимания нашего времени и нашей, в том числе и моей, судьбы. Что-то наше общее в ней проявилось острее, чем в судьбе большинства из нас.

Почему Яша застрел в Киеве, читателю уже известно. Его хромота исключала его зачисление в армию, и он вступил то ли в ополчение, то ли в истребительный батальон — добровольческое формирование, несшее караульную службу и занимавшееся вылавливанием парашютистов-диверсантов. Я его встретил перед своим отъездом в «Гастрономе» на углу Красноармейской и Саксаганского, там он мне сообщил об этом. Настроение его было приподнятое, как у человека, чей звездный час приближается. Я же уезжал из Киева вместе с родителями, уезжал неохотно, утаскиваемый материнской

истерикой, и испытывал по этому поводу комплекс неполноценности. Это была наша последняя встреча.

Уехали мы вскоре после этого, приблизительно девятого июля, и я не знаю, как он жил в последующие два месяца, до 19 сентября 1941 года, дня, когда немцы вошли в город. Не знаю, чем занималась часть, в которую он вступил, и занималась ли вообще чем-либо. В царившем тогда беспорядке ее и просто могли не использовать, да и вообще не собрать. Знаю только, что у Яши был такой порыв и что он из-за него остался. Возможно, потом, ощутив военную бесполезность своего пребывания в городе, он не прочь был бы и уехать — предположить это вполне можно, но знать точно нельзя. Впрочем, практического значения это «потом» уже не имело бы все равно — Киев оказался в окружении. 19 сентября немцы медленно и церемонно вошли в Киев. Многие их приветствовали вполне искренне. Яша это видел.

Рассказывая о его трагедии в оккупированном нацистами городе (я вовсе не хочу сказать, что все немецкие солдаты и офицеры были нацистами, но город оккупировали нацисты, во власти которых находились и они), я меньше всего хочу рассусоливать очевидное. Читатель уже знает, что в конце концов нацисты Яшу «разоблачили» и расстреляли. Его уличили в том, что он в действительности еврей и что фамилия его Гальперин. Так что никакой фальсификации допущено не было и нормы гитлеровско-розенберговской законности нарушены не были. Во всяком случае гораздо меньше, чем нарушило советские нормы сталинское МГБ, написав в обвинительном акте против моей приятельницы, что она полностью изобличена в том, что является дочерью ранее разоблаченного врага народа такого-то. Во-первых, ее не надо было изобличать, ибо она своего родства не скрывала, во-вторых, состоять с кем бы то ни было в родстве и жить при этом среди людей в СССР юридически не запрещалось. А быть человеком еврейского происхождения в гитлеровском «рейхе» и на территориях, им оккупированных, — и жить при этом в обществе (на самом деле не только в обществе — просто жить на земле, но это законодательно не объявлялось) — юридически было запрещено. Правда, сами эти «юридические нормы» человечество признало преступными, но это уже потом.

Впрочем, о том, что его происхождение карается смертью, Яша ни до оккупации, ни в начале оккупации знать не мог. Первый в мире открытый акт массового и поголовного истребления евреев был совершен в его родном городе, в Бабьем Яре, но только 29 сентября 1941 года, через десять дней после начала оккупации. А до этой даты никто, в том числе и Яша, ничего подобного представить себе не мог. Даже немецкий приказ о явке евреев на место казни был понят буквально, как был написан, как приказ о выселении евреев в другие местности. Да он и без того был достаточно жестоким, грубым и оскорбительным, так что в свете «нового порядка» выглядел реально. Что происхождение при этом порядке обрекает на унижения, издевательства, погромы — это Яша, наверное, представлял хорошо. И, надо думать, сразу начал мимикрировать. Естественно, он не перестал это делать и после «Бабьего яра».

Безусловно, история юноши, которому запрещено существование на земле, и прежде всего в городе, где только что так ярко цвела его юность, история юноши, чье существование на земле зависит от случайной нежелательной встречи на улице, которому любой кривой взгляд — как автоматная очередь, который вечно скрывается, и которому ежесекундно грозит, и которого потом вследствие случайности, оплошности или предательства настигает «разоблачение», достаточно тяжела и драматична сама по себе, чтоб волновать и ужасать. Но таких историй, в которых нормальный, ничего никому дурного не сделавший человек выступает как дичь, за которой охотятся, которой повсюду расставляют силки и капканы, было тогда множество. Было их много и в первые годы советской власти, когда преследовали за социальное происхождение, да этого и потом хватало. Но я сейчас пишу о Яше, а его преследовали, «разоблачили» и убили не домашние рыцари классовой ненависти, о которых я не раз писал и буду писать, а германские нацисты, которых здесь разоблачать ни к чему — о них уже достаточно написано. Да и нацистские преследования таковы, что за ними исчезает индивидуальная судьба — они видели в Яше одно его происхождение. Это не только преступно, но и убудочно. В моем рассказе нацисты будут только страшным фоном, драконом над городом, которому надо не попасться, Тартаром. Все это могло в любой момент отнять у

него жизнь, но к этому он был пусть не морально, то, хотя бы логически, готов, во всяком случае это не могло его поразить. Да и имело это отношение только к опасности близкой смерти, к механическому прекращению его судьбы, а не к ней самой.

Но в жизни оккупированного города в те страшные дни была еще одна сторона, вполне способная его поразить и имевшая отношение к его подлинной судьбе, что бы с ним ни случилось потом. Оккупация не только угрожала его жизни, но этой своей стороной она еще неожиданно подрывала и веру в абсолютность его правоты, до этого для него очевидной. А к этому он никак не был готов. Как любой бы из нас тогда на его месте. Но к этому уже ни немцы, ни даже только нацисты отношения не имели. Разве что только косвенное, тем, что из-за них перестала действовать власть сталинских репрессивных органов и развязались языки, заработала оглушенная память. Вылезла из всех щелей и заголосила своим неопровержимым, хоть и не всегда приятным голосом доселе подавляемая и подменяемая Правда нашей внутренней жизни — той жизни, в которой и он, и мы в последние месяцы перед войной, несмотря на все наши тревоги и сомнения, были счастливы. И которая теперь ему, вероятно, должна была вспоминаться, как светлый сон. И правда эта оказалась прежде всего Правдой отчаяния, а часто и ненависти.

Впрочем, так ли уж это было для него неожиданно?

Ведь о такой возможности говорилось, она предполагалась. Мол, если что случится, то при таком контингенте не жди добра. Из этой оперы и все рассказанное мной выше о нашем дворе, и приведенные мной слова моего приятеля о крестьянах, вышедших в города. Но ведь трезвые мои оценки положения и отношение к проблеме — сегодняшние, а не тогдашние. Тогда же, хоть я таких слов о бывших крестьянах не произносил, я тоже рвался «в завтра, вперед» и презирал всякую косность, к которой относил и любую личную обиду на советскую власть, тем более в ее столкновении с «идиотизмом деревенской жизни». Несмотря ни на что, несмотря на ежедневные столкновения с собственным, реальным, а не доктринальным идиотизмом этой прогрессивной власти. Все равно — за ней был прогресс, а за теми — косность. И я, конечно, предполагал, что в случае чего эта

«косность», к тому же оскорбленная, еще «нам» аукнется. (Истинных масштабов этого «оскорбления» я, несмотря на трупы на улицах в детстве, тогда не представлял, да они и были непредставимы.) «Нам» — это всем советским, прогрессивным гражданам, самой власти, а не евреям, как сегодня хотелось бы истолковать мои слова некоторым. Впрочем, и евреям тоже, хотя большинство евреев вокруг вовсе не были прогрессивны и «не рвались в завтра», а по нашей же раскладке были мещанами. Просто мы знали, реакции и косности всегда сопутствует антисемитизм, и у каждого был за спиной такой двор, как наш.

Читатели, которые захотят увидеть причину такого мироощущения в нашем еврейском происхождении, безусловно, найдутся. Но это не так, распространенность этой общественной болезни гораздо шире и сидит она глубже. Я помню один горячий разговор, состоявшийся году в 1952-м в общежитии карагандинского горного техникума, где я учился после ссылки. Мои товарищи рассуждали о том, как будет плохо в Караганде в случае войны или вражеского десанта — при таком контингенте. Ведь кругом — обозленная сволочь, от которой добра не жди. Пикантность этих филиппик заключалась в том, что это была Караганда, и сами обличающие были из ущемленных и властью рассматривались как обозленные. Это были дети раскулаченных, загнанных сюда бедой, немцы, обязанные каждые десять дней отмечаться в спецкомендатуре и получать разрешения на поездку к родителям, даже в рядом расположенный Темиртау. И все-таки они ощущали себя причастными к некой высокой правде, с высоты которой они никогда ни на что не обозлятся в отличие от окружающей их мутной темноты. Это были хорошие и порядочные парни. Когда после сообщения о «врачах-убийцах», я открыто при всех сказал, что это все неправда, мне не поверили, однако промолчали, щадя мои чувства. Но, главное, ни один не донес, а слышало это человек десять. И вот эти же ребята при их опыте — и такая озабоченность, какая-то несвойственная им гордыня — как здорово умели нам ее внушать! Это было с пострадавшими, и уже в начале пятидесятых. Чего же можно было требовать от нас, довоенных, не пуганных...

Короче, сама встреча с этим «духом подвалов», с этой косностью, с этим «идиотизмом эксдеревенской жизни»,

как она ни была неприятна, не могла быть для Яши открытием и потрясением. Открытием и потрясением для него было то, что идиотизмом этот «идиотизм» был и казался только издали — пока помалкивал в тряпочку, изредка нечленораздельными воплями проявляя подавленную ярость. А когда он открыто заговорил, он оказался отнюдь не идиотизмом и вполне мог сказать кое-что в защиту своей правоты и оправдание своей ярости. Я сейчас говорю не об оправдании чьего-то поведения — оно было у каждого свое и у каждого свой ответ перед Богом. Но правота ярости тех, кто страдал и помалкивал, сегодня не вызывает сомнения ни у кого из выживших Яшиных друзей. Путь к осознанию этой правоты проделали все мы, но не сразу — в более зрелом возрасте, да и в менее трагических личных обстоятельствах; и когда последствия «великого перелома», если не улеглись (они не скоро и не просто улягутся), то все же потеряли остроту. На него же все это свалилось в одночасье, в 18—19 лет, и в обстоятельствах запутанных и жестоких — и по отношению к нему, и вообще. И всего через восемь лет после этого «перелома». Для моих сверстников, кому в сорок первом было около шестнадцати (даже если «перелом» коснулся их семьи), это было давно, полжизни, точнее, всю сознательную жизнь назад. Но для тех, кому тогда было двадцать шесть, это вовсе еще не было плюсквамперфектом. И если их «ломали» 8—12 лет назад, то рана от этого перелома еще и сейчас была достаточно свежей — жгла. И требовала возмездия. Справедливого? Это уже зависело от индивидуальных качеств взыскующего. Не говоря уже о том, что справедливость возмездия, гарантом которой выступает Гитлер, вообще сомнительна.

Но боль сомнительной быть не может, и редко она сомневается в своей правоте. В довоенных дружеских компаниях, в которых вращался Яша, можно было этой боли не замечать, тем более что мы с ней прямо не соприкасались, а она о себе помалкивала. Ее легко было списывать в издержки прогресса или философски оправдывать пресловутой исторической необходимостью.

Но попробуйте прямо сказать в лицо живому человеку, который ничего дурного ни вам, ни вообще не сделал, или даже просто подумать о нем, что все оскорбления и несправедливости, часто наглые и хамские, которые на него

обрушились, исторически необходимы, что его и следовало ограбить и вместе с женой, родителями и малыми детьми выгнать из родного дома, да и вообще полностью отдать их в руки самых ленивых и бессовестных пьяниц их села, потому что когда-нибудь это приведет к всеобщему счастью! Тут при любом вашем юном доктринерстве язык застрянет в гортани. А ведь этот живой человек уже не молчит, он требовательно спрашивает: «Как же так? С нами это было, а вы жили — не замечали. А вот теперь, когда так же поступают с вами, вы небось замечаете...»

Я здесь взял случай умеренный — все-таки при всех претензиях тут нет истерического: «Это вы все сделали!» Хотя и с этим вопрошанием тоже не все в порядке. Это «вы» здесь не совсем правомочно. «Так же» пока, в начале оккупации, поступали только с евреями, с теми, кто не успел или не захотел уехать. Среди них почти уже не было парработников и совсем немного таких идеалистов, как Яша. В основном это был люд или бедный, или «бывший» (как мой дядя), другими словами, больше терпевший, чем «незамечавший». И страдающий сейчас не по своим грехам, а потому, что Гитлер был рыцарем своей жлобской и античеловеческой идеи, замешанной на ненависти, только не классовой, как у Ленина, а расовой — кстати говоря, ничего хорошего не сулившей в будущем ни русским, ни украинцам. В сущности, он и не скрывал этого, ибо в отличие от Сталина не идею подчинял прагматике (иногда кажущейся, но здесь это неважно), а прагматику идее. Но так или иначе, по отношению к большинству остававшихся тогда в Киеве евреям это «вы» было и несправедливо, и, выражаясь по-научному, некорректно.

Да, по отношению к большинству... А как по отношению к самому Яше? И ко всем его друзьям разного происхождения? По отношению к общему нашему ощущению счастья над подобной бедой? Да, в этом не было уголовного преступления, мстить за это — особенно смертью — могли только ублюдки. Не грех — был. Да, он отнюдь не был специфически еврейским, он относился к большинству советской учащейся (и не только учащейся) молодежи, но он — был. И дело было не в тех, кто «мстил» (кому ни попадя, поскольку дозволили, как Кудрицкий), а в тех, кто вопрошал.

Конечно, можно было по старинке обзывать в душе всех этих людей мешанами и как-то внутренне держаться, дожидаясь, когда придут наши. Но в винницком парке открывалась кровавая яма с месивом тел — в ней «наше» НКВД тайно хоронило своих расстрелянных. Люди узнавали своих родных, близких. Почему-то руки убитых были связаны, а губы сшиты колючей проволокой. Я слышал об этой проволоке когда-то в Бессарабии: один случайный собеседник рассказывал, как он с матерью, когда вернулись румыны, искал в таких ямах своего арестованного перед войной отца (к счастью, не нашел — того успели увезти в лагерь), — но не то, что не поверил, а как-то не усвоил. Невмещаема была эта проволока. Но возникала она везде — приходится верить, несмотря на абсурдность этого, явно декретированного «метода». От этого и сегодня тошно, а тогда? Тем более если принять во внимание «фон», на котором все это открывалось, — на каждую такую яму у гитлеровской пропаганды немедленно находился свой виновный в ней «комиссар Хаим Рабинович». Имя «комиссара» варьировалось, но особой выдумкой себя эта пропаганда не утруждала. Имя «комиссара» могло быть и Файвель Раппопорт — лишь бы не выходило за пределы примитивной экзотики еврейского анекдота. Серьезной критики эти сообщения, конечно, не выдерживали. Тогда не было комиссаров, отходила в прошлое экзотичность имен у функционеров. Кроме того, количество евреев среди руководящих энкавэдистов (как и вообще среди функционеров) после 1937 года быстро сокращалось, и, конечно, отнюдь не все расстрельщики были евреями. И уж, тем более, не все евреи расстрельщиками. И в любом случае Яша не нес ответственности за эти ямы. Но при виде расстрельных ям логика умолкала. Да и кто его знает, кто нес за них ответственность. Может, и впрямь названные немцами комиссары. Было от чего голове пойти кругом.

«Как же так? — могли его спросить самые доброжелательные люди, понимавшие, что смешно его винить в этих преступлениях. — Вы же считали эту власть своей. За нее воюют ваши друзья».

А в газетах шел поток страшных воспоминаний — тех, кого пытали, добываясь фантастических самооговоров, кого выгоняли на мороз из собственных домов, у кого на глазах

умирали от голода их дети, мужа, родители. Иногда эти воспоминания подавались в новом, гитлеровском духе, чаще они бывали просты и бесхитростны. Но рассказывали и те, и другие правду. А Яша по природе был художником, он умел отличать правду от лжи. Да ведь он и раньше кое-что из этого (не все, конечно) знал, просто, как все мы, прощал, исходя из того, что революции не делаются в белых перчатках. Он просто впервые осознал, что такое эта грязь, на которую он якобы соглашается и которой так противопоставлены белые перчатки. Но он не знал, что и эти перчатки, и презрение к ним, и сама революция, как высшая ценность бытия — все это вещи не открыты им, а ему внушены. Как и большинству других. В том числе и тех, кто сейчас готов был валить это все на него. Это последнее могло и должно было вызывать презрение (если он не был совершенно раздавлен ситуацией). Но вопрос «Как же так?» все равно не мог не приходиться ему в голову.

Я полностью отдаю себе отчет, что это «возвращение правды» происходило в обстановке чужеземной, да еще нацистской оккупации, мало подходящей для какого бы то ни было катарсиса, что правда эта допускалась другой кривдой только потому, что была или казалась ей в тот момент выгодной. Я вполне согласен с духом и смыслом строк Николая Глазкова, сказавшего:

Господи, вступи за Советы,
Сохрани страну от высших рас.
Потому что все Твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас.

Я бы, пожалуй, только заменил слово «чаще» на что-нибудь вроде «откровенней» или «наглей», а так — у этого, по общему убеждению, едва ли не самого независимого поэта как предвоенного, так и послевоенного поколений — все верно. Кем бы ни был Сталин, все равно Гитлер оставался Гитлером. И связывать его имя со справедливостью не приходится.

Конечно, и правда от внешних обстоятельств не перестает быть правдой, тем более правда боли. Но от того, что возможность ее выражения была связана с победами и духом нацизма, эта возможность не освобождала и не окрыляла, а наделяла новой тяжестью. Людей не очень высокого пошиба она еще глубже погружала в духоту слепой, пара-

лизующей дух ненависти. Остальным приходилось хитрить с немецкой властью, как привыкли хитрить с советской. Я встречал и в тюрьме, и на Западе много людей, вполне порядочных, оказавшихся во время войны на стороне противника, связавших с ним свою судьбу. Подлецов среди них было никак не больше, чем в любой другой группе наших людей. Я очень далек от того, чтоб осуждать их за этот выбор. Ведь правду о коллективизации и прочих большевистских и сталинских художествах они начали понимать не в 1988 году, как многие из нас, не к концу пятидесятых, как я, а по крайней мере — и то в том случае, если сами этого не пережили, — уже тогда, в 1941-м. Что они должны были делать? У меня нет ответа на этот вопрос. Они, наверное, сделали неправильный выбор, а какой был правильный, если выбор у всего человечества был между Сталиным и Гитлером? Просто перед ними он стоял более непосредственно, более жестоко и более безысходно, чем перед всеми другими. А как он стоял перед девятнадцатилетним Яшей, которому вдобавок официально запрещалось существовать на земле?

Я здесь почти не пишу о Бабьем Яре. Не пишу потому, что это акция целиком германская, германскими в ней были и идея, и тактический замысел, и вооруженные соединения, этот замысел воплотившие. Даже дивизии «СС-Галичина» эта честь доверена не была. Конечно, находилась мразь, которая постаралась на этом нажиться. Были, например, возчики, наряжавшиеся отвозить разрешенный еврейский скарб на сборные пункты (ведь речь шла о переселении), а потом, смекнув, в чем дело, кнутом и вожжами с ругательствами отгонявшие хозяев от этого скарба. Но мразь такая есть всегда — важно, разрешают ли ей проявиться. Впрочем, это ничего не меняло — ограбленным недолго оставалось тосковать о потерянном имуществе. Конечно, косвенно эта акция повлияла на атмосферу городской жизни, но поначалу даже не все антисемиты ее одобрили — смущала сама по себе поголовность. Еще и потому, что в ней проявилось отношение нацистов к другим народам вообще, а это наводило на мысли.

Мало пишу я про Бабий Яр еще и потому, что я пишу о Яше, а он туда не пошел. Да, не пошел, тем самым нарушив ясный приказ немецких властей. И потом еще много

месяцев безнаказанно жил в Киеве. И даже куда-то выезжал для выменивания продуктов.

Следовательно, имел такую возможность. Следовательно, были люди. И это имеет отношение к моей теме. Быть людьми было тогда нелегко. Опасность окружала со всех сторон. И исходила она не только от патентованной мрази. Хотя и мразь нельзя сбрасывать со счета. Того же Кудрицкого. Ведь есть предатели из удовольствия, испытывающие творческий подъем от возможности таким образом вершить судьбы других людей. Такие времена поднимают всю эту нечисть на поверхность. Такие люди представляли опасность для Яши с первого дня. Они рыскали, вынюхивали, из-за них надо было вечно и ежеминутно быть настороже. Но, во-первых, тип этот был знакомый и понятный еще с довоенных времен. Борис Филиппов в одном из очерков вспоминает об одном таком. Произносил, подозрительно следя за реакцией слушателей, не терпящие возражений неграмотные речи о верности товарищу Сталину, и его все побаивались. А потом, при перемене декораций, стал в той же манере блюсти идеологическую верность «товарищу Хитлеру», и его опять побаивались. Все, даже приставленный к влассовской газете от германской армии немец, унтер-офицер, бывший перербургский гвардеец «Павлон», как он сам себя называл. Все эти подлецы, представляли только физическую опасность для Яши, в тех условиях, может быть, для него решающую, но вызывали презрение и не подрывали духа.

Но были люди действительно оскорбленные тем, что открывалось в недавнем прошлом, или тем страшным и невыносимым, что они пережили, впервые получившие возможность говорить о своей боли и правоте, но примитивно жаждавшие мести. Тоже — с первого дня. Но те, кто был виновен, были далеко, а многие из них, к слову сказать, даже расстреляны самим Сталиным. Их было не достать. Но гитлеровская пропаганда усиленно, хоть и топорно, разрабатывала версию о тотальной виновности евреев. Это было соблазнительно — евреи тогда для многих, особенно на Украине, ассоциировались с властью и в то же время они, в отличие от власти, были под рукой. Палачество порождало палачество.

Эти люди становились на скользкий путь мщения кому попало, их «как же так?» было требовательным и неспра-

ведливым, их тоже надо было опасаться, против них надо было принимать меры предосторожности, но той безусловной правоты перед ними, в которой он нуждался, Яша чувствовать не мог.

Но «как же так?», вероятно, говорили Яше и люди, которые никаких счетов с ним не сводили, которые так или иначе его скрывали и прикрывали. Особенно в начале оккупации, в медовый месяц дружбы германских властей с украинскими националистами, когда последние чувствовали себя что называется на коне, считая себя не клеветниками, а союзниками Германии в борьбе с большевиками. Роман этот кончился очень быстро. Гитлер скоро решил, что он и так победит, и никакие союзники ему не нужны. И однажды ночью все активисты и функционеры украинского движения были арестованы, а многие и расстреляны. И скоро он получил в тылу своих войск УПА — Украинскую повстанческую армию (бандеровцев). Впрочем, это вообще его почерк. С русскими он вел себя еще глупее — жадность фюрера сгубила.

У меня очень мало сведений о Яшиной жизни в оккупации. Все получены от Марка Бердичевского и добыты им в послевоенном Киеве. В эмиграции, где еще недавно было довольно много киевлян, живших в городе при немцах, мне ничего о Яше узнать не удалось. Он был поэтом, но ни Николай Моршен, ни ныне покойные Иван Елагин и Ольга Анстей — поэты, жившие тогда в Киеве, — не слышали ни его имени, ни псевдонима. А ведь он точно жил в Киеве и даже печатался под псевдонимом Яков Галич. Может, так происходило потому, что печатался он, главным образом, на украинском и выдавал себя за украинца, а тогда это выглядело вроде как конъюнктурно. Но вряд ли это так. Ольга Анстей сама писала и по-русски, и по-украински. Может, сказывалась возрастная разница? Они были несколько старше, чем он. Не знаю. Чтоб понять, почему это произошло, надо лучше, чем я, представлять жизнь оккупированного Киева.

Знаю от Марка, что какие-то украинские интеллигенты, в каком-то ограниченном смысле поставивших на «новый порядок», первые приняли в нем участие. Прежде всего речь идет о представителе вильной украинской семьи (из которой вышла Лэся Украинска) Светозаре Драгоманове,

с которым он познакомился в начале войны. Он, пользуясь своим влиянием, добыл Яше фальшивые документы, объявив, что Яша сын его расстрелянного большевиками друга Галича, и только был усыновлен евреем Гальпериним. Яша долго жил у Драгомановых, он так и остался в этом кругу — особенно расширять круг знакомств ему не было резона. Они, безусловно, знали, кто он такой, но покрывали его. Общаться с ними ему было нетрудно — он блестяще владел украинским, он ведь кончил украинскую школу. Как и все мы, он любил украинскую поэзию. В этом кругу он близко сошелся с поэтом Борисом Костелянчуком, человеком в высшей степени благородным и талантливым, который сам на этот новый порядок не ставил ни в коей мере — сужу по его стихам, которые мне когда-то читал Марк. Я его тоже немного знал, точнее, несколько раз видел до войны. После войны он уехал из Киева. Насколько я знаю, арестован он не был, просто где-то запропал, отошел в сторону. Видимо, сотрудничать не мог не только с Гитлером, но и со Сталиным. А может, и МГБ пробовало с ним играть, как, по-видимому, с Жорой Сизоненко. Во время оккупации Яша — во всяком случае часто и подолгу — жил у него. К нему он и не вернулся, когда его схватили. Вряд ли мимо такого человека, как Борис, могла пройти страшная и безысходная трагедия украинской деревни. Вероятно, и разговоры были на эти темы.

Известно, что Яша познакомился с редактором украинской газеты Штепой, довоенным ректором Киевского университета, по специальности ученым-марксистом. Известно, что он говорил о Яше: «Гальперин — умный человек. Он хоть и сам еврей, понимает историческую необходимость уничтожения еврейского народа». Какие основания дал Яша для этого глубокомысленного утверждения? Поддакнул ли к месту, понимая, что потерять расположение этого человека — значит потерять жизнь? Или просто, будучи деморализован всем, что открылось, не смог противостоять пропагандистскому напору? Это навсегда останется тайной. По-видимому, эти слова были сказаны после Бабьего Яра и отражают стремление Штепы и близких ему людей приспособиться к психологии и действиям «дорогого союзника» в борьбе за независимость Украины. До Бабьего Яра тотального уничтожения еще никто не представлял.

Могли доходить сведения о расправах в отдельных городах и местечках, но их можно было по старой памяти отнести к эксцессам. Они еще могли не ставить вплотную перед идеологами вопроса о принятии и непринятии гитлеровского «окончательного решения». Теперь они встали перед ними. Я не был знаком с г-ном Штепой ни в Киеве, ни за границей. Помню, что после войны киевских интеллигентов удивляла пришедшая с ним метаморфоза. От него, видимо, этого не ждали. Не ждали не только этих страшных слов, а просто сотрудничества с нацистами.

Но в слова эти стоит вдуматься. Можно, конечно, иронизировать над профессиональной фразеологией этого преподавателя марксизма, от которой он не может избавиться и в своей новой ипостаси. Но если отвлечься от этого, да и притушить эмоциональную реакцию на их конкретный смысл, за ними тоже встанет нечто иное, чем видится.

Прежде всего я не согласен, что эти слова — инерция одной только привычной фразеологии. Я вообще не убежден, что Штепа был таким ненавистником еврейского народа. Яшу он во всяком случае покрывал. Почему? Иногда антисемиты делают исключение для своих старых друзей, действуют старые сантименты. Но никаких общих сентиментальных воспоминаний у этих двух людей не было, до войны они вряд ли были знакомы. Тогда почему он это делал? Ценил Яшин ум? Но для расиста это не довод — тем хуже, если умный. Следует помнить, что, несмотря на эти свои слова, Бабий Яр устраивал не Штепа, что по этому поводу с ним не советовались; что он так же был поставлен перед фактом, как и все человечество (да и факт этот, сколько удавалось, отрицался). От него требовалось только одобрение и оправдание этой чудовищной акции. Что он мастерски и проделывал, ибо дело это для него было профессиональное и не новое.

К той «добродетели понимания исторической необходимости», которую он увидел и оценил в Яше, он приобрел задолго до сорок первого года, еще 1933-м. Я не знаю, что он тогда делал, но ясно одно — что историческую необходимость геноцида украинских крестьян он осознал и обосновал тогда (или чуть позже, но сделал это, раз сделал карьеру) не менее глубоко, чем теперь историческую необ-

ходимость уничтожения еврейского народа. Так что не топчитесь возмущаться. Первая «необходимость» ничуть не моральнее второй. Или возмущайтесь глубже, но тогда не только им. А вот Яшу он не выдавал. И мало сказать, не выдавал — покрывал. А это было строго-настрога запрещено, на это могли донести, а немцы шуток не понимали. Но он печатал его в своей газете — конечно, под псевдонимом.

Псевдоним Яков Галич (Якив Галыч) он придумал себе по какому-то случаю еще до войны. Под этим псевдонимом у Штепы была однажды напечатана Яшей большая подвальная статья под нехитрым заголовком «Слова та дела Йосипа Сталина» («Слова и дела Иосифа Сталина»), после которой уповать на возвращение «своих» для него уже не имело смысла. «Свои» бы скорей простили службу в полиции и палачество, чем такую статью. Я ее не читал, но содержание ее нетрудно представить. Слова и дела у Сталина расходились так часто и так явно, что любой мог бы написать об этом вполне убедительно. Это и заставляло меня внутренне поживаться, когда я в 1946 году узнал об этой статье. И дело было не только в том, что как раз тогда я был сталинистом. Я и, перестав им быть, долго потом считал, что не там бы об этом говорить. Я объяснял написание этой статьи только желанием спастись, а это тогда не считалось смягчающим обстоятельством. И несмотря на то, что мне было очень жаль его, одинокого, затравленно мечущегося по родному городу в поисках спасения, — осуждал его.

Мы все тогда были очень ригористичны, и соображение о том, что «не судите, и не судимы будете» или что «ты не знаешь, как сам бы повел себя на его месте», были мне не очень доступны. «Героизм, — как говорил тогда, впрочем без тени осуждения или юмора, Борис Слуцкий, юрист по образованию, — из категории доблести превратился в категорию долга». Практически это означало, что государство брало на себя право судить уголовным судом за отсутствие личного самопожертвенного героизма. Подчеркиваю: не за неподчинение военному приказу или нарушение присяги, а именно свехъестественного самопожертвования. «Почему в безвыходной обстановке попали в плен, если имели возможность застрелиться?» — без тени юмора спрашивали следователи. Так далеко я не заходил, но писать статьи в «их»

газеты спасения ради, прислуживать «их» лагерю — это для меня было слишком. Тем более, что он зря старался — все равно расстреляли. Нацисты ведь!

Где мне было тогда разобраться, что статья эта печаталась не нацистами, а украинскими националистами, да еще в начале оккупации, в расцвете медового месяца их «союзнических отношений» с Германией, когда их лидеры еще всерьез надеялись на толику своей независимости, достаточной, чтоб прикрыть Яшу. А расстреляло его гестапо, которого и они боялись.

Но теперь я думаю иначе. Я думаю, что Яша вообще был искренен, что, кроме естественной жажды спастись, им тут руководила еще жажда отделиться от сталинских бесчинств, от тех, кто их творил, от всего, что теперь открылось и впервые предстало перед ним не в виде отдельных нетипичных издержек большого пути, а во всей своей цельности, масштабности и отвратительности. Принципиальность, конечно, хорошая вещь, но из принципиальности защищать, допустим, сталинский геноцид украинского крестьянства, да еще глядя в глаза его жертвам, может быть, и мужественно, но вряд ли достойно. А героическая гибель за это — нелепа. Куда достойнее, если все равно погибать, став, как многие, одной из неотличимых жертв другого геноцида — расистского, — погибнуть, отрекшись от Сталина. Другими словами, лучше было сделать так, как сделал Яша.

Впрочем, к этому все равно шло. Когда медовый месяц сотрудничества германских властей с частью украинских националистов кончился, резко, по-видимому, ухудшилась и Яшина ситуация. По-видимому, исчезли многие из тех, кто ему помогал. Вероятно, стал более осторожен и многоопытный Штепа, который все равно продолжал быть редактором. Еще хуже стал относиться к сотрудничеству с немцами Борис Костелянчук. В одном из стихотворений он даже сравнивал поведение сотрудничающих с поведением сыновей, держащих за руки мать, когда ее насилуют чужие. Вероятно, в нашей проклятой ситуации это чрезмерно, но это мне видно издалека. Гнев его был бескорыстен и благороден. И куда исчезали у нас тогда такие люди!

В сущности это все, что я хотел рассказать о жизни Яши во время оккупации. Больше я сам ничего не знаю. Знаю, что он жил тяжело, нервничал. Писал стихи. Иногда их печат-

тал. С какой интенсивностью и до конца ли жизни он имел такую возможность — тоже не знаю.

Не могу не помянуть еще одно имя — Гали Якубской. Еще один образ, еще одна судьба. И опять, как часто в наше время, без конца и без начала. Высокая, красивая, стройная, она однажды пришла в редакцию «Юного пионера» на занятие литкружка и прочла живые и как-то свободно звучащие, хоть, конечно, несовершенные стихи, и очень нам понравилась. Я проводил ее домой. Она жила где-то неподалеку, на улице, расположение которой я и сейчас помню, но название забыл. Кажется, Степановская. Я ей тоже почитал стихи — в том числе и свое боевое выступление против танцев, как против «скрытого лапанья» (большой я тогда был моралист, как все южные мальчишки). Ее природную женственность это возмутило, и на следующем занятии она прочла гневную филиппику против меня. Мы подружались. Она, по-видимому, тогда была не только по-женски трезвее и взрослее, но и культурнее большинства из нас. И это неудивительно — ее отец, профессор Якубский, был личностью в литературных кругах Киева известной (всем, но не нам). Правда, отец с матерью были в разводе, а она жила с матерью. Но она общалась и с отцом — так что на ее развитии развод не сказался. Конечно, все мы повлюблялись в нее, но в таком возрасте влюбленность — это нежная дружба, так что особых конфликтов по этому поводу не было. Не помню, чтоб она бывала у кого-либо из нас, но мы у нее бывали. Хотя ее мать встречала нас не очень любезно. То ли это был комплекс одинокой, оставленной женщины, то ли некоторый налет антисемитизма — не знаю. Но мы дружили с Галей, а не с матерью. Хотя, в сущности, знали о ней очень мало. Да и сейчас я знаю немногим больше. Не знаю, все ли знала о себе она сама. Тогда детям не все говорили.

Не знаю, через отца, через мать или через обоих родителей (отца я никогда не видел), но она была связана родством с самыми высокими слоями традиционной украинской интеллигенции. Хотя училась она в русской школе. Вероятно, это тогда происходило со многими украинскими интеллигентными семьями. Например, Володя Левицкий, представитель очень известной украинской семьи, был моим одноклассником. Правда, у него мать была еврейкой, но дом у них был вполне украинским. И однако же...

Может, это происходило потому, что это было практичней — украинскую культуру и язык можно привить и дома, а русская школа открывала дорогу во всей огромной стране (все-таки родители этих детей сами пооканчивали русские гимназии), может, потому, что русские школы были тогда лучше поставлены. Но все это выбор, допустим, для инженера. А ведь Галя была девочкой гуманитарной. Все загадка. Но особой приверженности именно к украинской культуре я у нее не замечал. А о кровной ее связи с этой культурой я узнал, так сказать, явочным порядком.

Однажды она пригласила нас в гости на дачу в Корчеватое, где-то то ли на Жуковом Острове, где раньше проводились профсоюзные водные гуляния, на которых я бывал с родителями, то ли где-то рядом с ним. Туда надо было добираться на каком-то захудалом пригородном поезде, который медленно и долго тащился туда с вокзала через Киев. Видимо, шел он на какую-то секретную авиабазу, ибо в вагонах было много летчиков, а после Корчеватого уже нельзя было ехать без пропуска.

Впрочем, потом выяснилось, что в Корчеватое можно добраться и пешком с Демиевки. Та улица, по которой надо было идти, сойдя с трамвая, вела все время в гору и в конце концов принимала совершенно деревенский вид. Потом минут пятнадцать дорога вела через поле и выводила к станции Корчеватое. Дорога занимала не больше тридцати—сорока минут. Я там бывал у Гали несколько раз — с Гришей и один. Разумеется, в основном, мое внимание поглощено было самой Галей, но боковым зрением я замечал и среду ее тамошнего обитания.

Это была маленькая украинская культурная, точнее художественная, или театрально-художественная колония. В центре ее был очень почтенного вида старец с очень знаменитой фамилией, чуть ли не сам Саксаганский. Обычно он сидел в плетеном кресле посреди зеленого двора. Он уже явно не играл и ничего не ставил — очень был стар, но вся жизнь в этой колонии вертелась вокруг него. Вокруг него почтительно хлопотали более молодые женщины. Встречали меня все окружающие, если я попадал в поле их зрения (кроме Галиной мамы — та всегда была с поджатыми губами), очень вежливо и доброжелательно. Естественно, это было проявление не их отношения ко мне (они меня не

знали, и отношения не было), а воспитанности и интеллигентности. Я, естественно, относился к ним тоже с большим пиететом.

Вспомнил я о них всех сейчас только потому, что ни Галя, ни ее отец, ни мать из Киева не эвакуировались, а, как формулировали это после войны, «ушли с немцами». Говорили еще, что она вышла замуж за венгерского офицера, но для нашего послевоенного ригоризма это было то же самое. Видимо, этот мир, в котором она жила и который я мельком видел, не понимая, — думал я тогда — был миром мне чуждым, узким, националистическим. Жаль, что он каким-то образом засосал и Галю. Жаль, что она оказалась не той, за кого мы ее принимали.

Мне стыдно, что я так думал, стыдно за свою былую «правоту» и «осведомленность». Что я мог знать? Я до сих пор ничего не знаю. Прежде всего я не знаю, каким человеком был ее отец, что ему пришлось пережить при советской власти, почему уехал с ними. Не знаю даже, русским или украинским он был интеллектуалом. Это был особый мир старой киевской интеллигенции, куда я не был вхож и не мог быть вхож — хотя бы по малолетству. Я видел однажды одного из приятелей Гали, человека ее круга, тоже эвакуировавшегося не с нами, а с немцами. Это потом дороги разных слоев интеллигенции перемешались и наступило взаимопонимание, а тогда его не было. Они были другие люди. В этом мире старшие не откровенничали с младшими. Один бывший киевлянин, встреченный мной на Западе, рассказал мне, что жил он как все советские дети и совсем уж было собрался в начале войны идти добровольцем в Красную армию, но его отец и старший брат впервые серьезно с ним поговорили, развернули перед ним мортиролог их семьи при советской власти. После этого ему был задан вопрос: «Так что ж ты, «их» собираешься защищать?» И он отказался.

Свое отношение к этой проблеме я уже здесь высказал. Сочувствия такому выбору у меня нет. Ненависть их к режиму, безусловно, справедлива, но она и самоослепляющая. Но и осуждения у меня нет (осуждаю, как и во всех лагерях, только доносчиков и согласившихся на палачество). Ситуация и впрямь была безвыходной. Я просто хочу сказать, что сегодня понимаю, что должен был чувствовать

украинский интеллигент через восемь лет после намеренного вымарывания его народа, понимаю, что и другие люди, окружавшие Гаю, тоже имели свои резоны относиться ко всему не так, как я. А ведь, положа руку на сердце, внушали мы ей тогда эйфорические глупости — и когда отрицали Сталина, и когда его принимали. То, что мы были искренни, ничего не меняет. Вполне возможно, в какой-то момент другие люди, по-другому ей близкие, выложили перед ней свои карты, не детский идеализм, а жизненный опыт, давно наболевшее. И заразили ее своей, иной эйфорией, не более умной, но иной. Ибо чем, кроме эйфории, можно объяснить приятие совсем неглупыми людьми немецкой оккупации как освобождения. Ведь Гитлер не только не был, он почти и не притворялся спасителем. Эйфории вообще играют большую роль в безвыходных ситуациях. А в иных мы и не жили.

Все, что я здесь говорю о Галином выборе — только мои предположения. Откуда мне вообще знать, что было с Галей, как ей пришлось поворачиваться в оккупации и как жили те, кого я видел в Корчеватом. Почему-то в эмиграции я никогда не слышал о Галином отце (а он был все-таки видным человеком в Киеве). И о некоторых других людях ее круга, имена которых помню, я тоже не слышал. Я ничего не знаю. Но во что я уж совсем не верю — это в то, что Галя «оказалась» не той, какой я ее знал. Она была человеком внутренне свободным, с естественным чувством собственного достоинства, никогда не опускавшимся до притворства. Могла бы вообще не иметь с нами дела, но находиться в отношениях неискренних, фальшивых — не могла. Да и смысла ведь не было. И я вспоминаю Гаю, какой она была и какой должна была быть, какой не могла бы быть нигде вне России, даже если судьба ее, как я надеюсь, сложилась благополучно, и испытываю, прежде всего, нежность и благодарность судьбе за то, что я ее знал. Благодарность совершенно бескорыстную, ибо, повторяю, влюбленность с моей стороны была детской, а с ее стороны не было никакой. Просто она была прекрасной, и я с ней дружил. И, конечно, мне больно за ее и за нашу судьбу. Ибо «совсем не тем, за что мы ее принимали», «оказалась» не Галя, не мы, а «наша великая эпоха», так или иначе подмявшая каждого их нас.

Но это понимание далось нам не сразу и не дешево. А тогда, перед войной, нам, включая и Яшу и Галю, конечно, не нравились топорно-залихватские, шапкозакидательские песни вроде «Если завтра война» (мне больше было по сердцу симоновское «Да, враг был храбр. Тем больше наша слава», а эта мудрость тоже не велика), но это больше оскорбляло наш вкус, иногда здравый смысл, но не представление о жизни — в невероятности собственной мощи мы не сомневались. Тем более, что у нас победа сменялась победой — озеро Хасан, река Халхин-Гол. Мы только не знали, какими силами над какими силами и с какими потерями достигались эти победы. Не знали, что в армии не только автоматов (о них мы и не слышали), но и винтовок образца 1891-го дробь 1930 года на всех не хватает. Завесу над тайной приоткрыла война с Финляндией, но тут можно было все свалить на климатические условия. Однако начались учения войск в условиях, приближенных к боевым. Появились даже раненые и убитые. Это мы знали, это касалось наших товарищей. Но нужного оружия в достаточном количестве от этого не появилось. Но этого мы ничего не знали. на этот счет мы были спокойны.

Волновали дела литературные. Я уже говорил, что начали мы посещать обсуждения стихов в клубе писателей. Мои товарищи-студенты обругали стихи одного украинского поэта. Не помню, какие были у него стихи, но как-то подражательно изругали — за отсутствие новаторства. Представляете, как это давно было — я еще стоял за новаторство.

В это время мои литературные связи стали крепнуть. Начались знакомства с московскими писателями. До этого мы знали только киевских, в основном русских. Только однажды мы ходили к Павлу Тычине. О нем в далеких от литературы кругах сложилось превратное представление. Чуть ли не как о графомане. Виной были его стихи, написанные с перепугу (украинскому интеллигенту было чего пугаться), но поднятые на щит пропагандой. Они-то и были в школьных учебниках. Между тем это замечательный поэт-лирик и во многом человек не от мира сего. И то, и другое мы о нем знали. Однако пришли к нему с идиотским, но в духе времени, предложением организовать литературную студию для молодежи. Он, естественно, стал отбиваться от этого руками и ногами. Упирали на то, что студия — это занятия и

лекции, к которым надо готовиться, а поэта «никакою качалкою не примусьшь шось готуваты» (никакой скалкой не заставишь к чему-то готовиться). Фраза эта нас вполне примирила с отказом, и мы ушли. Он нам понравился, но это не было настоящим литературным общением. С москвичами у меня такое общение началось.

Преддверием этому был какой-то парадный пленум правления Союза писателей СССР, состоялся в Киеве, «тусовка», как сказали бы сегодня. Кажется, он был посвящен юбилею Тараса Шевченко. Мы тогда относились к этому серьезно — бегали к гостинице «Континенталь» смотреть на приехавших писателей. Помню долговязую фигуру молодого Михалкова, помню Кассиля, Алексея Толстого. Я испытывал некоторый трепет, завидовал. Где мне было знать, что они вовсе не в восторге от необходимости присутствовать на предстоящих заседаниях (другое дело — погулять по Киеву), что там вовсе не придется заниматься серьезным делом или интересными разговорами — хотя бы о том же Шевченко, — а нужно будет только без всякого удовольствия толочь воду в ступе, демонстрировать, как велено, расцвет культурной жизни. А ведь многие из них и впрямь были еще писателями.

Тогда, конечно, никаких личных контактов с московскими писателями у меня не возникло. Контакты начались чуть позже, когда они стали посещать Киев по одному. Может, они и раньше так приезжали, но я был мал, и это проходило мимо моего внимания. А теперь я начал их посещать в номерах гостиницы «Континенталь», где они обычно останавливались.

О том, что приезжал Николай Николаевич Асеев (по Маяковскому — Асеев Колька), я уже рассказывал. Он выступал публично и читал главы из поэмы «Маяковский начинается», за которую получил или должен был получить Сталинскую премию. Поэма, кстати, вполне честная филиппика насчет «литературного гангстера Авербаха», который тогда был «разоблачен как враг народа», была не конъюнктурным подвыванием стае, а искренней ненавистью. Как и филиппика против другого, правда, более талантливой и ловкой, так никем и не разоблаченного, а до конца жизни всех разоблачавшего литературного гангстера, Ермилова. Он был представлен под прозрачным «псевдо-

нимом» Немилов, но с указанием должности и места работы («Вы нынче в «Красной нови» у кормила. Решив, что корень кормила от корм»). Вещь была слишком «партийная» (несла знамя футуристически-лефовской партии), но вполне тешила мою тогда футуристическую душу. Но, кроме собственных стихов, Асеев на своих вечерах читал две главы из пастернаковского «пятого года», что было поступком. Пастернак был в немилости. Только недавно почти все более ни менее видные писатели стали «орденоносцами», то есть были награждены орденами. Пастернака наградой обошли. Это, конечно, смешно, но смешно сегодня. А тогда, как ни странно, ордена принимали всерьез. Не только известные писатели, но и мы, все жили внутри этого заданного, недобровольно-инфантильного мира. И было обидно, что Пастернака обошли. И, кроме того, это был ЗНАК для других. А Асеев его пропагандировал с трибуны. Кстати говоря, он читал хорошо, выразительно и многим впервые открывал этого большого поэта. Все это к нему располагало.

И я пришел к Асееву. Кажется, я подошел к нему на выступлении и о чем-то заговорил, — вероятно, ругал гладкопись и сокрушался о забвении традиций Маяковского. При внешнем почитании — меня это тогда волновало. Его, видимо, тоже, он согласился на мой визит. Когда я к нему пришел, у него кто-то сидел, но принял он меня приветливо. Был он высок, большеглаз, приятен, свободен в манерах. Поговорили, потом я читал ему стихи. Тогда-то ему и понравилась «Жуча», о чем я уже рассказывал. Он велел ее переписать для него, что я и исполнил, добавив еще одно стихотворение, названное мной «Из цикла «Собственность»». Приверженность к собственности, корежащей души, он ненавидел всю жизнь, я тогда тоже — все это входило в антимещанский комплекс. Но при этом он мне рассказывал о доме своих родителей, об укладе, о блюдах и напитках, исконно-русских, и рассказывал отнюдь не в хулу. По поводу какого-то моего антимещанского стихотворения, давно мной теперь забытого, где город как окружающая среда ощущался враждебно, сказал:

— Вы вот про город... А это вам кажется... Он не враждебен вам... Просто пока ни вы его не знаете, ни он вас...

Не так глупо и не так футуристически сказано.

Еще одно его высказывание, не помню, по какому поводу. На этот раз почему-то об итальянцах.

— Вот он (кто-то) пишет: итальянцы. А итальянский мужик что — фашист? Он такой же фашист, как подмосковный мужик-коммунист. Знаете, как поют?

И он стал скандировать:

Надоело пушше смерти
В доме е-лек-три-чества.
Ишшо пушше надоело
Качества-количества.

Это ведь против нивелировки, а не против электричества, — закончил он.

В общем, он оказался гораздо более почвенным, чем его литературная позиция. Не думаю, чтоб я все это тогда освоил, но было мне интересно и какие-то мои представления расширяло. Встреча эта имела неожиданное продолжение. Оказывается, Асеев в Москве рассказывал обо мне и показывал мои стихи многим литераторам, аттестуя их наилучшим образом. И когда я приехал в 1944 году в Москву, многие имели некоторое представление обо мне. Но об этом — в свое время.

Приходил я и к Иосифу Павловичу Уткину. Он был широко известен тогда как автор «Поэмы о рыжем Мотэле» и автор многих лирических стихов. Кроме того, — может быть, именно по этой причине — он был мальчиком для битья. Лирика до самой смерти Сталина находилась под подозрением, в лучшем случае извинялась, если покрывалась другими заслугами. Так ведь и сборники строились — лирика в самом конце после «серьезного чтения». Кроме Пастернака, Уткин был единственным из известных мне тогдашних «взрослых» поэтов, которого обнесли на пиру — не наградили орденом на общем празднике расцвета советской литературы. Не знаю, кто постарался — по-моему, это было несправедливо. Конечно, он не был звездой первой величины. Меня давно не умиляет «рыжий Мотэле», да он и сам, как мне показадось, был не в восторге от того, что его имя как-то подмигивающе ассоциируется именно с этой поэмой. Он был лириком, а не юмористом. Впрочем, вероятно, и ценность его лирики весьма относительна. Лирика требует внутренней свободы, а он начинал как комсомольский поэт, другими словами, добровольно ограничивая свой внутренний мир и свои реакции искусственной целенаправленностью. Печать двадцатых годов — в тридцатых у

Смелякова это выглядело иначе, иногда нелепее, но трагичнее и противоречивее. Впрочем, может, я и не прав — я давно не читал его. Его обвиняли в мещанстве, приводили в доказательство строки из стихотворения «Гитара»:

Мне за былую муку
Покой теперь хорош.
(Простреленную руку
Сильнее бережешь.)

Надо сказать, что и я с этим к нему сунулся от большого ума. Дескать, «Как вы такое допустили?» И получил резонную отповедь: «Надо думать самому, а не повторять за другими». И, естественно, он был прав, в этих строках — особенно в контексте стихотворения — отчетливо слышались самоирония и несогласие. Чувствовалось, что он травмирован своим остракизмом. В одном из объявлений об его выступлении по инерции было написано: «Выступление поэта-орденоносца» — тогда все приезжавшие были орденосцами. Он с достоинством поправил: «Нет, не орденосец». От Уткина, от первого, когда мы вышли с ним пройти, я услышал, что говорить «тудой» и «сюдой» неграмотно. Я очень удивился, в Киеве все говорили «тудой-сюдой», и мне казалось, что это более удобно. Вообще он тогда был ориентирован на культуру, на историю русской поэзии. Говорил о Вяземском, о Денисе Давыдове — для меня это все тогда была китайская грамота. Для меня поэзия в принципе начиналась с Блока, а где-то в тылу как предыстория помещались Пушкин, Лермонтов и Некрасов. Мне кажется, что в Уткине тогда шла какая-то напряженная внутренняя работа. Особо острых моментов беседы не помню. Больше я его никогда не видел. В 1944 году, когда я уже жил в Москве, он погиб в авиакатастрофе.

Весьма красочным было мое знакомство с Ильей Григорьевичем Эренбургом. Меня потом с ним связывали пусть не очень близкие, но теплые отношения. Но они не были продолжением этой довоенной встречи — он о ней начисто забыл. А я помню до сих пор. Это естественно. Эренбург был фигурой знаменитой и интригующей. Тогда цвела еще вся советско-германская дружба, хотя поговаривали о трещинах и называли немцев «наши заклятые друзья». А он только что вернулся из захваченного ими Парижа и опубликовал в газете «Труд» очерки о падении Парижа. Следовательно, «что-то знал», был посвящен. На самом деле, как

он неоднократно писал, ничего он не «знал», но откуда мы тогда могли знать, как «на самом деле».

Пришли мы к нему вдвоем с Ариадной Григорьевной — приглашать к себе на литкружок. Говорить должен был я, и, конечно, в глубине души я не собирался ограничить этот разговор официальными функциями. Но из этого сначала ничего не получилось. Мы постучали в дверь номера, услышали «Войдите!» и вошли. Нам навстречу с видом «Что вам угодно?» поднялся Эренбург. Он был очень вежлив и очень холоден. Задача его, как я теперь понимаю, была как можно скорее выпроводить нас из номера. Я был ошеломлен и смят. Дело было не только в его выжидающей позе, дело было в сукне его костюма — в каком-то не виданном мной никогда мохнатом сукне. Я даже не знал, что такое бывает, уставился в его длинные ворсинки и не мог слова вымолвить. Все слова застревали в горле.

— Я... Мы... — дальше дело не шло. Тогда инициативу на себя взяла Ариадна Григорьевна.

— Я вижу, Эма, у вас ничего не получается, придется мне, — начала она, и Эренбург повернулся к ней. Она коротко изложила суть дела, и Эренбург так же коротко отказался от приглашения, сославшись на занятость. Мы вышли.

— Чего ж я ходил! — огорчился я. — Даже стихов не почитал.

— А знаете что, — сказала Адочка и рассмеялась. — Вернитесь! Извинитесь и скажите, что смутились, но хотите почитать стихи. У вас такой вид, что... ей-богу сойдет.

Не знаю, какой у меня тогда был вид (развязность моя была чисто-литературно-подражательной, и от опытного взгляда это укрыться не могло), но так я и поступил. И действительно сошло. Эренбург не выразил никакого удивления по поводу моего вторичного появления и согласился меня выслушать. Он отнесся ко мне серьезно. Одно стихотворение ему понравилось, и он попросил его переписать. Вот оно.

Боль начинает наплывать
Опять, тебе назло.
А ты скорее за слова,
Но больше нету слов.
И ты поймешь: спастись нельзя,
И боль зальет глаза...
Ведь ты давно уж все сказал,
Что надо б тут сказать.

Беседы, которую он со мной тогда вел, я не помню. Помню только, что она была о стихах и что он говорил вещи, умерявшие мой новаторский пыл. Но я понимал, что они серьезные. Удивило, что он считал себя главным образом поэтом, хотя некоторые его стихи нравились мне уже тогда. Кстати, он мне доверительно сообщил, что под инициалами М.Ц. в журнале «Молодая гвардия» напечатаны стихи Марины Цветаевой. Я всем своим видом показал, что вполне понимаю важность этого события, хотя впервые услышал это имя. В завершение этой встречи он взял меня на свое выступление, и на глазах всего интеллигентного Киева я вышел из роскошного по тогдашним меркам «ЗИСа», вместе с самим Эренбургом, и он распорядился меня пропустить. Дня через два я был на его вечере в Союзе писателей, и вдруг в антракте он разглядел меня, шагнул ко мне сквозь кольцо окружавших и радостно приветствовал. На меня смотрели все вокруг — кто с завистью, кто с ненавистью. Я был очень смущен. Сегодня трудно представить, кем тогда был Эренбург. Потом, во время войны, он стал гораздо знаменитей, но тогда на фоне общей сталинщины в глазах интеллигенции он выглядел совершенно особо. Да и шутка ли — человек приехал прямо из оккупированного Парижа. Это было уже весной сорок первого. А потом он начисто забыл эту встречу.

И это неудивительно. Такие начались события, стольким самым разным людям он вдруг сделался необходим, что было не до того, чтоб умиленно помнить подающего надежды пятнадцатилетнего киевского мальчика. А события шли к войне — полным ходом.

Начало войны. Расставание с Киевом, детством и отрочеством

В описании предвоенных недель следует избежать модернизации. Нельзя, чтоб сегодняшнее знание вторгалось в тогдашнее восприятие. А нам, жившим тогда, войну предвещало все и как бы ничто ее не предвещало. Она уже шла в Европе, придвинулась к нашим границам (чему мы, то есть Сталин, немало поспособствовали), и мы знали, что она на носу. Да этого особенно никто и не скрывал — разу-

меется, не писали в газетах, а «доверительно» сообщали по неофициальным каналам. Да и в газетах вдруг появлялись статьи, вроде эренбургской в «Труде», тоже не очень подтверждали прочность «дружбы» с нацистами. В то же время все мы занимались своими делами и строили планы — в общем, жили так, словно она за горами. Даже историческое «Опровержение ТАСС» за неделю до войны, только подтвердившее в наших глазах то, что опровергало, все равно не изменило нашего отношения к жизни. Не надо забывать, что мы жили в Киеве, относительно недалеко от границы, и это прибавляло нам осведомленности. Но все равно мы ничего не боялись, мы ведь были под защитой такой сильной армии. Правда, она несколько оскандалилась в Финляндии, но ведь это была война специфическая. Мы все равно сильны — тем более, из нашего финского опыта были сделаны надлежащие выводы. Мы не боялись.

Помню, как, сдав последний экзамен этого года, мы втроем — я, Гриша и Галя Якубская — ночью забрели куда-то далеко по Брест-Литовскому шоссе почти до Святошина и стояли на мосту через железную дорогу Киев-Коростень, по которой осуществлялся основной транспорт к западной границе. Была чудесная июньская ночь, не жаркая и не душная, благоуханная киевская летняя ночь, говорили о стихах, о жизни, а под нами через короткие промежутки времени один за другим проносились воинские составы. Ночь была светлой, кроме того, вокруг моста горели огни, и на платформах под брезентом вполне прозрачно вырисовывались танки, часовые на площадках, задранные вверх зачехленные жерла орудий и всякая иная техника. А также красноармейцы в дверях теплушек. Эшелон за эшелон. И так много недель подряд — об этом давно говорили, мы были не первыми из наших знакомых, видевшими это. В то, что нападение Германии на нас было внезапным, я потом не верил никогда.

Но приближение войны угадывалось в городе не только по перестуку воинских эшелонов под Святошинским мостом. Думаю, что в город сквозь «границу на замке» проникали немецкие агенты с разными заданиями, в том числе, распространять слухи и сеять панику. Мне даже кажется, что с одной такой агентшей я столкнулся — тоже за несколько дней до войны — на Владимирской горке. Похоже,

что это было 15 июня, в последнее мирное воскресенье. Она сидела на скамейке над Днепром, что-то вязала, рядом сидели разные люди, в основном простые. Собственно, ничего особенного она не говорила, вроде бы вела религиозную пропаганду, грозила Божьими карами. Но угрозы были очень конкретны — она грозила той несметной силой, которая уже собралась и вот-вот, скоро-скоро, двинется против этой безбожной власти, а против нее уж никому не устоять. Народ слушал и не особенно вникал. Может, на силу несметную и обратили бы внимание, но, как ни странно, мешала аргументация Богом. Средний советский горожанин считал еще тогда веру в Бога пережитком собственной темноты и невежества, и обращение к Нему (кошунственное в таком контексте, но это другая тема), придавало всем этим пророчествам в его восприятии привкус «отсталости» и нереальности. Но расчет мог быть и на то, что это мина замедленного действия, которая сработает, когда «все начнет подтверждаться».

Пока же ее сосед по скамейке, человек средних лет, по виду рабочий, прослушав все это, мрачно промолвил:

— Насчет Бога вы бросьте...

Мальчик лет десяти, по виду еврей, что-то крикнул в ответ кому-то, кто его позвал. Вроде того, что «Иду... Подожди!» Этого хватило, чтоб ораторша вдруг буквально взорвалась:

— А, еврей! Проклятое семя.

И вдруг как-то, издевательски скандируя, перешла на идиш: «Ви из айер Гот? Ви из айер Гот?» Это означает: «Где ваш Бог? Где ваш Бог?» Обращенный к мальчику, этот вопрос может иметь только один смысл — покажите мне его физически. Согласитесь, несколько странно для верующего человека. И как-то это было неуловимо не по-нашему. Наш антисемит не стал бы укорять мальчика на идиш вопросом, где находится его Бог. Мальчик, не понимая, чего от него хотят (он и идиш мог не понимать), удивился, но особенно задумываться над этими словами не стал и побежал, куда его позвали. Мне стало скучно, я счел эту тетку не совсем нормальной и отошел от нее. Впрочем, это сделали почти все, кто ее окружал. Но потом, когда оказалось, что несметная сила действительно нависала тогда над нашей страной, я стал думать, что это говорилось неспроста,

что это была подготовка. Чтоб потом, когда все разразится, это казалось пророчеством и ослабляло сопротивление. Вряд ли сама эта женщина явилась из-за границы, скорее, из нафталина (тут я не иронизирую — в нафталин ее засунули насильно), но она не производила впечатление человека, следящего за развитием политических событий. А говорила «в самую точку». Возможно, какой-то «нарушитель границы» к ней явился и так взбодрил ее, возможно, что-то просто висело в воздухе.

Тем не менее война началась неожиданно. В этот день мы с друзьями договорились устроить пикник — где-то за городом. Сбор был назначен часов на одиннадцать у Жени. Утром я встал и позавтракал. Все было как обычно, но почему-то молчала тарелка репродуктора, обычно столь говорливая. Только один раз что-то включилось, и бодрый голос произнес: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! Начинаем передачу для детей». После чего опять наступило молчание. Это было непонятно, но я решил, что что-то поломалось, и чинят. Поев, побежал к Жене. Она жила на улице Саксаганского, за Тарасовской, на изгибе улицы, новый ее дом был так и построен — изгибом. Подходя к нему, я увидел у ее подъезда почти всех наших, сбившихся в маленькую стайку. Внимание их привлекало что-то, происходившее впереди них, за изгибом улицы. Я не обратил на это особого внимания и бодро крикнул:

— Ну что? Едем?

— Да ты что, охренел? Не видишь?

И тогда я увидел, чем было занято их внимание. У входа в расположенный дома через два—три от Жениного клинический институт (проще, больницу Мединститута) стоят несколько карет «Скорой помощи» и из них кого-то выносят на носилках.

— Не видишь? Раненых привезли. Из Жулян! Жуляны бомбили! Война!

Жулянами назывался пригородный поселок, уже тогда присоединенный к территории города. Это существенная часть киевского железнодорожного узла. Кроме того, там вокруг были военные аэродромы.

Значит, бомбили Жуляны! Странное молчание репродуктора становилось понятным. Тем не менее никто толком ничего не знал. Раненые могли и впрямь быть из Жулян, но

это могло быть результатом не бомбежки, а крушения поезда — может быть, даже крупного. А радио по-прежнему молчало. Не по поводу ситуации, а просто не издавало ни звука. Женя передала рассказ соседа. В пять утра тот, выйдя на балкон, видел, как вдали, за железной дорогой, какие-то самолеты бомбят расположенные там аэродромы. Бомбы он счел цементными, бомбометание учебным, а зрелище — захватывающе красивым. Что самолеты в киевском небе могут быть не нашими, он и представить себе не мог. Кроме того, знакомые звонили в штаб округа, где им ответили, что сегодня в 4 часа утра немцы напали на нашу страну. Но это была как бы подпольная деятельность. Да и вообще слухи. Слухам нас учили не верить. На пикник мы тем не менее не поехали.

Как мы отнеслись к новой перспективе? Помню, что я решил забежать домой поесть, меня сопровождал Варшава. Но по дороге нас застиг ливень, и мы забежали в продмаг на углу Тарасовской. И Варшава мне сказал:

— Знаешь, если это не подтвердится, я даже буду разочарован.

Не стоит особенно жестко осуждать Варшаву за эти глупые слова, он высказал то, что было на уме у многих. Это еще было детством. Кроме того, он не вернулся с этой войны, которая, как известно, не обманула в тот день его ожиданий. Но погиб он уже взрослым человеком, бывалым солдатом, мечтавшим о победе и мирной жизни.

Но в тот день такое «боевое» настроение было, если говорить о городской молодежи, всеобщим. В одном из сценариев Григория Чухрая была такая, потом не использованная заготовка. Герои-влюбленные, впервые решившиеся поцеловаться где-то на лестнице, узнают о начале войны так. Вдруг мимо них с радостным криком «Ура!» пронесется, размахивая самодельными саблями, счастливая пацанва, потревожив их счастье.

— Вам чего? — спрашивает недовольный любовник. И слышит ликующий ответ: — Война!

Впрочем, у пацанвы это объяснялось жадной киноподвигов, а у нас тем, что теперь все пойдет по-настоящему, исчезнет тяготина ирреальности. И то, и другое не подтвердилось, и то, и другое было эйфорией.

Но открылось все это потом. А пока, переждав дождь, я прибежал домой. Дома тоже никто ничего не знал. Радио продолжало молчать. Я сел есть, видимо, утром торопился, не поел как следует. И вдруг радио заговорило. Внезапно, как двумя часами раньше. Но на этот раз оно уже не обещало передачу для детей. «Внимание! Внимание! Говорит Москва. В двенадцать часов тридцать минут по всем радиостанциям Советского Союза...» Дальше я мог не слушать. Дальше все было ясно. Но я все-таки слушал, зажигаясь патриотизмом. И лишь на секунду кольнуло — почему выступит Молотов, а не Сталин? Но это промелькнуло и исчезло. Мысль о том, какое право имели наши вожди более восьми часов не сообщать всему народу, что он уже воюет, не пришла в голову и на секунду. Я твердо верил, что высшие соображения это вполне позволяют. Поскольку они вообще позволяют все.

Я побежал к Жене. Ее отец был тогда же или на следующий день мобилизован — направлен в штаб Юго-Западного фронта. Первые дни нами всеми владела эйфория — ждали известий о нашем победном контрнаступлении: иначе ведь и быть не могло. Но ни из сводок Генштаба Красной Армии, ни из заменивших их через пару дней сообщений «От Советского информбюро», этого вычитать нельзя было. Из них вообще ничего нельзя было вычитать. Там наши войска вели непрерывные бои на сменяющих друг друга направлениях, причем каждое новое неизменно бывало восточней предыдущего. Но эйфория не сдавалась — с тем, что мы отступаем, душа упорно не соглашалась. Впрочем, не только эйфория и не только пропаганда. Старик Кацеленбойген, один из наших соседей-родственников, несмотря на бородатость и «старорежимность», верил в нашу победу не меньше, чем пропаганда, и более искренне. Правда, обходился он без классового анализа. Он говорил:

— Не беспокойтесь!. Немец, он так всегда... Хорошо подготавливается, собирается с силами и таки наносит страшный удар! И — получает два таких же в ответ.

В отличие от моего дяди Ар-Мейши немцев он не ждал, а от них уехал.

Но скоро эйфория начала рассыпаться сама собой, и вовсе не под прямым воздействием немецких военных успехов. Успехи можно было считать временной случайнос-

тью, мы ведь ждали контрнаступления со дня на день. Но косвенное воздействие этих успехов сказывалось. Под этими ударами, говоря языком моих сегодняшних представлений, начала откровеннее проявляться человеческая основа сталинщины.

Однажды вечером я подобрал на Саксаганского листовку. Нет, не немецкую. Немцы тогда листовок в Киеве еще, по-видимому, не разбрасывали, во всяком случае я их не помню. Нашу. Их, несколько штук, сбросил кто-то, неизвестно зачем, может быть, из озорства, с прогрохотавшего мимо меня военного грузовика. Она явно предназначалась не для города, а для армии. Листовка черным по белому предупреждала, что оставление позиций без приказа, сдача в плен, переход на сторону врага и еще что-то являются изменой родине и влекут за собой расстрел для совершившего это деяние и тяжелые последствия для его семьи.

Поразила меня тогда, правда мельком, даже правовая сторона этого дела, хоть я был тогда по уровню правосознания варваром. Действительно, при чем тут семья? Но больше всего поразили меня, выразившиеся в этих считанных фразах взаимоотношения руководства со своим народом. Получалось, что народ в этой войне защищает не себя, а правительство и только и норовит увернуться от этой чести. Это больно резануло меня по сердцу и сильно противоречило тому патриотическому подъему, который я испытывал и видел вокруг себя. Мне казалось, то война всех объединила и все вокруг горят единой жадной победой. Разве что, кроме таких темных и нехороших людей, как Кудрицкий.

Теперь я знаю, что не только, что рядом жили и другие люди, ждавшие немцев — точнее, связанной с ними перемены власти. Но они пока помалкивали, и я о них не знал.

И мне было страшно, сознавал я это или нет, от того, что в такой момент власть испытывает необходимость запугивать своих защитников. И хоть подсознательно, хоть мимолетно (эту листовку я скоро забыл), но я впервые ощутил, что дело все не так просто, как мне казалось.

Нет, я отнюдь не разделяю того эмигрантского убеждения, что поражения 1941 года начались с поражения. Потом, к зиме, когда гитлеризм себя показал, русский народ, согласно этой версии, начал сопротивляться. На этом

эта историософия кончается. Но ведь летом 1942 года опять началось немецкое наступление, началось с пленения десятков тысяч солдат. Выходит, русский народ опять передумал.

На самом деле все не так просто. Причина наших первоначальных поражений была не в пораженчестве, а в «гениальном сталинском руководстве», в общей неготовности страны к войне. Но пораженчество действительно имело место, у некоторых с первого дня. Но оно не было тотальным. Большинство людей, встреченных мной на Западе, попали в плен, а не сами перебежали к противнику. Но не от пораженчества возникали поражения, а, наоборот, из поражений возникало, укреплялось и расширялось пораженчество. Такое бывает отнюдь не всегда, но тогда — было. И это неувидительно. Убеждение, что мы сильны, было в глазах у многих единственным оправданием нашей трудной жизни, а, когда мы вдобавок ко всему, вдруг оказались еще столь очевидно слабы, то власть стала выглядеть не только жестокой, но и кругом несостоятельной. И многие, попадая в трудное положение, поднимали руки вверх с облегчением. Правда, немцы сделали все возможное, чтоб это облегчение было обманчивым, и многие эмигранты «второй волны», испытывшие это облегчение и отнюдь не просоветски настроенные, вспоминают их с ненавистью. Но об этом лучше читать в их собственных воспоминаниях. В дни, о которых я говорю, я еще не думал ни о поражении, ни о пораженчестве, а упрямо ждал нашего контр наступления и боялся, что война кончится без меня.

Между тем в городе явочным порядком началась эвакуация. Начали ее энкавэдэшники, первыми приступившие к вывозу своих семей. Наткнулся я на это случайно. Однажды под вечер, дней через пять—шесть после начала войны, возвращаясь домой, около дома на углу Кузнечной и Саксаганского, где жил мой одноклассник, товарищ первых школьных лет, я увидел грузовик, груженный домашним скарбом, как при переезде на дачу. У грузовика хлопотал друг этого моего товарища, с которым я тоже был знаком и о котором я знал, что он сын крупного энкавэдиста. Тем не менее он казался мне, а может, и был, неплохим парнем. Я подошел, поздоровался с ним и удивленно спросил:

— Вы что, на дачу?

— Да... — иронически скривил он губы. — На дачу...

— А куда же? — хотел наивно спросить я, но не спросил, хоть еще не догадался куда. Догадался я только потом, распрощавшись с ним, по дороге домой. И это меня поразило. О какой же обороне могла идти речь, если люди, которые должны были быть ее центром, втихаря вывозят своих? Наше воспитание исключало такое отношение к вещам. И те же «воспитатели» нас же ставили перед фактом, противоречащим этому воспитанию. И мы должны были этот факт принять. Можно было требовать героизма от окружающих, судить за его отсутствие, а самим, как наиболее верным и ценным кадрам, драпать. И порождать панику, с которой сами по долгу службы обязаны были бороться. Это и была сталинщина.

На фронте во многих (но тоже не во всех) обстоятельствах вынуждены были прибегать к другой системе ценностей. Но в принципе именно война утвердила, ввела в быт как норму противоестественные обычаи сталинщины. Военная иерархия и фразеология, законсервированные как норма жизни, вообще очень этому способствовали. Но это все стало ясно потом. И это привилегированное право на комфортабельное, с большим количеством багажа, бегство было первым моим столкновением с этой системой жизни. Не политики, не репрессий даже, а самой повседневной жизни. Она и до этого существовала, но тут впервые проявлялась открыто.

Где-то в эти дни я пошел рыть окопы, пошел добровольно. Перед этим я вступил в комсомол, и на этот раз меня приняли без проволочек — кажется, сразу в райкоме, хоть и не выдали документов (бланков не было). У райкома мы и собирались. Все были из разных учреждений и предприятий. Люди незнакомые, но хорошо понимавшие друг друга. Обращал на себя внимание только молодой человек, чернявый, в какой-то зеленовато-черной рубашке, как-то уж очень расслабленно болтавшийся среди нас (временами потом за его расслабленностью угадывалась тренированность и сила). Как потом выяснилось, ни к какой организации он не принадлежал. В том, что он был заброшенным парашютистом, у меня ни тогда, ни потом сомнения не было. У других тоже. Но уровень бардака, как увидит читатель, был такой, что это ему ничем не грозило. Однако начну по порядку.

Мы знали, что должны рыть окопы, но где мы должны были их рыть, было военной тайной. Потом оказалось, что в Ирпене, где-то на холме и в лесу у железной дороги — как я через много лет понял, против тамошнего Дома творчества. Но для сохранности тайны добирались мы туда (с парашютистом вместе) кружным путем. До Пущи-Водицы трамвай №20, который шел с площади Калинина, а потом пешком через лес. Шли очень долго и пришли совершенно измочаленные. Придя, увидели на железной дороге поезд с дощечкой «Киев—Ирпень» (или — Тетерев, или — Клавдиево) и поняли, где мы. При себе мы имели согласно инструкции продукты на один раз, и все. Нам велели соорудить шалаши. Потом мы развели костры. Сидели, болтали. Одна девочка рассказала, что вчера брата взяли в армию, и мама очень плакала. И тут парашютист решил выдать заряд советского патриотизма:

— Она не должна плакать, она должна гордиться, — сказал он, уверенный, что говорит то, что надо. И попал пальцем в небо. У костра воцарилось неловкое молчание. Советский патриотизм получился явно на тогдашний немецкий, точнее, на гитлеровский лад. От наших матерей даже при Сталине не требовалось, чтоб они не плакали. Тем более в частных разговорах. В общем, кто-то о нем сообщил представителю райкома — все-таки не анекдотчик, не мнение высказал, а шпион. Представитель потом приходил, беседовал с ним и ушел, так и не выяснив, кто он и откуда. Не до того было. И так голова шла кругом. Он должен был на следующее утро выдать нам еду и шанцевый инструмент, а ни того, ни другого у него не было. И концов было не найти. Тут не до шпионов.

Эту ночь у костра я помню. Был там очень милый и интеллигентный парень по имени Карен, с которым мы быстро нашли общий язык, хоть он был намного образованней меня. Помню ощущение дружеской близости, хотя никогда потом его не встречал. И все эти милые, чистые мальчики и девочки. Мелькнули мы в жизни друг друга и исчезли.

Наутро мы ничего не получили — ни еды, ни лопат — и примерно в полдень пошли домой. Прямо, через Святошино. В стороне, озираясь и все стремясь запомнить, брел шпион. Я весьма чужд детективному ражу и жанру (обвинения кого-либо в стукачестве, часто возникавшие в обще-

стве, меня всегда раздражали), но в этом случае не сомневаюсь, что так и было — шпион. Был он человеком явно не очень образованным или умным, но способным — говорил по-русски почти хорошо (утверждал, что с Западной Украины, а может, и впрямь состоял в националистической организации) и свое дело, видимо, знал. Но не думаю, что его миссия была полезна пославшим его. Он, вероятно, собрал ценные сведения, но он не знал, с кем связался. Если б война велась правильнее (по Жукову), Киев вообще был бы оставлен без боя. Но война велась так, что Киев попал в окружение и позорно пал. Так что в обоих случаях сведения, добытые им с риском для жизни, пропадали зря. И еще он не знал, что, несмотря на весь тот бардак, который так облегчал его работу и который так оттенял великолепный немецкий порядок, мы все-таки победим. А впрочем, черт с ним, с этим гитлеровским «комсомольцем двадцатых годов». Хотя меня долго потом мучила совесть, что я упустил шпиона. Людям более молодым может все это показаться рудиментом обычного психоза сталинской «бдительности» и вообще «охотой за ведьмами». Но немцы действительно забрасывали в наш тыл парашютистов — в основном диверсантов, но и разведчиков тоже, а на первых порах и просто сеятелей паники. Кое-кого из них, из числа эмигрантов, я потом встречал на Западе. Попадались они (кто попадался) на незнании алогичных реалий советской жизни и на таких противоестественностях, как проявленная «нашим» — насчет того, что матерям при уходе детей на фронт надо не плакать, а гордиться. А «наш»-то и попался — но сошло.

Впрочем, скоро я чуть было не пошел добровольцем в комсомольский истребительный батальон, созданный для ловли парашютистов. Но это уже было после выступления Сталина 3 июля, когда стало ясно, что немецкое наступление легко не остановить.

Надо сказать, что к этому времени уже во всю шла эвакуация. Одной из первых уезжала Женя вместе с Укрпромкооперацией, где ее отец занимал до ухода в армию крупный пост и в доме которой они жили. Мы с Гришей то ли помогали ей собраться, то ли просто болтались под ногами. Помню, как мы мудрили над подаренным ей нами к именинам громадным старинным фолиантом гетевского «Фау-

ста». Увести его с собой она никак не могла, и мы сочиняли на нем пропагандистскую надпись для немцев, которые, безусловно поселятся в этом доме. Это было наивно, но этого интернационализма я и теперь не стыжусь. Бредом и преступлением я считаю интернационализм только политический — право жертвовать интересами и жизнью какой-либо страны во имя ожидающегося счастья всего человечества, как было с Россией.

И вдруг среди общего предотъездного бедлама мы обнаружили на столике черновик очень интересного документа. Автором его был кто-то из Жениных соседей и сослуживцев ее отца. Я этого человека никогда не видел, близким человеком их семье он не был. Почему он писал этот документ именно у них (иначе б не остался черновик) — не знаю. Видимо, сблизало общее несчастье. Забежал посоветоваться и за сочувствием. Представлял этот документ собой прошение об эвакуации, направленное руководству не то киевского, не то всеукраинского НКВД. Почему он не мог или не хотел эвакуироваться вместе со своими сослуживцами, рассчитывал ли на более привилегированные условия, которые предоставлял своим сотрудникам его адресат, — тоже не знаю. Интересно другое — почему он счел возможным обратиться с такой просьбой в это недостижимое учреждение.

Оказывается, в первые годы революции он был заграничным агентом ЧК. Он подробно рассказывал об этой своей работе, о своих камуфляжах, о провалах (один, я помню, был при свидании с британским консулом — кажется, в Болгарии), о добытых тайнах — сюжет был явно авантюрный. Но за ним всплывала моя любимая идейность. Я проникся уважением к человеку с такой биографией. И не приходило мне в голову, что документ этот глупый и неблагородный. Я оставляю в стороне то, что он вообще занимался за границей подрывной деятельностью, мешал людям жить во имя своих непрожеванных идей. Но глупо было то, что при такой биографии он вообще напоминал о себе этому учреждению. Таких оно уничтожало в первую очередь. Теперь ввиду обстоятельств оно могло эту экзекуцию отложить, но могло и ускорить. Да и подло — по отношению к товарищам и коллегам, которых оно уже уничтожило. Впрочем, и подлость эта тоже вполне может объясняться глупо-

стью мировоззрения, верой в «маму ВКП(б)», которая все равно всегда права, верой, которая заменяла этой публике любую другую веру, даже в коммунизм. Но тогда я так не думал.

Женя уехала, а я пошел в истребительный батальон. Он помещался на Крещатике в знакомом мне здании обкома комсомола. Командиром его был молодой человек по фамилии Усачев. Была там на какой-то должности еще молодая, но по моим тогдашним ощущениям взрослая девушка. Мне показали мою постель. Видел я еще двух-трех ребят, тоже постарше меня, вернувшихся с дежурства. Похоже, что их добровольность была относительной — они были выделены в батальон комсомольскими организациями предприятий. Кстати, то же было в основном и с рытьем окопов. Это не значит, что против воли, но и не совсем определяется понятием «добровольно». Сталинщина имела склонность к «организованной стихийности», даже когда естественная была за нее. Как в «Чонкине» Войновича, где по воле райкома крестьяне, собравшиеся на стихийный митинг по случаю начала войны, разгоняются, а потом «организованно» сгоняется на «правильный» стихийный митинг. Но тогда удивление по поводу такой «добровольности» залушалось тем, что все вокруг воспринимали ее как нормальный факт. Правда, в армию многие шли добровольцами на самом деле — и тогда, и позже. Но армия — не комсомольская организация.

Дома известие о моем патриотическом поступке, когда я с ним туда явился, было воспринято панически. Но на первых порах я все же вырвался и вернулся. Собственно, никакого батальона я не видел — максимум человек шесть. В нем наверняка было больше людей, но не на много. Может, он еще не был собран. В основном мы сидели на балконе, а мимо нас, заполнив весь Крещатик, проходили войска. Их было очень много, в основном пехота. Но двигалась эта пехота не в сторону фронта, а от него, в сторону тыла — к концу Крещатика и по Александровской на Печерск, к мостам через Днепр. Вероятно, это было правильное решение, видимо, на всех не хватало оружия. Вероятно, Жуков уже тогда собирался отвести войска за Ворсклу, что бы их спасло и чему помешал Сталин, погубив их в киевском «котле» (кроме тех, кого Жуков успел увести),

но зрелище это было несколько обескураживающим. Казалось, что Киев собираются сдавать без боя. А если так, то зачем мы?

На следующий день родители уговорили меня уехать с ними. Говорили, что там, куда я приеду, я свободно пойду в армию, а здесь спокойно. Тетка, которая оставалась, говорила, что если я буду в батальоне, то потом им достанется — ведь у нас такой дворник. Бедная, она не понимала, что участь ее решена независимо от моего поведения. Уезжать мне очень не хотелось. Но обстановка бегства уже воцарялась в городе. Ребят близкого к призывному (моего) возрастов вызывали повестками в военкоматы и бестолково отправляли колоннами на работу в тыл, чтоб этот резерв не достался немцам. Делалось это вполне безответственно. Они редко куда доходили — всем властям по дороге было не до них, а потом долго искали и не всегда в эвакуационной каше находили своих родителей, а иногда и просто попадали в руки немцев. Безответственность эта была чем-то новым для нас. Мы еще верили в предусмотрительность власти.

Эвакуировались заводы. Уезжал мой двоюродный брат с женой, отцом-раввином и матерью. Его родной брат пришел пешком из Луцка, где был даже завгороно (не будучи в партии), и рассказывал всякие ужасы. Украинские партизаны стреляли в спину красноармейцам. Через два дня он тоже уехал. Мать побежала в батальон и сказала, что я уезжаю с родителями, там ничего не имели против. Все же мал я еще был в их глазах и неловок. Так что мой патриотический порыв никакого приложения не получил. Логически уговорить себя в правильности моего поступка было можно. А может, и вправду он был правильным — ну куда я тогда годился? Но все равно в глубине души было больно и стыдно. Особенно через месяц, когда такие отряды вместе с войсками (кстати говоря, генерала Власова) выбивали немецкий десант из Голосеевского леса — с холмов над Демиевкой. Конечно, я был лопух, неловок и т.п., оправданий сколько угодно, но «все же... все же... все же...» (А. Твардовский).

Нечто подобное я чувствую и теперь, когда пишу эти строки, вернее, чувствовал в понедельник 19 августа 1991 года, когда мои друзья защищали свободу вместе с Ельци-

ным и когда неясно было, чем кончится, а я жил в гостях в штате Коннектикут в старинном, затененном деревьями доме — правда без электричества (то есть, света и горячей пищи, поскольку энергоснабжение было нарушено ураганом «БОБ» — скорость ветра 165 км в час, 51 м в секунду). Но это неприятности, а там стояли на кону их жизни. А защищали они и мою судьбу — ведь мне просто не было бы смысла дальше жить, если бы путч удался. Было противно, что я как бы сижу в стороне. В стороне от своей судьбы. Примерно то же, хотя и с меньшими основаниями (я не так еще был вовлечен в жизнь), я чувствовал и тогда, в июле 1941-го.

Уезжали все вокруг. Но уехать при этом нам было не так легко. К промышленным гигантам даже киевского масштаба мы отношения не имели. О том, что уже существует организованная эвакуация частных граждан через райсоветы, мы не знали (впрочем, «организованность» чаще всего ограничивалась выдачей эвакуационного удостоверения, мало кого интересовавшего). Отец решил присоседиться к племяннику, уезжавшему с заводом «Червоный двигунь», а уезжали они на барже с какого-то причала Киевского речного порта. Мы взяли с собой вещей сколько смогли унести на себе — чемодан и несколько небольших узлов — атлетов среди нас не было. В последний момент тетка молча сунула в один из них какой-то «довоенный» отрез, — единственную ценную вещь, сохранившуюся «с мирного времени». И мы на нанятой подводке отправились на пристань. Там то ли потому, что не нашли нужного причала, то ли потому, что нужная баржа уже уплыла, то ли просто по ошибке — это и тогда было непонятно, — мы погрузились в другую баржу. Но поскольку считалось, что все плывем в Днепропетровск, то с этим смирились — там и поищем родственников и их всегда бывший по соседству завод.

До отплытия в Днепропетровск было еще далеко, хоть от пристани отплыли мы довольно скоро. Часа через два после водворения. Но плыли мы недолго — нас причалили к противоположному берегу, ниже пристани, и почти против Киево-Печерской лавры, аккуратно между двумя мостами, все время исправно бомбившимися немцами. В мосты немцы ни разу не попали, бомбы ложились неточно, но именно поэтому могли угодить в нас. Впрочем, все-таки не

угодили — мы все же были пришвартованы на некотором отдалении от мостов, в километре или двух, а «Юнкерсы» пикировали.

Мы могли наблюдать это дня два—три. Приходили крестьянские девушки из близлежащих деревень. На все предложения продать что-нибудь показывали язык, стоя, впрочем, на безопасном расстоянии. Издевались над нашим бегством. Вероятно, в этом была и изрядная доля антиеврейской настроенности, но главное не это — бежала ненавистная власть и те, кто по их представлениям, был с ней связан. Они не знали и не думали, что «власть» бежит иначе. Впрочем, что-то и понимали — настоящей власти, хоть и бегущей, они бы остереглись языки показывать. Ведь она еще все контролировала. Но уж очень хотелось на ком-то отыграться. К их «отсталости» я относился совершенно спокойно. Она не была неожиданной. И своего передовизма я не терял. И все же — неприятно, когда радуются твоей беде. Сегодня я понимаю, что при их биографиях это было извинительно. И все же... И все же — не более того.

А на баржах — их было несколько, хоть я не помню, чтоб они общались между собой или с берегом, не помню прогулок на берегу — шла скученная, скомканная жизнь, плакали дети, стирались и сушились пеленки. Людей особо мне близких там не было. К «высоте» моего приятия действительности и к Маяковскому тоже никто не был причастен — принимали как данность. Я лежал, смотрел на Киев, на Лавру, на парки и соборы, и мечтал о том, как все мы сюда скоро, может быть, осенью, вернемся, как после каникул, обнимем друг друга, расскажем о пережитом и начнем опять жить и дружить, как раньше...

И вдруг — я до сих пор помню этот момент — острой болью пронзила меня трезвая и беспощадная мысль, что ничего этого — того, что было, — никогда уже не будет. Нет, это не было поражением, я знал, что мы победим, что, может, и вернемся, но почувствовал, что если даже и вернемся, то не все и не так, вернемся в другую жизнь и другими людьми. Это не было отчаянием, просто констатацией неприятного факта, с которым ничего не поделаешь. Думаю, что это первая моя взрослая мысль, первое мое прозрение реальной трагичности бытия.

На этом собственно можно завершить свой рассказ о детстве, о пути во взрослость. Но чисто сюжетно я его дотяну до более поздней точки.

Дня через два подошел буксир и потащил все наши баржи без остановок в Днепропетровск. Мимо Триполья, о котором я рассказывал, мимо Ржищева, где родилась моя мать, мимо Канева, где я уже бывал и где над Днпром похоронен Тарас Шевченко, мимо Черкасс, Кременчуга, Нижнеднепровска (тогда Днепродзержинска), где моя мать держала экстерном за гимназию, в Днепропетровск, куда мы вроде эвакуировались. По иронии судьбы этот город был захвачен немцами на месяц раньше, чем Киев. Но в Днепропетровск нас, кроме лиц с местной пропиской, не пустили. Наши баржи несколько часов проторчали где-то посреди Днепра, а потом были пришвартованы к противоположному берегу, к станции Новомосковск (в сущности — левобережный узел Днепропетровска), где в спешном порядке погрузили на открытые угольные платформы. И оставили. Так что поиски родственников и их завода отпадали сами собой. Но уже не до этого было. Помню жуткую темноту, неустройство, нахальную местечковую семью, глава которой защищал то, что считал в той тесноте своим правом, возглашая: «Мы тоже советские граждане!», и какое-то покорство судьбе — везут, не говоря куда и как, ну и пусть! Но до темноты нас никуда не повезли, а ночью началась бомбежка. Я слышал про массированные налеты на Сталинград, и знаю, что бомбежки бывают куда более ужасные, чем та, в Новомосковске. Но я более страшной не видел — Бог миловал.

Кругом взрывалось, грохотало, светилось, было страшно ощущать себя маленьким и беззащитным, все, даже, дети замолкли. Потом все стихло, и тут эшелон тронулся. Везли нас по кругу — на Лозовую, Павлоград, Славянск, почти до Харькова, а потом, видимо передумав, на юг, в Ясиноватую. Оттуда в Ростов. Это уже была Россия. По Ростову мы немного походили, думали остаться, но концов никаких не было, и мы вернулись в эшелон. Во второй половине дня он тронулся в Батайск.

По дороге я встретил первого великорусского «антисемита». Какой-то человек вскочил на площадку нашей платформы с чайником, ему надо было чуток доехать. Был он в

меру рыж, озорноват, по виду железнодорожный рабочий. Он на все корки поносил евреев за бегство с фронта — имея в виду население нашего эшелона. Было это достаточно нелепо, в основном тут были женщины и дети, и он это видел. Да и вообще евреям оставаться в оккупации было никак нельзя, и он это хорошо понимал. Кроме того, военкоматы, которые могли «загрести» в армию, существовали не только там, откуда, но и там, куда мы ехали. И это тоже было ему известно. Но ругался. Не столько от злости, сколько потому, что его это развлекало. Не скажу, что это выглядело особенно благородно, но он мне почему-то понравился — не показался ни страшным, ни отталкивающим, а, скорее, привлекательным. Как мне кажется, антипатии он ни у кого не вызывал. Даже у местечковых. Кавычки у слова «антисемит» относятся только к этому человеку и таким, как он, а их было и есть много в России. Но это не исключало наличия в Великороссии антисемитов и без кавычек, правда их всегда намного меньше. Могут сказать, что, когда люди становятся толпой, кавычки эти могут исчезнуть и там, где они есть. Но я вообще говорю не об отчаянных ситуациях, когда мало кто сохраняет достоинство. Во всяком случае в очень тяжелых обстоятельствах, предшествовавших ныне разгромленному заговору и вызванной им, происходящей и сегодня (24 августа 1991 года) революции, русский народ ни на какой экстремизм и расовую ненависть подбить не удалось. Хотя все проблемы существования пока по-прежнему остры.

Поезд подошел к Батайску. Там нам объявили, что нас повезут в Александровский район Ростовской области и распределят по колхозам. Начинаясь — хоть на самом деле началась она не там, а чуть позже — другая жизнь, не та, к которой я привык. Детство, в которое кусочком вторглось и счастливое отрочество, кончилось. Начинаясь суровая юность.